Софья Федорченко

Народ на войне

Софья Федорченко

Народ на войне



Софья Федорченко





МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1990

ББК 84 Р7
Ф33

*ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ Н. А. ТРИФОНОВА*

Художник Анатолий Мешков

Федорченко С.

Ф33 Народ на войне.— М.: Сов. писатель, 1990.— 400 с.

ISBN 5-265-00647-8

Столь полного издания книги Софьи Федорченко (1880—1959) читатель еще не держал в руках. Первая ее часть в форме лаконичных рассказов и размышлений русских солдат о войне и мире вышла в 1917 году. Спустя восемь лет появилась вторая часть, отражавшая период «керенщины». М. Горький назвал книгу «весьма ценной» и считал, что она заслуживает большого «народного» тиража. Третья часть ее — о войне гражданской — была известна только в отрывках по журнальным публикациям 1927 года и лишь в 1983 г. была напечатана в полном виде в томе «Литературного наследства».

Ф $\frac{4702010201-202}{083(02)-90}$ 138—89 ББК 84 Р7

ISBN-5-265-00647-8

НЕСПРАВЕДЛИВО ЗАБЫТАЯ КНИГА

Наше время — время восстановления исторической справедливости по отношению ко многим видным деятелям прошлого и многим значительным литературным произведениям, оказавшимся как бы вычеркнутыми из нашей истории и незаслуженно забытыми.

С одним из таких произведений мы и предлагаем познакомиться нашим читателям.

В бурном историческом 1917 году в Киеве вышла небольшая книжка Софьи Федорченко «Народ на войне» с подзаголовком «Фронтовые записи». На титульном листе было указано, что она выпущена издательским подотделом Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского земского союза. Несколько раньше фрагменты этой книги появились в периодических изданиях: накануне Февральской революции в петроградском журнале «Северные записки» (под названием «Что я слышала») и незадолго до Октября в московском журнале «Народоправство» [1].

Книга воспроизводила в форме коротких, лаконичных записей, занимающих обычно всего несколько строк, разговоры и рассказы солдат, их размышления и думы о жизни, о войне и мире, о себе и других, о своих и врагах. Некоторые из записей представляли собой в предельно сжатом виде целые новеллы. Мысли и беседы солдат дополнялись песнями про войну, частушками, заговорами и тому подобными поэтическими текстами фольклорного характера.

Из авторского предисловия можно было узнать, что Софья Федорченко долго находилась на фронте в качестве сестры милосердия. Впоследствии она вспоминала: «Попала в самую гущу, проделала наступления и отступления, видала и победы и поражения. Все было одинаково ужасно и непоправимо ⟨...⟩. Работала я, все смотрела, все слушала, все со всеми переносила» [2]. Пребывание на войне, повседневное общение с простыми русскими людьми, одетыми в серые шинели,

---

[1] «Северные записки», 1917, № 1; «Народоправство», 1917, №№ 9—13.

[2] «Русская литература», 1973, № 1, с. 153.

в самые напряженные и критические моменты их жизни и дало богатейший материал для книги.

Софья Захаровна Федорченко вернулась с фронта в 1916 году, затем вновь побывала там в 1917-м, но и в последующие годы, работая по оказанию помощи населению, близко соприкасаясь в обстановке войны (сначала империалистической, а затем гражданской) с разными слоями народных масс — на Украине, в Новороссии, на Северном Кавказе, в Крыму,— она продолжала накапливать впечатления, относящиеся к ее теме.

В 1922 году она переезжает в Москву. К этому времени она становится уже профессиональной писательницей, в двадцатые годы принимает активное участие в разных писательских организациях — в частности, в литературном объединении «Никитинские субботники» и в детской секции Всероссийского союза писателей, первым председателем которой она являлась до 1930 года. Ею было написано и издано много десятков книжек для детей. Но главной ее работой продолжал оставаться «Народ на войне».

В первой половине 1920-х годов ее книга несколько раз переиздавалась то в более расширенном, то в сокращенном виде. Второе издание вышло в 1923 году в издательстве «Новая Москва» в серии «Библиотека современников» под редакцией Н. Ангарского. Третье издание было выпущено в 1925 году издательством «Земля и фабрика» с предисловием критика К. Локса. В том же году появилось и сокращенное издание в библиотеке «Огонек» с портретом автора на обложке.

В первом издании писательница давала свои записи в довольно случайном порядке, не считая обязательным «систематизировать» и раскладывать по рубрикам свой материал; в дальнейшем композиция книги меняется, появляется то расположение по темам, от которого автор первоначально отказывался. В третьем издании, например, книга была разбита на восемь глав с такими названиями: «Как шли на войну, что думали о причинах войны и об учении», «Что на войне приключилось», «Каково начальство было», «Какие были товарищи» и т. д.

И в первом и в последующих изданиях «Народ на войне» вызвал очень одобрительные отклики читателей, критиков, писателей. В статьях и рецензиях отмечались многочисленные достоинства книги, и прежде всего ее правдивость. Ее называли «драгоценным памятником нашей эпохи», «подлинной правдой о войне, о русском народе» (Я. Тугендхольд) [1], «огромным складом народной мудрости» (И. Машбиц-Веров) [2], «энциклопедией народной души» (Л. Войтоловский) [3]. По-

[1] Газ. «Понедельник»; 1918, № 10, 23 апреля.
[2] «Известия ЦИК СССР», 1925, № 279, 6 декабря.
[3] «Киевская мысль», 1918, № 139, 16 августа.

пулярный в то время журналист И. Василевский (Не-Буква) утверждал, что «ни историк, ни социолог, ни беллетрист, ни политик не имеют права не знать этой книги» [1].

Драгоценно свидетельство, зафиксированное в дневнике Ал. Блока. Разбирая за несколько месяцев до смерти старые журналы, сохранившиеся в его личной библиотеке, он перелистывал выходивший в 1917 году под редакцией Г. Чулкова журнал «Народоправство», в котором появились фрагменты из книги Федорченко. В журнале участвовали многие признанные литераторы — Б. Зайцев, А. Ремизов, М. Пришвин, Ал. Толстой, Вяч. Иванов, но Блока привлекли не их произведения, а «фронтовые записи» безвестного автора, о котором поэт даже не знал, кто это — мужчина или женщина. Он отдал этим «записям» предпочтение перед литературной продукцией присяжных писателей, которая была однажды охарактеризована им как «усталая, несвежая и книжная литература» [2]. В своем дневнике поэт записал 7 марта 1921 года: «Интересны записи «солдатских бесед», подслушанных каким-то Федорченко ⟨...⟩ это — самое интересное».

В «записях» Федорченко со всей беспощадностью отразились и воспитанная войной ожесточенность людей, и насилия, и издевательства, но все это не оттолкнуло Блока. После характеристики статей других авторов он вновь возвращается к «солдатским беседам» и так резюмирует свои впечатления от них: «Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво и совестно» [3].

В 1922 году с большой статьей о «Народе на войне» выступил на страницах «Правды» А. Воронский. Критик-большевик рассматривал произведение Федорченко как «разительный художественный документ эпохи», который «показывает, как в старой русской армии зарождался, развивался и зрел стихийный большевизм: протест против войны, нежелание воевать во имя непонятных целей, массовое озлобление против командующих классов и тяга к новой жизни без войн, царя, помещиков и капиталистов, тяга к науке и просвещению». Свою рецензию Воронский заканчивал выводом: «Хорошая, любопытная книга» [4].

Для всех, писавших о книге Федорченко, ясны были ее высокие художественные качества. Отличавшаяся большим эстетическим вкусом, критик Любовь Гуревич, откликаясь на первую журнальную публикацию «записей», отмечала, что содержащиеся в них размышления и рассказы «удивительны по художественной выразительности

---

[1] «Накануне» (Литературное приложение), 1923, № 57, 17 июня, с. 6.

[2] Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М.-Л., Гослитиздат, 1962, с. 19.

[3] Там же, т. 7, с. 411.

[4] «Правда», 1922, № 247, 20 октября.

и лаконизму, какой может быть доступен среди интеллигентов разве только величайшему мастеру слова» [1].

Воронский указывал, что у Федорченко «часто в 5—10 строках дается больше, чем в стильной и художественно закругленной повести» [2]. И. Василевский (Не-Буква) с восхищением писал о «чудесном, полнокровном» языке книги и добавлял: «Никакому беллетристу так не написать» [3].

Столь же высоко расценивали книгу и сами мастера художественного слова. Например, В. Вересаев в письме к Воронскому рекомендовал Софью Федорченко как «автора замечательной книги ⟨...⟩,— по мнению многих,— лучшего, что написано о войне» [4]. Восторженный отзыв находим в письме М. Волошина к Вересаеву: «Что меня обрадовало чрезвычайно — это полученная на днях книга (II изд.) Федорченко «Народ на войне». Я прочитывал ее с упоением. На мой взгляд, она имеет не только исторически-документальное значение, но это и художественный этап русской прозы, которая со времен Чехова вступила на путь сжатости ⟨...⟩ у Федорченки есть сжатость сюжета и психологии ⟨...⟩. Перед такой художественной сжатостью, не выходящей из традиции русской литературной ясности, сам Чехов может показаться растянутым ⟨...⟩. Любая страница дает материалу не меньше, чем целый том беллетристики» [5]. В. Г. Лидин в своих воспоминаниях «Друзья мои — книги» рассказывает, какое сильное впечатление произвело на него чтение книги Федорченко, случайно найденной им в конторе издательства Сабашниковых: «Таким народным языком, такой твердой рукой истинного писателя были сделаны эти записи, что я почувствовал себя среди народа, притом в минуты полной душевной откровенности каждого, слово которого было услышано и записано, услышано чутко и записано талантливо». Лидин приводит и слова М. В. Сабашникова, собиравшегося переиздать эту «отличную книгу»: «Мы были ею просто очарованы» [6]. А И. С. Соколов-Микитов писал в 1922 году: «Сейчас на столе у меня лежит замечательная книжка Федорченко «Народ на войне». Просто и замечательно, как документ, сильно, как Толстой» [7].

Сохранился экземпляр «Народа на войне» в издании 1923 года из личной библиотеки Н. Н. Асеева. Он весь испещрен многочисленными

---

[1] Газ. «Современное слово», 1917, № 3972, 24 февраля.

[2] «Правда», 1922, № 247, 20 октября.

[3] «Накануне» (Литературное приложение), 1923, № 57, 17 июня, с. 5.

[4] «Литературное наследство», т. 93, с. 569.

[5] Письмо от 2 апреля 1923 г.

[6] Лидин Вл. Друзья мои — книги. Заметки книголюба. М., «Книга», 1966, с. 227—228.

[7] Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921—1923. Париж, с. 210.

отчеркиваниями и подчеркиваниями. По свидетельству вдовы поэта К. М. Асеевой, это была одна из его любимых книг, которую он много раз перечитывал и называл замечательно правдивой.

Среди тех, кто высоко ценил работу Софьи Федорченко, был и М. Горький. Вот как он определил историко-познавательное значение «Народа на войне», в письме к председателю Правления Государственного издательства А. Б. Халатову (25 марта 1928 г.): «Эта книга, вместе с книгой Войтоловского «По следам войны», превосходно и доказательно изображает анархическое настроение армии царской в 16—17 годах. Обе они совершенно снимают с «большевиков» обвинение в том, что они «разложили фронт», а вместе с этим они устанавливают также неоспоримо факт победы партии нашей над солдатско-мужицкой анархией — удивительной победы. Следовало бы заказать кому-нибудь из толковых военспецов статью, которая бы, опираясь на книги Федорченко и Войтоловского как на своеобразные «документы», изобразила бы хаос и анархию армии царской и организацию силами пролетариата армии Советской» [1].

Горький говорил о «Народе на войне» не только в частных письмах, но и в журнале «Литературная учеба». Ему была дорога «образность, точность, меткость», с которой писательница воспроизводила речь солдат, и поэтому он обращал на книгу внимание молодых литераторов [2].

Один из рецензентов книги Федорченко о народе на империалистической войне писал в 1923 году: «Как важна и значительна была бы такая же книга записей из эпохи революции и гражданской войны» [3]. Это пожелание вскоре осуществилось.

В 1925 году появилась вторая книга «Народа на войне», отражавшая период между Февралем и Октябрем, время «керенщины» [4]. Она начиналась разделами «О царе, о Распутине» и «Как приняли революцию». Лейтмотив этого тома был выражен в заглавии одного из следующих разделов — «Кончай войну». Эта книга также получила высокую оценку печати. «Правда», например, назвала ее «исторически ценной, нужной нам книгой» [5].

---

[1] Архив Горького, т. X, I, с. 110. Цитируемое письмо опубликовано здесь с опечаткой: «построение» вместо «настроение».

[2] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 25. М., 1953, с. 142.

[3] «Накануне» (Литературное приложение), 1923, № 57, 17 июня, с. 6.

[4] Федорченко С. Народ на войне. т. II. Революция (Собр. соч. т. II). М., «Никитинские субботники», 1925. См. также публикацию фрагментов из второй книги «Народ на войне» в журналах «Красная новь», 1924, № 5 и «Русский современник», 1924, № 2. Еще в период Февральской революции в петроградской газете «Речь» были напечатаны записи С. Федорченко под заглавием «В эти дни» (1917, № 58, 9/22 марта).

[5] «Правда», 1925, № 109, 15 мая.

В конце 1925 года С. Федорченко читает своим друзьям уже третью часть «Народа на войне» — о войне гражданской. Среди ее слушателей были М. А. Булгаков, Л. М. Леонов и другие писатели [1]. А в 1927 году отрывки из этой части печатаются в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Огонек» [2].

Однако вскоре у «Народа на войне» нашлись свои недоброжелатели.

Нужно сказать, что многие из писавших об этой книге воспринимали ее как простую, чуть ли не стенографическую запись подслушанных бесед и рассказов, даже без особой литературной обработки.

«Не знаю, можно ли назвать это искусством,— рассуждал в газете «Речь» Д. Философов.— Какое тут искусство, когда автор ограничился стенографированием подслушанных солдатских думок» [3]. И. Василевский (Не-Буква) безоговорочно заявлял: «Г-жа С. Федорченко ни слова не прибавила от себя. Она только любовно и тщательно собрала те беседы солдат между собой, какие ей довелось услышать на фронте» [4]. Материал, представленный в книге, характеризовался как продукт анонимного народного творчества, а писательница именовалась обычно собирательницей (хотя порой с добавлением эпитетов «неутомимая» и «талантливая»).

Основания для такой квалификации работы давала сама Софья Федорченко, определяя в авторских предисловиях характер своей книги. Например, в предисловии к первой (журнальной) публикации, озаглавленной «Что я слышала», говорилось: «Я ⟨...⟩ записывала ежедневно, по возможности точно, все то, что чем-нибудь останавливало мое внимание» [5]. А в более развернутом предисловии к первому отдельному изданию сообщалось: «Была я все время среди солдат, записывала просто, не стесняясь, часто за работой, и во всякую свободную минуту ⟨...⟩. Пожилые солдаты, те чаще рассказывали мне, даже диктовали иногда. Так я записывала некоторые песни про войну, сказки, заговоры, предания» [6].

Неудивительно, что откликнувшиеся на книгу специалисты по фольклору стали предъявлять писательнице свои профессиональные

---

[1] См.: ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 499, л. 2—3 (письмо С. З. Федорченко к М. А. и Л. Е. Булгаковым); ф. 562 (письмо Л. М. Леонова к М. А. и М. С. Волошиным от 18 декабря 1925 г.); ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 75 (Письмо М. А. Булгакова к Федорченко от 24 ноября 1925 г.).

[2] «Новый мир», 1927, № 3, 4, 6; «Октябрь», 1927, № 6; «Огонек», 1927, № 37.

[3] «Речь», 1917, № 48, 20 февраля (5 марта).

[4] «Накануне» (Литературное приложение), 1923, № 57, 17 июня, с. 4.

[5] «Северные записки», 1917, № 1, с. 133.

[6] Федорченко С. Народ на войне. Фронтовые записи. Киев, 1917, с. 3.

требования. Так, фольклорист А. М. Смирнов-Кутачеcкий сетовал на то, что у нее нет настоящей «этнографичности»: «Составительница не указывает ни имен высказывавших суждения, ни места, откуда они происходят (что особенно важно), ни времени, когда записано то или другое 〈...〉. Вообще научно-техническая проработка материала сделана без особого умения» [1].

Как к документу, как к неавторскому, «ничейному» материалу, допускающему свободное использование или произвольную переработку, начали относиться к книге С. Федорченко и некоторые писатели, даже такие крупные художники слова, как Алексей Толстой. В его романе «Восемнадцатый год», в разделах, характеризующих настроения и действия крестьянских масс, можно встретить использование отдельных фрагментов третьего тома «Народа на войне». Таков, например, эпизод с крестьянкой, угостившей вражеского солдата-насильника варениками с подсыпанными в них иголками [2]. У Федорченко, без ссылки на источник, взят и выразительный эпиграф ко всему роману «Восемнадцатый год»: «В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого». (Заметим, кстати, что упомянутые тексты из «Народа на войне» появились в мартовской книжке «Нового мира» за 1927 год, а «Восемнадцатый год» стал печататься там с июльского номера того же года, и Толстой, конечно, внимательно следил тогда за этим журналом.)

Умаление творческой роли и работы автора, создавшего на основе обильных жизненных впечатлений своеобразное художественное произведение, а также начинающееся обращение с «Народом на войне» как с сырым материалом стали все больше ущемлять авторское самолюбие писательницы и вызывать ее протест.

В полемике с трактовкой «Народа на войне» как простого собрания фольклорных материалов С. Федорченко готова была не только свести до минимума, но даже целиком отрицать значение и само наличие первоначальных записей виденного и слышанного, из которых выросла ее книга.

В сентябре 1927 года в журнале «Огонек» появилась заметка «Народ в гражданскую войну», сопровождавшая публикацию некоторых отрывков из третьей части книги. В этой заметке, подписанной «Н. Хорошев», вероятно, со слов писательницы сообщалось, что в действительности она никогда не записывала «ни одной строчки из солдатских бесед» [3].

А в октябре того же года в «Вечерней Москве» была напечатана статья И. Полтавского «Талант правды». Этот псевдоним принадлежал давнему рецензенту и поклоннику «Народа на войне» — И. Васи-

---

[1] «Печать и революция», 1925, № 8, с. 246.

[2] Толстой А. Собр. соч., т. XII. М., «Недра», 1929, с. 123—124.

[3] «Огонек», 1927, № 37, с. 12.

левскому (Не-Букве). Рассказывая о своей беседе с С. З. Федорченко, журналист привел следующее заявление писательницы: «Я записей не делала ⟨...⟩. Писать тут же на войне мне и в голову не приходило. Я не была ни этнографом, ни стенографисткой ⟨...⟩. Поначалу я думала написать нечто вроде военного дневника, пробовала разные формы, даже форму романа. Потом решила записать свои впечатления в наиболее простом виде»[1].

Некоторые формулировки, приведенные Полтавским, позволяют утверждать, что в его руках был небольшой очерк, в котором сама С. Федорченко рассказывала, как создавался «Народ на войне». Этот очерк, написанный ею в мае 1927 года по просьбе редакции «Огонька» для неосуществившегося альманаха «Солнце», тогда не был напечатан. Он был опубликован только в 1973 году В. И. Глоцером по неполной копии, посланной автором в письме к К. И. Чуковскому и сохранившейся в архиве последнего.

Именно в этом очерке С. Федорченко заявляла, что, находясь на войне, она не думала писать книгу. Мысль о создании книги появилась только после ее возвращения в тыл, когда она приехала в Москву и стала знакомиться с текущей литературой о войне. «Почти все писали — бей, жги, мы-ста да они-ста. В прозе и стихах. Или писались сентиментальные, жалостливые вещи. Почти все было ложью и тяжким стыдом.

Вот тут-то со мной и произошла нелепейшая и неожиданная вещь. Я решила написать «правду о войне» и решила написать только правду, даже если всей правды мне написать и не удастся».

И далее, упомянув о том, как она пробовала разные формы, писательница сообщала, что первый отрывок из «Народа на войне» она написала «в аванложе театра» на спектакле пьесы Винниченко «Черная пантера и белый медведь»[2]— «каким-то неожиданным способом ⟨...⟩ влезши в шкуру рассказавшего мне этот случай солдата и абсолютно забыв себя самое».

Тут же С. Федорченко дает объяснение тому, почему она объявила свою книгу просто записями. Ей хотелось, чтобы книге поверили. «И решила я от книги этой совсем отойти, чтобы никто не стал рассуждать, талантлив автор или нет,— а просто приняли бы книгу как документ, что ли. Может быть, я просто струсила, не знаю. Но я твердо решила сказать, что это почти стенографические записи, и отдать книгу эту как не свою»[3].

Это признание имело для Софьи Захаровны неожиданные и весьма неприятные последствия. Ее обвинили в мистификаторстве, в под-

---

[1] «Вечерняя Москва», 1927, № 243, 24 октября.

[2] Драма В. К. Винниченко «Черная пантера» в 1916 году шла в киевском драматическом театре «Соловцов».

[3] «Русская литература», 1973, № 1, с. 153—154.

делке народных высказываний. С таким обвинением на нее обрушился всей тяжестью своего большого тогда авторитета Демьян Бедный.

Заметим, что Демьян Бедный вначале разделял общее высокое мнение о «Народе на войне». Об этом свидетельствует его предисловие к первому тому «походных записок» Л. Войтоловского «По следам войны», вышедшему в 1925 году. Всячески одобряя эти записки, Демьян Бедный писал: «Такой книги, кроме разве книги С. З. Федорченко «Народ на войне», об империалистической войне у нас еще не было. Ни историку, ни психологу, ни тем более художнику, желающему понять, истолковать, изобразить настроение народной многомиллионной массы, брошенной в пекло империалистической войны, нельзя будет миновать записок Войтоловского» [1].

Демьян Бедный и был как раз таким художником, стремившимся изображать настроение народной массы на разных этапах социальной жизни и постоянно искавшим подходящих материалов. Естественно, что его пристальное внимание должна была привлечь наряду с «походными записками» Войтоловского и другая книга, также отражавшая «настроение народной многомиллионной массы, брошенной в пекло империалистической войны». О ней ведь тоже можно было сказать, что здесь «правдиво и художественно изображено, как народ воевал «за черт знает что» и как он ума набирался» [2].

Демьян Бедный, очевидно, намеревался широко использовать заинтересовавшие его «фронтовые записи» Федорченко в своем творчестве так, как это он делал в других случаях, включая отдельные фольклорные тексты в свои произведения или создавая на их основе целые опусы.

Однако, узнав (сначала от поэта и художника П. А. Радимова), что книга Федорченко не собрание фольклорного материала, а литературное произведение, он круто изменил свое отношение к ней.

19 февраля 1928 года в «Известиях» появилась резкая статья под убийственным названием «Мистификаторы и фальсификаторы — не литераторы». Автор безапелляционно объявил книгу сплошным вымыслом и «поклепом на народ». Со всей категоричностью в статье утверждалось: «Народ на войне» как сырой материал, как немудрые записи подслушанного у народа, как неопороченное свидетельство имел кое-какую цену. Но как обнаруженная мистификация он ломаного гроша не стоит» [3].

Причину такого резкого выступления Демьяна Бедного, такого его сильного раздражения помогает понять история его отношения к другому, несколько более позднему литературному произведению — к «Малахитовой шкатулке» П. Бажова.

---

[1] Бедный Демьян. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1954, с. 286.

[2] Там же, с. 287.

[3] «Известия ЦИК СССР», 1928, № 43, 19 февраля.

Как известно, при первоначальном знакомстве со сказами Бажова у читателей также возникал вопрос: что это — фольклор или индивидуальное творчество? И большинство склонялось к мнению, что это только фольклорные записи. Бажов, подобно Софье Федорченко и по сходным мотивам, вначале сам ставил себя в положение простого передатчика устного народного творчества, называя свои сказы «восстановлением по памяти» произведений рабочего фольклора. Демьян Бедный, заинтересовавшись книгой «Малахитовая шкатулка», также воспринял ее лишь как сборник записей рабочих уральских сказов и в 1939 году переложил ее в стихи, озаглавив свое переложение «Горная порода. Эпопея» [1].

В письме к уральскому фольклористу и краеведу В. П. Бирюкову от 28 января 1945 г. Демьян Бедный откровенно рассказывает о том, как, узнав по сборнику «Дореволюционный фольклор на Урале» (1936) «о блестящем уральском сказителе Хмелинине», он «по старой привычке нацелился на его сказы: вот где материалец-то! Потом,— продолжает автор письма,— появилась книга «Малахитовая шкатулка» с хмелининскими сказами в записи Бажова. Ничтоже сумняшеся, я засел за работу, работал ровно 100 дней — в 1939 г., в результате чего все сказы, заключавшиеся в книге, обрели новое, стихотворное, оформление. Неплохо записал Бажов, но и мой пересказ представляет свой интерес 〈...〉. Я очень был, как и все, благодарен памяти Бажова, но считал, что он все же только записал чужое».

И дальше Демьян Бедный признается, как его неприятно поразило постепенно утверждающееся мнение, что Бажов не собиратель, не записыватель, а писатель, создающий свои произведения на фольклорной основе: «Небесталанный Бажов — хитрый мужичишко: сумел обморочить малоопытных людей и уральцами обласкан. «Выиграл» Бажов, но сказы проиграли: приятнее было думать, что эти сказы — рабочее творчество, и в этом их ценность, а как сочиняет Бажов — хуже или лучше — это не столь уж важно 〈...〉. Можно бы на это дело махнуть рукой. Но мне обидно все же, что уральские сказы оказались сниженными, что произошло некое похищение и присвоение, что записыватель затушевал подлинных творцов, а я, в частности, оказался в положении Пушкина, попавшегося на мистификацию Мериме. Но в данном случае та разница, что материал в основе подлинный, как я убежден, но заслонен удачливым записывателем. Выходит: если я пользовался Хмелининым, мой стихотворный пересказ имеет цену, если я пересказал Бажова, грош цена моему пересказу 〈...〉 у меня лежат 12 000 строк, уральская эпопея, а смотреть на написанное мне не хочется. Во всяком случае, я не раньше приступлю к опубликованию

[1] См.: Батин М. «Малахитовая шкатулка» в стихах.— В кн.: Батин М. Жанр и мастерство. Свердловск, 1970.

своей работы, чем не провентилирую вопрос: Хмелинин или Бажов?»[1]

Еще раньше, в письме к А. А. Пьянкову (от 28 октября 1943 г.), Демьян Бедный выразил недовольство тем, что Бажов претендует на роль автора оригинального литературного произведения, а не собирателя фольклора: «Больше было бы славы Уралу и самому Бажову, если бы бажовская борода не лезла так назойливо на первый план и не заслоняла подлинных творцов гениальных «рабочих сказов»[2].

Как видим, в подходе Демьяна Бедного к «Малахитовой шкатулке» в значительной степени повторилась ситуация с «Народом на войне». Десятилетием раньше он, несомненно, так же «нацелился» и на «сказы» С. Федорченко, рассматривая их как «материалец» для себя. И почувствовал крайнюю досаду и раздражение, когда узнал, что это не сырой материал, которым можно свободно распоряжаться, а творческая работа другого писателя.

Кстати, сам Демьян Бедный в цитированном письме к Бирюкову проводит параллель между этими двумя эпизодами из своей биографии, вспоминая «случай 〈...〉 с одной записывательницей «солдатских разговоров». Со свойственной ему бесцеремонностью он сообщает: «Записи были восторженно приняты. Но фольклористка сдуру позавидовала материалу и убила его, заявив, что это она сама сочинила. Я ее за это в «Правде» добивал»[3]. Здесь допущена только одна неточность: он «добивал» автора «Народа на войне» не в «Правде», а в «Известиях».

Надо сказать, что в литературной практике Демьяна Бедного это был не единственный случай резкого и несправедливого выступления против тех или иных деятелей советской литературы и искусства. Приходится не согласиться с А. Жаровым, который утверждал: «Я не знаю случая, чтоб Демьян использовал свой огромный авторитет во вред кому-либо из собратьев по перу»[4].

Можно вспомнить, например, эпизод с кинофильмом А. Довженко «Земля» в 1930 году, когда Демьян Бедный в своем фельетоне «Философы» (тоже в «Известиях») подверг фильм грубому разносу и обвинил автора в политических ошибках. «Я был так потрясен этим фельетоном,— рассказывает Довженко в своей автобиографии,— мне было так стыдно ходить по улицам Москвы, что я буквально поседел и по-

---

[1] Гос. архив. Свердловской обл., ф. 2266-р, оп. 1, 2498, л. 1 (за присылку фотокопии этого письма приношу благодарность краеведу и фольклористу В. П. Тимофееву). В более сокращенном виде письмо цитируется в кн.: Батин М. Жанр и мастерство, с. 51.

[2] Бедный Демьян. Собр. соч. в 8-ми т, т. 8. М., 1965. Демьян Бедный не осуществил свое намерение опубликовать «Горную породу», она была напечатана только в 1950-х годах.

[3] Гос. архив Свердловской обл., ф. 2266-р, оп. 1, д. 2498, л. 1.

[4] «Воспоминания о Демьяне Бедном». М., 1966, с. 232.

старел за несколько дней. Это была подлинная психическая травма» [1]. А через пятнадцать лет Д. Бедный, по свидетельству Довженко, заговорил о «Земле» совсем по-другому; встретившись с автором, он признал, что «это было произведение поистине великого искусства» [2].

В случае с Федорченко резкость выступления Демьяна Бедного могла иметь и дополнительные причины. В частности, следует учесть еще одно обстоятельство.

С. Федорченко, сочинявшая в те годы немало сатирических стихов на темы современной литературной жизни, недолюбливала Демьяна Бедного и порой избирала некоторые черты его личности объектом своих сатирических упражнений, правда остававшихся в рукописном виде, но читавшихся в литературной среде, на «Никитинских субботниках». В архиве писательницы сохранилось несколько таких басен («Демьян и Госиздат», «Демьянова встреча» и др.) [3]. Демьян Бедный, вероятно, узнал о сатирических выпадах по его адресу, и это могло усилить его раздражение. Тогда, в 20-е годы, он еще был почти непререкаемым авторитетом и мог порою вершить судьбы отдельных представителей литературного цеха.

В вопросе о «Народе на войне» у Д. Бедного нашлись единомышленники и союзники. Например, в передовой статье еженедельника «Читатель и писатель» утверждалось, что С. Федорченко якобы совершила «двойное надругательство» и над массой, от имени которой она говорила, и над читателем. Удивительно, что несколько дальше в полном противоречии с началом статьи и ее тоном говорилось о необходимости «культурных взаимоотношений» между писателями признанными и писателями начинающими, «взаимоотношений, возвышающих человеческое достоинство и помогающих писательскому молодняку правильно оценить себя» [4].

У большинства литераторов выступление Демьяна Бедного не встретило одобрения. Не согласен был с ним, в частности, М. Горький. В цитированном выше письме к Халатову от 25 марта 1928 года он писал из Сорренто: «Мне кажется, что Д. Бедный неосновательно обругал книгу Софьи Федорченко» [5]. Это свое мнение Горький высказал и в печати — в редактировавшемся им журнале «Литературная учеба», заявив о том, что «зря опороченная Демьяном Бедным весьма ценная книга Софьи Федорченко» может быть крайне полезна для начинающего литератора-слоpower[6]. И позже, в письме от 29 июня 1933 года к тогдашнему ответственному секретарю главной редакции

---

[1] «Советские писатели. Автобиографии», т. III. М., «Художественная литература», 1966, с. 215.

[2] Там же, с. 220.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 28.

[4] «Читатель и писатель», 1928, № 7—8, 25 февраля, с. 1.

[5] «Архив Горького», т. X, кн. 1, с. 110.

[6] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 25, с. 141.

«Истории гражданской войны», будущему академику И. И. Минцу, давая отзыв о рукописи нескольких глав первого тома «Истории» и подчеркивая, что массу здесь «должно показать живой, говорящей и действующей», Горький усиленно рекомендовал использовать книгу Федорченко [1].

Но, несмотря на такие голоса в защиту книги, как авторитетный голос Горького, к работе Софьи Федорченко после выступления Д. Бедного установилось крайне предвзятое отношение.

Третий том «Народа на войне» отдельной книгой так и не вышел, а первые тома больше не переиздавались, хотя, по свидетельству бывшего директора Гослитиздата Н. Н. Накорякова, Горький не раз называл «Народ на войне» «в списках книг, рекомендуемых им для издания 〈...〉. Причем Алексей Максимович подчеркивал, что эта книга и политически и художественно заслуживает большого «народного» тиража» [2].

О книге перестали писать, ее если и упоминали в справочных изданиях, то с тенденциозными оговорками, снижающими ее значение. Так, в «Литературной энциклопедии» заявлялось в противоположность тому, что справедливо писал в свое время Воронский в «Правде»: «Книга 〈...〉 поверхностна: в ней не получили отражения глубокие идейные сдвиги, которые происходили в солдатской массе, переходящей на путь большевизма» [3].

Пожалуй, единственным исключением оказалось напечатанное в

---

[1] Архив А. М. Горького, ПГ-рл 25-35-2. О том, что Горький сохранил интерес к книге С. Федорченко и в самые последние годы жизни, свидетельствует следующий факт. В личной библиотеке писателя среди книг, находившихся у него на даче в Горках, имеется экземпляр «Народа на войне» («Новая Москва», 1923 с вложенным в него письмом директора Гос. изд-ва художественной литературы от 21 июня 1935 года: «Секретариат А. М. Горького, т. Крючкову. Тов. Крючков! Гослитиздат посылает Вам для Алексея Максимовича две книги — Войтоловский «По следам войны» и Федорченко «Народа на войне». По ознакомлении просьба переслать книги обратно по адресу: Гослитиздат, Библиографический отдел, т. к. Вам посылается единственный экземпляр б-ки (Войтоловский), а Федорченко взят нами из другой б-ки. Директор Н. Н. Накоряков» («Личная библиотека А. М. Горького в Москве». Описание. М., «Наука», 1981, кн. 2, с. 23).

[2] Из письма Н. Н. Накорякова к С. З. Федорченко от 3 сентября 1956 года. Цит. по машинописной копии, предоставленной Н. П. Ракицким. После 1927 года появился только перевод «Народ на войне» на французский язык: Sophie Fedortschenko. Le peuple a la guerre. Propos de soldats russes recueillis par une infirmière. Adaptés du Russe par L. Bach et Ch. Reber. Paris, Librairie Valois, 1930. (Раньше, в 1924 году, был издан еще один перевод книги С. Федорченко — на немецкий язык — под названием: Der Russe redet. Aufzeichnungen nach dem Stenogramm von Sofja Fedorschenko. Deutsch von A. Eliasberg. München. Drei Masken Verlag).

[3] Литературная энциклопедия, т. 11. М., ГИХЛ, 1939, стлб. 680.

«Литературной газете» от 1 мая 1939 года коллективное приветствие Софье Федорченко по случаю ее юбилея. Среди подписавших это поздравление были П. Антокольский, Н. Асеев, В. Вересаев, В. Катаев, Л. Леонов, В. Лидин, И. Новиков, Б. Пастернак, К. Тренев, К. Федин. Книга Федорченко здесь была названа «яркой и волнующей» [1].

В цитированной энциклопедической заметке было сказано, что «с 1931 ⟨г.⟩ Ф⟨едорченко⟩ почти совсем прекратила свою писательскую деятельность» [2]. Это утверждение нуждается в исправлении.

Писательница тяжело пережила обрушившиеся на нее нападки в печати: она заболела. Но ее писательская деятельность не прекратилась. Несмотря на длительную тяжелую болезнь, часто приковывавшую ее к постели, она продолжала работать до конца своей жизни (умерла она в 1959 году).

С. З. Федорченко написала еще исторический роман-трилогию из времен пугачевщины «Павел Семигоров» (первоначальное заглавие — «Конец столетия») [3], ряд сказок, пьес, стихов для детей. Однако ее основной труд, который она продолжала дорабатывать еще в 1940-е и 1950-е годы, главная книга ее жизни оказалась, по ее выражению, «книгой злой судьбы» [4]. Она больше не издавалась [5], хотя писательница обращалась в некоторые издательства, где ее рукопись встречала порой даже одобрительные отзывы [6]. Писала С. Федорченко и руководителям Союза писателей, и К. Е. Ворошилову как председателю Президиума Верховного Совета СССР [7]. Тем не менее «Народ на войне» очутился в числе незаслуженно забытых книг, а деятельность ее автора превратилась в одно из белых пятен на историко-литературной карте [8]. Только в 1983 году в томе 93 «Литературного наследства»

---

[1] «Литературная газета», 1939, № 24, 1 мая.

[2] Литературная энциклопедия, т. II, стлб. 680.

[3] «Детство Семигорова»,— «Красная новь», 1942, № 5—6, 7, 8; отд. изд.: «Сов. писатель», 1956; «Отрочество Семигорова», 1957; «Юность Семигорова», 1960; «Павел Семигоров. Трилогия», кн. 1—2 и кн 3. М., «Сов. писатель», 1963.

[4] Из письма С. З. Федорченко к К. А. Федину.— ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 67, л. 2.

[5] В советской периодике были напечатаны небольшие отрывки из третьей книги «Народа на войне» (из разделов «Ленин» и «Москва») в «Огоньке» (1977, № 16) и в «Литературной России» (1978, № 10).

[6] Например, датированный 9 декабря 1956 года отзыв М. М. Скуратова для Гослитиздата (ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 129).

[7] Там же, ед. хр. 60, 67, 72, 58.

[8] Книга «Народ на войне» не рассматривается ни в одной из работ о литературе послеоктябрьского десятилетия, даже в работах, специально посвященных теме изображения народной массы в литературе этих лет. Творчество С. Федорченко не нашло отражения и в многотомном библиографическом указателе «Русские советские писатели. Прозаики» (1959—1963), хотя здесь представлены даже некоторые третьестепенные литераторы. За целое полустолетие (тридцатые —

была напечатана третья часть «Народа на войне» («Гражданская война»), судьба которой сложилась особенно драматически, поскольку эта часть публиковалась в свое время лишь фрагментарно и отдельной книгой не выходила.

Между тем, социально-художественное значение этой третьей части, как и всей книги, изображающей народ в самые острые, решающие моменты его социальной истории, несомненно.

Перед нами народное море, взволнованное и взбудораженное огромными историческими событиями до самых глубин. Писательнице удалось передать мысли, чувства, настроения, чаяния крестьянской массы в ее разных слоях — и более сознательных, и отсталых, темных, в лучших и худших ее представителях, завязших в старом и тянущихся к новому, сражающихся в рядах Красной Армии и оказавшихся в белогвардейском стане или еще колеблющихся, занимающих промежуточную позицию, очутившихся среди так называемых «зеленых».

В беседах, рассказах, а иногда и спорах, воспроизведенных Федорченко, жизнь, история выступают без прикрас, без приглаженности, во всей жизненной сложности, противоречивости, непосредственности, обнаженности, пожалуй, даже «с перегрузкой кое-где на кровь» [1], по выражению Л. М. Леонова. Это действительно «Россия, кровью умытая», если воспользоваться названием произведения другого писателя, изображавшего те же годы.

Читая книгу Федорченко, невольно вспоминаешь слова В. И. Ленина о том, что наша революция не свалилась с неба, а родилась и росла «на земле, залитой кровью в четырехлетней империалистической бойне народов, среди миллионов и миллионов людей, измученных, истерзанных, одичавших в этой бойне» [2].

Вспоминается и то, что Ленин считал нужным не затушевывать этой тяжелой правды при изображении войны и революции. Известно, что первое значительное произведение советской прозы о гражданской войне — «Два мира» В. Зазубрина — вождь революции охарактеризовал как «очень страшную, жуткую», «но хорошую, нужную книгу» [3]. Эти слова приходят на память, когда читаешь многие страницы «Народа на войне».

В отличие от тех литераторов, которые отвернулись в годы революции от народа за его бескрайнюю ненависть против угнетателей, за его стремление беспощадно мстить обидчикам, за его готовность опро-

---

семидесятые годы) единственной литературоведческой работой, содержавшей сведения о «Народе на войне» и его судьбе, явилось сообщение В. И. Глоцера («Русская литература», 1973, № 1).

[1] Из письма Л. М. Леонова к М. А. и М. С. Волошиным от 18 декабря 1925 года.— ИРЛИ, ф. 562.

[2] Ленин, П. С. С. т. 36, с. 475—476.

[3] В. И. Ленин и А. М. Горький. Переписка. Документы. Воспоминания. Изд. 3-е. М., «Наука», 1970, с. 356.

кинуть в своем гневе подчас и некоторые культурные ценности старого мира, Софью Федорченко не испугал «буйный крик» толпы — по слову поэта — «даже грубый, даже гневный, даже с бранью пополам»[1].

В толще масс в те суровые годы она замечает отнюдь не только мрачное и мучительное. Вместе с другими советскими писателями она показывает, как, по выражению Ларисы Рейснер, русский мужик шел в революцию, «шаг за шагом выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи»[2]. В «Народе на войне» изображаются не только унаследованная от старого темнота, но и устремление к свету, не только черты грубости и жестокости, воспитанные веками угнетения, но и высокая человечность. Сильны в персонажах «Народа на войне» темные инстинкты, косные предрассудки, невежество, заскорузлые, мелкособственнические привычки, но война и революция дали мощный толчок сознанию миллионных масс.

Уже в первом и втором томах книги Федорченко можно было видеть, как народ начинает понимать бессмысленность и ненужность войны, вызванной господствующими классами, как растет стихийный протест против угнетателей. В третьей книге показано, как все шире открываются глаза народа, все больше проясняется его сознание. И хотя далеко не во всем еще разобрались крестьянские массы, хотя они идут еще «ощупью» (так называется один из разделов книги), с колебаниями и сомнениями, часто попадая в плен анархических призывов и настроений,— но все отчетливее проявляется тяга к новым путям, указываемым партией большевиков, все больше крепнет доверие к тем, кто стремился повести страну к мирной, справедливой жизни, к светлому будущему. И естественно в конце книги появляются разделы с такими названиями: «Будущее. Стройка», «К своим», «Рабочие», «Ленин», «Москва».

Конечно, нужно сделать оговорку об известной ограниченности этой книги о народе в гражданской войне. В ней почти не представлены голоса рабочих. И сама писательница в предисловии к журнальной публикации фрагментов третьего тома делала оговорку о том, что «книга ни малейшим образом не может претендовать на исчерпывающее или даже неполное описание гражданской войны»[3]. Нельзя искать здесь и отражения всех основных этапов войны. В письме к К. Е. Ворошилову Федорченко называла третий том книгой «о самом раннем, еще стихийном зачатке гражданской войны на Украине»[4].

Но и учитывая некоторую ограниченность диапазона книги, мы

---

[1] Брюсов Валерий. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 3. М., 1974, с. 54.

[2] Рейснер Лариса. Избранное. М., «Художественная литература», 1965, с. 506.

[3] «Новый мир», 1927, № 3, с. 82.

[4] «Русская литература», 1973, № 1, с. 155.

не можем не признать большой социальной значимости изображенного в третьем томе «Народа на войне». Это достоинство произведения признал такой видный деятель Коммунистической партии, как И. И. Скворцов-Степанов. Он писал 13 декабря 1926 года Вяч. Полонскому: «Было бы полезно поручить кому-нибудь написать небольшую статью об этом материале: деревня, вообще не приемлющая войны, социально-туповатые элементы, которые инстиктом ненавидят офицеров и бар, но не разбираются в сложном переплете отношений и попадают то к бандитам, то к белым, «коммунисты», которые толком ничего не могли бы сказать о коммунизме». Свой отзыв Скворцов-Степанов кончает выводом: «Вообще любопытнейшее отражение того периода» [1].

Сильнейшей стороной «Народа на войне» является язык — меткий, яркий, образный.

Софья Федорченко провела раннее детство в селе Кохме Владимирской губернии Шуйского уезда. Та местность, в которой жила будущая писательница, была, по ее словам, «еще полна сказок, преданий, старинных песен» [2]. И это, разумеется, помогло автору «Народа на войне» впитать в себя с детства русскую народную речь во всей ее красочности, во всем ее богатстве и воспроизвести потом голоса многочисленных своих персонажей — фронтовиков, крестьян, партизан — так точно, колоритно и выразительно. Именно здесь были заложены первоосновы тесной близости писательницы к народу, ее превосходного знания быта и психологии русского крестьянства.

В одной из черновых тетрадей Федорченко есть любопытная карандашная запись — набросок ответа на вопрос, почему она выбрала героем массу: «По этому поводу должна сказать, что, будучи кровь от крови и плоть от плоти русской интеллигенции, творчески я интересами ⟨ее⟩ совсем не в силах заинтересоваться. Даже рука не подымается, скучно писать и не выходит. Конечно, могу написать, но это мне не нужно. Это ⟨...⟩ моя особенность как писателя. Понять могу только — народ» [3].

Разумеется, теперь мы не воспринимаем «Народ на войне» как документальные записи услышанного, но то, что книга не столько записана, сколько написана, отнюдь не лишает ее художественной и познавательной ценности.

Мы знаем, что даже произведения, являющиеся в полном смысле слова мистификацией и стилизацией под фольклор, могут иметь большие художественные достоинства. Вспомним хотя бы пушкинские «Песни западных славян». Что из того, что они оказались переложе-

---

[1] «Новый мир», 1965, № 5, с. 213—124.

[2] От автора.— В кн.: Федорченко Софья. Павел Семигоров. Трилогия, кн. 1—2, с. 7.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 50, л. 75 об.— 76.

нием не подлинных народных песен, а сочиненных Проспером Мериме? Перестали ли они быть жемчужинами поэзии? А пушкинские сказки? Уменьшается ли для нас их художественная прелесть, когда мы убеждаемся, что они не являются точным воспроизведением сказок фольклорных?

Не связывая себя строгой документальностью, С. Федорченко в своей книге оставалась верна правде жизни.

Упоминавшийся выше И. Василевский (Не-Буква), сравнивая «Народ на войне» с книгой подлинных документов — «Солдатские письма 1917 года» [1], пришел к выводу: то, что мы читаем у Федорченко, «детально совпадает» с письмами «по тону, по содержанию, по идее» [2]. Поэтому он и назвал свою статью — «Талант правды».

Вывод критика был вполне закономерным. Ведь книга была создана на основе множества живых, непосредственных впечатлений от действительности, в результате ежедневного тесного общения с сотнями представителей народа. В этом источник ее силы.

Характерно, что, по признанию самой писательницы, она в 40-е годы «задумала писать опять «Народ на войне»,— на Отечественной войне», но этот замысел не был осуществлен, очевидно, потому, что в данном случае автору недоставало нового жизненного материала: больной и пожилой писательнице невозможно было в эти годы самой побывать на фронте, среди своих героев. И она смогла откликнуться на события Великой Отечественной войны только в сказочной форме, сочинив «Русскую сказку про Илью Муромца и миллион богатырей» [3]. Иначе обстояло дело четверть века назад, когда писательница оказалась в самой гуще воюющего народа.

В методике литературной работы Софьи Федорченко было и то, что сближало ее с другими писателями, и то, что отличало ее от них.

За ее рассказами, конечно, стояли конкретные, живые люди. В немногочисленных дошедших до нас записных книжках Софьи Федорченко с текстами фрагментов «Народа на войне» есть в ряде случаев пометки о таких конкретных людях, о тех, от кого эти рассказы услышаны. Вот несколько примеров: «Евстафьев — Воронеж. губ.— без ног!» Или: «22-я дивизия (17 мая убили)». Или еще: «Донец, без ноги, нахал, талантлив, играл на балалайке и чудесно рисовал, сочинял экспромтом что угодно» [4].

Мы видели, что писательница в полемике с теми, кто преуменьшал

---

[1] «Солдатские письма 1917 года» (предисловие М. Н. Покровского). М.— Л., Госиздат, 1927.

[2] «Вечерняя Москва», 1927, № 243, 24 октября.

[3] Одна из песен (6-я) поэмы-сказки «Илья Муромец и миллион богатырей» напечатана в «Блокноте агитатора Красной Армии», 1943, № 12, с. 23—26 (под названием «Богатыри»).

[4] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 50, л. 9, 11 об, 21 об. (Записная книжка № 1).

ее авторский труд, на определенном этапе склонна была чуть ли не начисто отрицать факт записывания рассказываемого ей. Позже, более спокойно характеризуя свою работу, она признавала наличие некоторых записей. В черновике письма к Н. Н. Накорякову мы читаем: «Записывала я какие-то — часто отрывочные слова, скорее напоминая себе свои впечатления от виденного и слышанного, чем подлинные слова, но смысл, правду того, что слышала, я хранила строго» [1].

Ограничиваться минимальными первоначальными записями позволяла ей, очевидно, великолепная память. «Память моя особая оказалась, впечатления были неизгладимы, видимо»,— свидетельствовала сама Софья Захаровна [2].

С. Федорченко обладала замечательным слухом, улавливавшим все интонационные особенности, все своеобразие живой речи, поразительной способностью «слышать и передавать без стенографии» все богатство «полнозвучного и щедрого» русского говора. А дальше происходила напряженная творческая работа над текстом, которую сама писательница характеризует так: «Работа (и большая) у меня в том, что я до последнего сокращаю количество слов. Ищу наиболее подходящее слово, одно из многих» [3].

Но, может быть, самым характерным, самым специфичным для С. Федорченко как писательницы была способность перевоплощения в своих героев. Вот что мы читаем в черновых набросках одной ее статьи: «Вероятно, всякий писатель имеет свою особенность. Я обладаю особенностью вживаться в тысячи, если сильно задета и напряжена воля» [4].

Выше уже приводились выразительные слова С. Федорченко о том, как она написала свой первый отрывок из «Народа на войне», «влезши в шкуру рассказавшего ⟨...⟩ этот случай солдата и абсолютно забыв себя самое». Вот эта способность писательницы — «влезть в шкуру» солдата, «абсолютно забыв себя самое»,— пожалуй, самое главное, что определило художественный успех книги.

Показательно, что это же свойство писательницы заметил К. Чуковский в сказках и присказках С. Федорченко. Он писал об изображении действующих в этих присказках традиционных русских зверей — ежа, зайца, лисицы, волка. «Автор не смотрит на них чужими глазами, он и сам перевоплощается в них ⟨...⟩. Таков его художественный метод. Похоже, что он так долго вглядывался в каждого зверя, что, наконец, усвоил себе его голос, его психологию, его лирический тон» [5].

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 50, л. 60.
[2] «Русская литература», 1973, № 1, с. 153.
[3] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 50, л. 74, 73 об.
[4] Там же, л. 74.
[5] «Русский современник», 1924, № 4, с. 254.

К книге Федорченко естественно подойти с теми же критериями, с какими мы подходим к другим художественным произведениям. Когда Островский воспроизводит речь купцов или Шолохов речь казаков, мы не сомневаемся в правдивости, жизненности их высказываний, их реплик и не спрашиваем, где, как и насколько точно записал эти слова, эти мысли тот или другой автор. Не надо этого делать и по отношению к автору «Народа на войне».

Пожалуй, раньше других проник в существо работы С. Федорченко как писательницы проф. И. Н. Розанов. В 1925 году, когда еще шел разговор, насколько книгу «Народ на войне» можно зачислить по ведомству фольклора и этнографии, он писал: «По-видимому, мы имеем тут дело не с ученым-этнографом, а с этнографом-художником ⟨...⟩. Художнический подход к этнографическому материалу имеет свои несомненные выгоды: при нем опускается все случайное, нехарактерное, зато остальное приобретает силу типичности и убедительности, если не все то, что мы встречали в книге, и не совсем так рассказывалось в действительности, то это кажется несущественным. Важно то, что так могли и должны были осмысливать происходившие события наиболее вдумчивые из солдат в минуты воодушевления. И сама книга приобретает значение как одно из лучших словесных отражений дум и чаяний народа в один из важных исторических моментов» [1].

Конечно, произведение Софьи Федорченко необычно по своей форме. Выше уже упоминалось о том, как писательница после нескольких попыток почувствовала, что ее тема и ее материал не укладываются в принятые литературные формы, особенно в традиционную форму романа, и поэтому искала новых путей.

Впрочем, книга Федорченко не так уж отделена от остальной художественной литературы тех лет, от ее исканий: многие писатели, стремившиеся изобразить события революционных лет, передать образ эпохи, искали новых, не традиционных, крупномасштабных форм. Характерны, например, раздумья на эту тему Вс. Вишневского: «Сюжет идет от столкновения масс. Для меня — сюжет — сама история. Я считаю мелким и пошлым подменять фабульными штучками гигантское течение самой жизни» [2]. С. Федорченко тоже не хотела идти по проторенным путям обычного фабульного повествования и нашла свой жанр, давший ей возможность показать именно «столкновение масс», «гигантское течение самой жизни».

«Новая, послеоктябрьская литература своим главным объектом сделала народные массы»,— справедливо констатировал в те годы

---

[1] Шипов Андрей (И. Н. Розанов). Народ во время революции.— «Народный учитель», 1925, № 5, с. 19.

[2] Вишневский Вс. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1954, с. 803.

А. Воронский[1]. Книга Федорченко находится как раз в русле большинства произведений советской художественной прозы 1920-х годов.

Писатели тех лет, разрабатывая тему народа, стремились как можно чаще предоставлять слово непосредственно представителям самого народа, рассказывать о событиях народной жизни, о революции и гражданской войне устами его самого. Широчайшее обращение к сказу, к устному монологу повествующего лица из крестьянской, рабочей, солдатской массы, ставшее одной из главных особенностей литературы той эпохи, давало возможность во всей конкретности и непосредственности, как бы без передаточных звеньев, воспроизвести образ мыслей и чувств трудового народа, ввести в повествование народный критерий оценки изображаемых событий, без авторских коррективов.

Отмечая, что в первой половине 1920-х годов литература заговорила от имени народной массы и ее языком, историки советской литературы вспоминают Вс. Иванова, Сейфуллину, Неверова, Артема Веселого и много других, но, к сожалению, в этом ряду никогда не называется произведение Софьи Федорченко, которая шла по этому пути дальше и последовательнее, чем большинство других писателей. Голоса народной массы звучат у нее совершенно не заглушаемые голосом автора. В этом отношении книгу С. Федорченко можно сблизить с произведениями драматургии. Здесь даны только отдельные голоса людей, как и в драме, без видимого вторжения самого автора, без авторских характеристик, описания и повествования. И за каждым голосом встает живое человеческое лицо, со своими взглядами, со своим характером, со своими индивидуальными особенностями. А в совокупности эти отдельные голоса людей, их «невыдуманные рассказы» образуют социальное многоголосие, красочную полифонию, создают широкую панораму жизни и борьбы русского народа в грозную эпоху революции.

Нельзя не согласиться с обращенными к Софье Захаровне Федорченко словами К. И. Чуковского: «Если ваши книги умрут как документы, они останутся жить как мастерское произведение искусства»[2]. Это справедливо тем более, что их тема, как сказала сама писательница, «наш народ, его судьбы, его борьба»[3], а это самая значительная, самая важная для художника, для искусства тема.

Первая книга «Народа на войне» печатается по изданию 1925 года («Земля и Фабрика»); вторая — по изданию «Никитинских субботников», 1925; третья — по тому 93 «Литературного наследства» — «Из истории советской литературы 1920—1930-х годов».

Н. Трифонов

---

[1] Воронский А. Литературно-критические статьи. М., «Сов. писатель», 1963, с. 300.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 111, л. 3.

[3] Там же, ед. хр. 72, л. 5.

КНИГА ПЕРВАЯ

НАРОД НА ВОЙНЕ

I

КАК ШЛИ НА ВОЙНУ, ЧТО ДУМАЛИ О ПРИЧИНАХ ВОЙНЫ И ОБ УЧЕНИИ

По подлесочку по малому, у-жи-жи, у-жи-жи,
По-над речушкой, по-над быстрою, у-жи-жи, у-жи-жи,
По-над моей молодой судьбинушкой, у-жи-жи, у-жи-жи,
Уж ты пуля резвая немецкая,
Словно ласточка легка, да проходлива,
Словно ласточка та пуля поворотлива,
Что куда повернусь, на нее наторкнусь.
Я за куст лягу, за деревцо,
Как за деревцо, под крутой бережок,
Уж ты деревцо мое зеленое,
И зеленое, и веселое,
Припокровь, деревцо, долю солдатскую,
Припокровь головушку победную,
Припокровь руки-ноги рабочие,
Припокровь имечко нареченное.

Как громом меня та война сшибла. Только что с домом справился — пол настлал, крышу перекрыл, денег кой-как разжился. Вот, думаю, на ноги стану, не хуже людей. А тут пожалуйте! Сперва было пить задумал, а только сдержался,— на такую беду водка не лекарство.

А я так очень даже охотно шел. Домашние меня просто слезами исслезили, а я хоть бы что, стою истуканом да со стыда хмыкаю. А в думке одно: кабы поскорее. Я шумное житье люблю, разное. Мне война как раз впору.

Эх, вначале, как погнали нас семнадцатеро из деревни, ничего не понятно, а больше плохо... Ух и заскучали мы... На каждой станции шум делали, матерно барышень ругали, пели чточасно, а весело не было... А потом здорово учили нас, аж я с тела спал... И надругались, как над дурнями... А мы не очень-то дурни были, работящие парни, один в один хозяева... Я при отце работал в строгости, только и баловства моего было, что четыре месяца на фабрике фордыбачил... А тут кругом соблазн и ни тебе свободы, ни тебе попечения... Зато теперь попал я на позицию... Так я плакал, как сюда ехал, просто с жизнью прощался... Маменька-то лет пятнадцать померши, а я все плачу, мамашенька, мамашенька,— причитаю...

Загулял я тогда на целую неделю. Сильно с тоски да со страху баловал тогда. Очнулся чуть не на самой позиции только, и так я зажалел, что совсем, почитай, без памяти с прежней своей жизнью распростился. Вернул бы, да поздно. А теперь-то все ведь иное.

Я на войну шел, все обдумал. Спорить не приходится, конечно. Однако я бы и спорить не стал. Один только у нас и случай, что война, от каторжной нашей жизни оторваться. Тут только я и на свет вылез, людей вижу да про себя понять время сыскал.

А то еще в 13-м, на Фоминой, пришел к нам дед из Питера. По многим местам ходил хожалым, бывалый мужик. Тот за верное принес, что затевают наши министры войну с немцем и что нужно-де ту войну провоеваться,— чтобы понял народ, какой он ни до чего не годный, и никаких себе глупостей не просил бы... Так оно и вышло. При всей при Европе, на голой на...

Когда я в первый раз в бою был, точно ничего не помнил. А теперь даже во сне вижу все до точки. Очень не по нутру война-то пришлась. Ну там ранят, али смерть, али калечью заделают,— не в том вся сила. Кабы мне знатье, в чем толк-то, из-за чего народы,

такие мирные, передрались. Не иначе как за землю. Теснота, что ли? И того не видать.

Что война?.. Купцы проторговались, а с нас шкуру дерут...

Нас учить нужно всему. Как я понял, чего я супротив супротивника не знаю,— душа в пятки ушла. Жизни моей не хватит обучиться. Да и ум-то во мне от возраста заматерел. Не согнешь, разве что скорежишь. Пусть уж детки наши обучаются. Только для того и домой-то хочу вернуться. А то так темноты своей страшусь, помереть впору...

Темны мы не по своей вине. Я с малых лет ученье любил, сам себя грамоте обучил, а что я за помощь в этом деле видел? Все мое ученье было у сапожника по башке колодкой. А он еще под себя ходит, а над ним с книжкою сидят. И дальше, только захоти, до самого высшего разума доучиться можно. И при всем том сволочей из них тоже много бывает.

Что об этом говорить, разве нашего брата спрашивают. Я дома учился, каждый день к Николаю Ивановичу ходил отдельно. Очень меня за способности любил, ко всему я был способный. Починить часы и то сумел сразу. Все понимал и то понял, что на войне не такие теперь люди нужны... Вот и я в пехоте что пес на охоте. На своре сижу, ничего не вижу...

Я, как лягу, об чем думаю?.. Хорошо бы, всего лучше, чтобы я так быстро читал, как говорю... Господи, думаю, читал бы я тогда всю свою жизнь и всю жизнь свою забывал бы...

Взял я карандаш и стал писать как следовало. И увидел я: топорище куды к моей руке поприкладнее. Упарился в тот раз, будто целую делянку и снял, и выкорчевал. А уж кабы я столько раз топор из рук

выронил, сколько карандаш-то этот,— быть бы мне безногим калекой.

Стоит столб, на ем слова, а прочесть я не в силах. Дороги за столбом разошлись, вот и иди куда знаешь. Сел, стал сказку вспоминать. А по сказке-то той куда ни кинь — все клин, куда ни глянь — все дрянь. Я и пошел без пути, посередке, да еле из трясины и выбрался. Чем сказки-то сказывать, лучше бы грамоте выучили.

Смотрю, ровно бы огонек мрежит. Я и попер прямиком, через пень-колоду. А огонек все на той версте мрежит. Так я до свету шел, и все зря. Вот и скажи, что без лешего.

В голове твоей бор темный, вот в том бору так леший! А коли свет в башке, так на свету всякая нежить выдохнет.

Кто в городу пожил, знает, что такое наука. И как она людей на верх ставит. Хоть бы дом большой, городской. Высок в гору, красив, велик, ровно село большое, строят же его простые, неграмотные. Ползут по постройке той мурашами, кладут камни по чужой указке, нету им в глазах дома того красы и ладу. А выстроил мужик, набил себе за то брюхо кашей, от дома того отвалился да за избой своей курной с...

А живут-то в этом дому только ученые люди.

Больно тело свое работой перетружил. Отработался, руки-ноги ровно гири, на безделье не поднять. Мозги так совсем отвыкли, не утруждаются, заматерели. А с войной-то самое время пришло голове кланяться...

Мы ужли не научены, а вот те, что из плена вернутся, те и нас многому учить будут... Из каждой овцы — вышли мудрецы... На каждой на дубине — ягода-малина...

Он те околдует... Больно готов наш брат... Изобижены, унижены, хуже зверья живем... Всё ждем, кто научит, вот и слушаем... Эх, кабы они муки не принимали, больше б им верили, а то за ним не идешь, боишься... Зато объявить — ни боже сохрани...

II
ЧТО НА ВОЙНЕ ПРИКЛЮЧИЛОСЬ

На какой голос ревет, на какой голос поет,
На тот на голос, что смерть дает.
Приди, человек, до полсудьбы,
Приди, солдатушко, до полубоя,
Как и бой не бой, людям убой,
Как рвет и землю, и дерево,
И солдатское тело томленое.
Во соседнем селе белы рученьки,
Во чистой реке победна головушка,
Во густых хлебах быстры ноженьки.
Во глубоком рву ясны оченьки,
А как кровь тепла во сырой земле,
Во сырой земле, во чужой стране.

Что поднялось! — ровно суд страшный... Нельзя не покориться, а и покориться — душа не терпит... Нету рассудку ни краюшка. Теперь помнится, а то: гром тяжкий, снаряды ревмя ревут, рвутся, у нас раненые вопят... И целые-то волчьим воем воют от смертного страху... Нету того страха страшнее... Куда идти?.. Не идешь, в кучу сбились... Молоденькие криком вопят, по-зверьи... Взял он револьвер да ко мне: «Вылезай». Я назад напираю, земляков куча... Я — карабкаться, а он в меня выстрелил чего-то... Не попал, только все шарахнулись и в атаку полезли.

Эх, до чего плохо было! Как первая повозка дошла, слез Семен Иваныч, бабе говорит: «Собирайся, детей собирай и вещи что понужнее, выселяют вас». Баба оземь, голосит, сапоги целует. Народ собрался, услышали, по селу, словно гром, плач такой. Сразу все говорят и плачут все. Кто головою бьется, кто волосы рвет, а старуха одна телку вывела, за шею обняла, голосом воет, и собаки тоже с ей душу рвут... Ну, стали потом силом сажать — не уговорить. Так босые все, а дождь да грязь и холодно... До чего плохо было, самое трудное...

Я повылез, слышу — дышит, как на бабе... Я повылез подальше да кажу тихонько: что ты тут, сукин сын, а он — хр... хрипит. Я боюсь — кричу, а он боится — хрипит. Я к нему лезу, а он ко мне... Доползли, а кровь из ноги горячая, сам я холодный... Рукою его за шею — щуплый... Ищу, может, где близко ранен... Верно, пальцами в грудь залез... Он, чисто как свинья зарезанная, орет... Я его за горло давлю — тоже мокро, а все, чтобы горше, по груди рву... Замер, как заснул, а я на нем... До утра. Утром рано, саднит нога — чисто смерть, а голова, чисто водою налита, гудит... Не вижу, не слышу, как подобрали — не помню... И что это, братцы, чи я того проклятого удушил, чи он сам по себе помер?.. Рассуждаю, что не грех, а больше по болезни-слабости снится.

Что здесь плохо — многие из нашего брата, нижнего чина, сон теряют. Только глаза заведешь, ровно лавку из-под тебя выдернут, летишь куда-то. Так в ночь-то раз десять кричишь да прокидываешься. Разве ж такой сон в отдых? — мука одна. Это от войны поделалось, с испугов разных...

Чудно мне здесь перед сном бывает, как устану. Ровно не в себе я. Ищу и ищу я слово какое ни на есть, нежное только. Ну там цветик, али зорюшка, либо что другое, поласковее. Сяду на шинель да сам себе раз десять и протвержу то слово. Тут мне ровно кто приголубит сделается, и засну тогда...

Долго ли я лежал, не знаю. Звезды, идти надо, я ползком на горку выбираюся. За горою, знаю, немцы. Ракеты все слева, и то рад. Ползу, слышу разговор ихний. Смотреть — ничего не видать. Только совсем близко огонь всполохнул. Здоровый немец машинку разжег, кофий варит... А дух, господи... Думаю, коли б этого — вот хорошо бы... Слюны полон рот... Я ползу, а он сидит, ждет кофию, на огонь засмотрелся... Смотри, смотри... Сзаду навалился душить скоренько. Молча сдох, с испугу, видно... Я за кофий, пью, жгусь, тороплюсь... Взял машинку да каску с собой унес...

Хорошая кобыла была, как жену, любил, просто заржет, и мне охота... А налетал с утра... Ну тут с месяц, как свет, так нету покоя... Ни работать нельзя, ничего нельзя... и то нельзя... Грязь в земле развели ровно свиньи... Налетит со светом, кружит и бомбы бросает... И песок-то, и грязь, и гул, и жарко, чисто пекло... Лошадей по-за кусты. Артиллерия по им жарит, а стаканы к нам в обоз. Собирали начальникам, сестер одаривали. Цветы держали и все говорили: красиво, что цветы, а она смерть причиняла... Вот и кобылке смерть причинила... Как его угораздило, только слышу — ржет кобылка, весело ржет... Думаю: что это она радуется? Да к ей... а она и глазом не ведет, мертвая... Это она как в памороке была, что хорошее и представилось...

Голод выучит... Я вот дите при дороге спящее ограбил... Спит дите, чье — не знаю. Никого поблизости. Ихнее потерялось. Замученное, спит при дороге, и хлеб под головами... А я хлеб взял, сперва разломил... А потом подумал — не помирать же бородатому... А в дите жизнь легкая... Да весь хлеб и унес...

А, как выскочил я — направо Алешка, налево Петренко. Кричим, бежим, упали... Зарываюсь, так быстренько стараюсь, а кругом пуля визжит... Вскочили, бежим. Алешка бежит, а Петренки нету... Думаю: «Как его убили, так и меня убьют; как его убили, так и меня убьют»... И чего это такая думка пришла, не знаю, а все думаю одно это... Добежал и сильно работал штыком, лиц просто не видел... Невредим вернулся... Глотка до того охрипла, три дни хрипел, с крику сорвал. В глазах туман белый, только скрозь него все и виделось, тоже дня три... А Петренку убили...

Легли мы ровно на пружинах. Слава господу, лежа-то было. А как встали — затянуло в трясину двоих. Сам слышал, как Иванова кобылка на той трясине губилась. Стонет, ровно мычит тихонько, и слыхать было, как кости с натуги хрустели, не вызволилась...

На его глазах братишку австрийцы убили. Сердце в нем кровью засохло... Как зверь стал... Целый день сидит выжидает, чтобы австриец нос показал,— сейчас стрелять, и без промаху. Обед ему принесут, так денщика с ружьем ставит, чтобы и минутки врагу милости не было... И до солдат облютел...

На полке хлеб, в избе пусто. Я хлеб за пазуху — да и драть. Как заорет баба караул, как повыскочат ребята да гвалтовать, как заверезжит собачонок, ну просто аппетиту решился и хлеб бросил.

Он в глаза не глядит, а так неспешно идет. Вижу — сейчас будет меня насмерть убивать. И что делать-то? Коли не он меня, так и у меня ружье на взводе. Тут уж кто кого. Я и выстрелил. Он еще шагов сколько-то на меня — и в землю.

Вот ты это так говоришь, потому что глаз его не видел. Кабы в предсмертные-то глаза глянул — ночью бы чудилось. Я эдак-то, почитай, с полгода как чумной ходил: как глаза на сон заведу, так мой убиенный в глазу да смотрит.

Я с Семеном вдвоем пошли, а барана несем по очереди. Не мешает: живой, а не противится. Но, однако, устали, сели посидеть, не заметили, как уснули. Сплю, слышу — Семен меня тихонько окликает: немцы коло нас... Как не было сна. Сижу, в ночь темную, словно сова, смотрю, ничего не видно. И слыхать ничего не слышно, окромя как со страху в уши ухает... Немного продохнул, слышу: правда немцы... А я еще, как из дому шел, плену пуще смерти зарекался... Кто его знает, как баран наш развязался, да через кусты шварк, да шуму наделал. Со страху-то — словно гром прошел. Уж тут ли тебе скотину жалеть, господи... только как вскочит мой Семен, да за бараном, да за кусты, да сгинул... А немцы за ним, да стрелять, да далече, слышу, гонят... А я драл в другую сторону, бег, бег, на солдат наших к утру дорвался... А Семена так и нету... Горя сколько, семейство... Вот те и баран!

Щемит сердце, да и сон клонит. Слышу, добирается кто-то, трава хрустит. Кто? — спрашиваю. Молчит. Я опять тихонько... Молчит. И так мне страшно стало, как пальнул. Как закричит!.. Тут и наши набежали, искать кинулись. Так только в крови трава, а чья кровь-то, неизвестно. Ушло.

Нету хуже той напасти,
Как служить в пехотной части,
Пешки день-деньской идешь,
Только ляжешь, гложет вошь.
Только вшу почнешь гонять,
По окопу бомбов пять.
Все печенки первернутся,
Тут команды раздадутся:
«Эй, ребяты, не сиди,
На штыки время идти!..»
От царя исподняя,
Зато шкура родная,
Так мне станет жалко шкуры,
Не испортил б враг фигуры,
И фигуру и лицо,
Обручальное кольцо,
Станут ножки что пуды,
А податься некуды...

Осмотрел ее фельдшер. Где достала, говорит, стерва?.. Муж-де приезжал и наградил. Врешь, муж такой беды законной жене своей не сделает... Она плакать. Верно, говорит, меня офицер позвал, приходила чтоб вечером, белье взять. Я пришла, а они трое аж меня до полночи мучили, отпустили и три рубля дали... С той поры и хвораю... Это в *** было, штабные с жиру бесились.

Солнце светит, в бубен бьют, на скрипке играют, а народ бесовски скачет-топочет. Пыль столбом, под ногами ребятишки змеями вьются и псы брешут-заливаются.

Вышли мы рано, еще и туман стоял. И решил я, что последняя то моя дорога будет, убьют беспременно. Идем мерно, кто крестится, кто спину проминает... А разговоров нету, не до них, каждый в омут

ныряет да жизнь вспоминает. Шли, шли, встали, ружья сняли. Ноет тело, ровно мозоль старая. Так бы и вылез из шкуры, до того поизно́сился в походе...

Все мы с ним ругались: сердце до него лежит, а что скажет — все не по мне. Ночью вдвоем решились, четверых сзади оставили. Больше всего боязно, чтобы он, сохрани бог, Георгия первый не получил... И чего это они от нас бежали, верно, целую роту разглядели, а нас двое... Впотьмах и блоха страх... Я двоих взял. А он офицера ихнего привел и крест получил... Теперь я его за счастье очень у́важаю...

Что же, расскажу сказку... Ночью шли лесом, только, как у мерина, селезенка играет — ух да туп, ух да туп. Ни зги не видать, и тихо... Что дальше, встали... Говорят, хорошо бы чайку... Нельзя, увидит. Терплю. Вдруг это меня кто-то за рукав и к сторонке... Я упираюсь, а он тащит, потом к земле пригнул. Я присел, сыро,— пень, что ли, али кочка. А он мне, молчит, и в рот бутылку сует. Я пить смело, а там ром... А выпил, сгинул тот как не было... Подошел я до земляков, а они мне: что это от тебя дух больно хороший?..

Подобрал я его на саше, через ругань какую я его подобрал, сказать трудно! А вез я его в седле 18 верст до дивизии. Так, так я с им подружился, отдавать дитяти не схотел. И товарищи согласны были: псов так и то видим, а тут душа без призору брошена. Ну, начальство досмотрело: оно чувствам нашим не потатчик...

Пшеница что ни колос — то богу слава. Словно трубы архангельские. А по пшенице солдатики убитые лежат, и наши и ихние. Свежие, еще духу нету, больше полем на тебя тянет. А промеж убитых дети бродят потерянные. Баба как бежать надумала, сейчас она грудного на руку, а малого за руку. Малый отобьется и по хлебам потеряется. Все двухлетки да трехлетки. Красивые ребятки у них... А уж до того

напугавшись, что и плакать давно забыли, голос пропал... Словно столбняк у них. Рожа-то в грязи да слезах присохла. А у кого и кровь — побились, что ли... Мыть их да кормить сестры стали. Молчат, ровно куклы какие... Только уж верст через десять отошли, опомнились, что ли, реветь начали... Детям плохо...

Вброд перейти, да сторожко, а то встревожим — перебьет. Полез в реку, как тише стараюсь, а все в темноте-то нет-нет, а щучиной плеснешь. Холодная вода, быстрая, просто несет тебя. Шел-шел, да и ухнул в глыбь, и поплыл в темь. Где берег — не разберу. Через долгое время прибился, вылез — немец на меня. Не туда попал. Поплыл опять. Вылез — немец. Раз пять так-то. Почитай, до свету я утопленником шлялся да немцев смущал. Сколько они патронов схолостили, покуда я к месту своему не прибился.

Я стою — ровно ничего не вижу. Смелее так-то. И он поослаб, ружье тихонько опустил да по опушке и пробирается, будто и не думал про меня. Глаз много силы имеет. Кабы глянул я в те поры на него, быть бы мне на том свете.

Он нам строго приказывал: как увидим бутылку с чем ни на есть, не брать... А уж пить ни боже сохрани... Смотрю — на ходу Осташков зеленую бутылку с земли, оглянулся да в глотку. Голову запрокинул и бутылку Мишке тянет... Мишка взял да ко рту. А Осташков как голову запрокинул, так и свалился на затылок. А Мишка на него брюхом вперед... Я к им, кричу: чего, черти, балуете, нашли время... Подошел, а они аж синие, мертвые...

Я опять до него приступаю: отдай да отдай. Не дает и в глаза смеется: я, мол, сильнее. Не избить, не отнять... Что день — у нас драка, начальство наблюдать стало, особенно меня, что я за им как тень ходил... На что ему кольцо, а мне ровно душу вынули... Целехонькую ночь снится, дни прежние все время в голове. Жить стало невмоготу... Говорю: утеку и муку

приму... Утек, поймали и наказали примерно — ни сесть, ни лечь... Тогда отдал...

Ночи тяжелы. Дух у нас густой, спать — морит — хочешь, а нельзя. Разгонишься храпеть, ан бомбу проглядел. Ну, чисто как хрю разнесет... Что человек, что сопля... Бережешься, до того не спишь, что все в тебе ровно притянуто, дрожат все жилы. Так и сдается, что кровь брызнет...

Вон и эта, и эта девчонка, все это такие. И кто это таких берет, не скажу. Вон той годков девять, не больше... А ну, подь-ка, подь, не бойся... Стыд-то есть?.. Эх ты, тощая... На вот тебе полтину, теперь деньги дешевы... Эх ты, Акулька!.. Бетя? Имя тоже. Вот ты, Бетя, мало ангелу своему молилась, вот тебя, Бетя, и обидели... Иди себе, милая... Война, война...

Словно волк был, волосом зарос, скитался тощий по вражьим местам, и собаки гоняли.

Иду лесом, темно и холодно чего-то, хоть и лето на дворе, и звезды чистые. Иду, пожимаюсь. Собачонка по-за кустом скулит. Я цмокать, слышу, к ногам жмется и скулит. Я ее поймать норовлю, не дается, стерва. Слышу, что махонькая. Я ее ловлю, добра ей хочу — скулит и не дается. Я так, я эдак,— вертится, стерва... Я притаился, да как хвачу ее прикладом, да еще, да еще. И пошел дальше.

Что я детей порченых здесь перевидел. Жиденка одного — так забыть не могу. Почитай, в час один его солдатня кругом осиротила. И матку забили, отца повесили, сестру замучили, надругались. И остался этот, не больше как восьми годков, и с им братишка грудной. Я его было поласковее, хлеба даю и по головенке норовлю погладить. А он взвизгнул, ровно упырь какой, и с тем голосом драла, бежать через что попало. Уж и с глаз сгинул, а долго еще слыхать было, как верезжал по-зверьи, с горя да сиротства...

Скачет козочка, страх в ней играет, над землей несет легче ветру. Он за ней в лес вошел, споткнулся об груду какую-то, упал, встать не в силах... Немец раненый лежит и его за груди держит, не пускает... Сопут, борются... Грызть стал немцу руки, пустил проклятый, только глазами смерти кличет... Винтовку приложил, пальнул, а у того глаза на лоб... А коза ушла, гнаться не стал. Об немца последний заряд разрядил... Обидно охотнику...

Как сбили нас кучей, что больной, что здоровый, стоим — словно прутья в метле. Некуда податься. За мной солдат большущий, дергается что-то. Я ему — земляк, земляк, а он мутным глазом поглядел да на меня как навалится, помер. Вот так шабёр [1]...

Как вошли мы в город — все ничего. Жидова попряталась, и баб не видно. Заришься — все отперто, все твое. Патрулей не делали... Зовут, сказывают: «В патруль наряжаться». Пошли. Три окна, изба деревянная... Криком старуха кричит, нас к ей подошло трое. «Что такое?» — спрашиваем. «Грабят»,— говорит, да так чудно говорит, только что понять можно. «Кто,— говорим,— грабит? Врешь, старая, всюду и всюду патрули ходят»... Идем, а там двое ихних мирных из скрыни [2] одежу дергают... Я одного за загривок, да в сундук, да запирать... Так ему смерти хочу, ровно мою старуху обидел. И не ее жаль, а обидно, что, сукин сын, на своих пошел... А старуха кричит: «То мой сын, то мой сын...» А то на ее дочке женатый, да со своим братаном тещу грабят. Ну и натешились тут... Уж били мы, били, кости целой не оставили. Ах, стерва! А добро из сундука попортили... И не думали того, а попортили... У меня эдак до этой поры вот портабак-то оттуда.

Была тут у меня собачонка удивительная, Шашка — кличка была. Шашкой ей лапу перебили, болталась у ней лапа та, шерсть на ней огнем попален-

[1] Ш а б ё р — сосед *(обл.)*.

[2] С к р ы н я — сундук *(обл.)*.

ная, глаз вытек, боевая была, от хозяина ни на шаг, и спала со мной под шинелью. А как чемодан [1] по соседству разорвало, так и она не вынесла. Как задрала она хвоста остаток, шерстку вздыбила да на трех ногах такого латата задала — по сю пору не видно.

Дал мне приказ — ковры ему купить — и сто рублей денег. Я в село: ковры есть, а отдавать не хотят. Я и деньги давал — не хотят, да и только. Я и скажи: «Не дадите — сейчас детей стрелять буду, за ослушание начальству»... Да мальчонку за ворот... Отдали даром...

Брата убили, а я не знал. Дошел до части, спрашиваю,— убили... Я пошел искать, сказывают — в братской. Я крест сделал, стихи сочинил:

Спи, мой брат старшой,
Здесь я, брат твой меньшой,
От отца и селян
Я с поклоном послан.
Лег в чужом ты краю,
А проснешься в раю...

Сидели, есть хотца. Выбрался без спросу. Округа пустая, жителей повыселили, одни собаки воют. Ни крохи. Вошел я в халупу, на печи стонет. Я поглядел — баба лежит, вся в крови, чуть жива, и младенчик с ей. Только что родила, как мы-то вошли, и четвертые сутки без хлебу, с водою гнилою. Померла, а младенчика жидовка взяла...

Вьюга как у нас на деревне — зги не видать, бьет и рвет. А тут слышно, не все ветер, ревет тяжелая [2], влетит за ветром смертью, свернет-скорежит все вокруг, с тряпьем, с дубьем в землю вобьет, вкрутит, глубже речного дна. И опять ветер, и тяжелое ревет.

---

[1] Здесь: артиллерийский снаряд.
[2] Здесь: тяжелая артиллерия.

Ночью топот, под палатку чей-то конек прибился, пофыркивает. Мы его за холку да в узду. Мадьяром крестили. И такой хороший Мадьяр был, сразу по-русски выучился...

Я за халупкой маленькой на лежанке прилег и заснуть норовлю,— нету сна с устали. Слышу, под лежняком говор тихий, словно бабы шепчутся, а встать невмоготу. Только чую неладное, нагнулся в отдушину глядеть, голос ясный, а слов не пойму, видать — ничего не видно. Тут пошли стрелять по нас, деть себя просто некуда. Ушли за село, а как вернулись, гляжу, нет той халупки, заместо нее яма в земле глыбокая, а в яме ихний с телефоном, весь развороченный...

Ощиплю курицу, кишки прочь и в горшок. Туда все, что есть, положу: и перец, и лист лавровый, и картошки, и макаронов, и консервов — что есть. И в печь. Как в кашу спаяется, тут и ешь с хлебом.

А тут сразу нас под ихние пулеметы угораздило. Совсем не похоже, как я-то боялся... Страху нет, отчаянности столько, просто до греха... Как вышел, так бы сквозь землю провалился... И туды голову, и сюды голову, хоть в... засунь голову, а не уйти... Как лежишь до атаки, так все думаешь, как бы убегти... А вышел — орать до того нужно, кишки сорвешь... Ну уж тут пусть немец не подвертывается... Семь смертей ему наделаю, а взять не позволю... Вот тебе и убег... Все другое...

Смотрю — изба, оттуда шум. Земляки австрийцев палить пристроились, а те, злыдни нечистые, бабу горемычную да ребяток ейных двое в окно кажут. Не стерпело сердце, подскочил бабу с младенчиком в окно выдрал, за другим стал рукою шарить, а они мне за шкуру и залили разрывную... Уж без меня сожгли-то их, обеспамятел. Жалко до смерти...

А слышим, стонут, просятся чего-то, Грязовецкие, спрашивают. Мы говорить-то не можем, не велено, и ничего понять не можем. А лес кругом, не видно... Тут месяц повыкатился, ан это калеки-раненые, кругом ползут и пособить просят... На коня не возьмешь...

А на войну шофером взяли. До машины сызмальства был доходчив, а в Бельгии до автомобилей во как навострился... Как подвез своего до немца, а сбоку кавалеры в касках, да на них, да рубить. ...А Григорий, ей-богу, не вру, который раненый, втащил рукою за ворот, да под ноги себе шварк, да топтать, да топтать, пока не подох... А подох, уж как к себе вернулся со своим-то. Я его, сустревши, спрашиваю, как рассказал, что ж ты — демократ, а сукин сын выходишь, а не демократ... Разве ж тебе то в Бельгии говорили, что немец не человек, что ты его хуже крысы замучил? Так драться полез со стыда...

Взял я штык, осмотрелся, вырыл ямку штыком и запрятал. На другой день доставать стал — нету. Фу-ты, чего такое: у вора вор дубину упер. Вынул кто-то... Слава тебе господи, греха за мной нету, ни грошика не прожил.

Я глаза прикрыл, тем и оборонился. А то быть бы мне до смерти без солнечной радости, без звездных утех.

«Стой,— говорю,— ни ты царю воин, ни я не докладчик. Не та у меня душа. Только жить тебе в этом месте не для ча, такого смердящего военная пуля святая не возьмет. А убить — убью». Плюнул на заряд да и убил шпиёна поганой той пулей.

...И по совести скажу — не грех... Все равно не мы, так другие, хозяев нету. Нет хуже, как дом бросать, а и остаться не сладко... Особливо бабе... Господи, как увидишь бабу — чисто жеребцом ржешь... Тут

плачь не плачь, а только поворачивайся... Как укладали мы в одеяло, жидок наш пришел. «Ребята,— говорит,— нельзя так». А мы молчим... Он еще лопотать, а мы молчки свое... Он осерчал, в крик, ротный зашел. Ему смешно, а нельзя, обязан запретить. Сам хохочет, а вещи бросить велит... Ну и было жиду и от нас, и от ротного... В лазарет ушел...

За что мне Георгия дали? Одно скажу — не за самое страшное. Вон мне страшно было, как я один средь врагов попал. У меня голова дурная, сплю я ровно колода бесчувственная. Вот в перелеске привалился да на тот свет и ухнул, сплю бревном. А проснулся ночью, кругом костры и одна немота проклятая. Ни душеньки русской не слыхать. Что страху принял! Сердце во мне молотом стукало. Сдавалось — на всю округу стучит. И зубы, не хуже как перед ротой, дробь выбивали. Однако к утру ушла погань, ровно туман от света.

Я хоть и обязан был по долгу службы ждать, однако не смог я. Свечерело, быстро в тех местах темень приходит... Не боялся я до тех пор, а тут чего это Василий в голову лезет. Лицо его все у меня в глазах, особенно как зажмурюсь... Просто сил моих не стало. Ружье-то тяжелое, а знаю — он за кустом лежит. И уж не встать же мертвому, а все я будто его на руке чувствую... Надумаю такое, что ни вправо, ни влево не гляжу, боюсь... Вот тебе и на посту... Не знаю, долго ли я так протомился, будто жизнь моя прошла... А тут ясно слышу: из Васильева куста ползет... Господи, я как гаркну: «Кто такой?»... А тот на меня как кинется сзаду — ну нет тех слов, какого я страху нажил... Мне все равно, подтоптал меня, мне уж больше бояться некуда, не хватит... И голосу не стало... А тут мигом наши подошли и немца с меня сняли...

Он ко мне и, заместо чтобы рану искать, давай по карманам шарить. В памороках был, а тут что отлили, злоблюсь, кричать норовлю, а он за глотку... Как шарахну его: сукин ты сын, кричу, а не санитар.

Ты мне рану вяжи, а кошель-то я и без тебя завязать сумею...

На войне дала мне барышня одна конфетку, развернул, свою фамилию читаю — Абрикосов... Словно кто по имени назвал, так обрадовался...

Что казаки баб портят, то правда... Видел, как девчонку лет семи чисто как стерву разодрали. Один... а трое ногами топочут, ржут. Думаю, уж под вторым она мертвенька была, а свое все четверо доказали. Я аж стыдобушкой кричал — не слышат. А стащить не дались, набили...

Эх, ночи тяжкие, вот — спать тебе не приказано, а думы уйдут от устали, стоишь столбом, ждешь свету. Да не самого солнышка, а только чтобы видать было. Тут двинемся, ноги ровно не свои, во рту ржавчина. И сердце не мое, нету тебе ничего впереди.

Там что надо скомандовали, сняли мы сумки да винтовки, все приладили и спать. До того натомились, во сне суставы трубят. А тут как рявкнет, как раскинет нас-то. Так веришь, до того я сном обуян был, одна только думка — убей, да не буди. Ей-богу, куда бросило, там до утра и проспал.

Сели в фильки, он стал тридцать по носу давать. Ась, два, три, досчитал до тридцати да разок и перемахни... Я его и хвать по виску, да до смерти...

Получил он письмо, заперся часа на три. А потом меня зовет: «Иван,— говорит,— прибери халупу!..» А прибрана с утра. Слушаю, мол... Кручусь, с места на место переставляю. Покрутился, ушел... Опять погодя кличет. Сидит с письмом в руке, чудной какой-то... «Иван, прибери халупу!» — говорит... Я опять покрутился, вышел... Погодя опять зовет, за тем же. Что это, думаю, разобрало его? А как вышел я из халупы, он и застрелись...

Ускакал он, кричит: с немцем вернусь. Точно, приволок он немца, до того избитого, просто как мешок через седло-то болтался. И такой разговорчивый немец оказался, лопочет бесперечь, и спрашивать не надо. Только самим-то понять не по силе было, а пока начальство до нашей до халупы пришло, он уж и помер...

Слабеешь от походу этого, от ходьбы целодневной. До того смаешься — сам себе не человек. Ляжешь где пришлось, хоть в навоз головой,— гудут ноги трубою, будто слыхать даже.

Ровно ребятами в зуек играли. И не веришь, что так штык-то войдет, ровно в масло. А назад тащить куда хитрее. Тут вот и звереешь. Тот ревет, руками держит, чтобы не так его разорвало, что ли. А ты штыком круть-верть, вправо-влево, вверх-вниз... Пропадай, мол, все пропадом...

Смотрю я в окно, а со двора к стеклу рожа прилипла: нос расплющенный, глаз раскосый, зеленый, на голове шапища копна, с-под шеи халат во все брюхо пестрыми цветами горит. Ну чистый Мамай. Мое солдатское сердце хвостом овечьим затрепалось, а каково на такую текинскую образину нежной австрийской бабе глядеть.

И у нас много зверья жило, но такой умной собачки не было. Как, бывало, придем, так такая собачка тонкая — по лицу узнает, кому обида была. И прямо до того — и ластится, и ластится. Здорово животное через это страдало: человек в обиде — хуже зверя...

Спросился я — разрешил. Снаряжаюсь, главное, стараюсь, как бы ноги потеплее упрятать. Пошел к вечеру, сперва и шел за горкой, потом темени досидел и ползти почал. Очень я хорошо знаю, где он лежать должен. Вот как бы то место пошло, а нету никого, снег кругом. Занапрасно, думаю, труд принял,

не знайти товарища. Стал было поворачивать, а и задел ногой — человек. Снег сбил, ан это он самый. Ровно вдвое стяжелел, не снесть. Веревку поддел, и поползли назад двое. Безо всякого почтения поволок,— пришлося...

Птицы — вот по ком я здесь скучаю. Я ведь птицелов, охотник... А здесь нету птицы. Попоет птаха недолго и от выстрела охоту к местам этим теряет. Для меня птичья тишина словно гром... Я только к птице и ухо имею...

Сплю я на копенке, слышу — шуршит. Мышь, думаю. Шикнул — не мышь, шуршит непрестанно. Я рукой сунул и гадюку поймал. Как ужалит! Я ее об сапог, а потом из руки себе здоровый кус и выкусил, просто сколько зубами захватил. Поболеть поболело и к вечеру прошло. А то бы помер враз.

Ничего не видно, а слышу — дышит ктой-то. Спрашиваю, кто такой, стрелять, мол, буду... Молчит. Стал было я думать, да некогда. Я и выстрелил...

А она знай трясется. Я ласково так, не бойся, мол, бабушка, я только хлебца возьму, и стал с полки хлеб брать. А старуха как упадет с лавки и померла. Очень уж здесь народ пуганый.

Чего ржете жеребцами? Сами над собой ржете. Кажному вон своя рожа ровно капусты кочан. Бей да руби, только скуснее, сок, мол, пустит. Пес и тот каку гордость, а имеет. Тоже люди, каждого допускают, эх вы...

Вот как случилось, ведет меня да все бьет. Да больно бьет-то. Это, верно, чтобы я силы не собрал противу его. Я терплю, а тут не по чину пришлось, что ли, в зубы ударил. И запала думка — уйти. А уйти, так убить его надо руками голыми. Ровно на

дороге на большой. Повалил я его, он плачет слезами и лопочет. Я рот зажимать — руку целует. Задушил я его. Помню, дня два у меня сердце не живо было, и тошно все, ровно объевшись был. Не забыть николи...

Сидим над водой, покуриваем. Вот по речке что-то до нас прибивается... А темно довольно, разглядеть никак нельзя. Я говорю: «Вася, а не враг ли какой?..» Вскочили, однако, тихо, а груда черная у берега на волне колышется, поплескивает. Я осмелел, лег, рукою достал. Слышу, ровно бы шерсть какая... Руку отдернул — пес, верно, говорю... Спичку зажгли, глядим — Евграф... Господи, голова разбита, весь кровью да водою прошел... Вытащили, закопали тут же, помолились малость и пошли... Вот, разыскал земляков...

Гудит колокол соборный
На чужой на стороне,
А мальчишечка проворный
Пишет к милой ко жене,
Пишет он цидулю
Про вражую пулю,
И про пулю, и про штык,
Про немецкий про язык...
Уж как пуля грудьми ходит,
А штыки по брюхам,
А язык ихний немецкий
Не раскусишь ухом...

III
КАКОВО НАЧАЛЬСТВО БЫЛО

Во пехотном я полку
Ровно снопик на току.
Коли немец не колотит,
Взводный шкуру мне молотит,
Подо мною ножки гнутся,
Все поджилочки трясутся...

Что говорить, и вины его нету. Его как учат? Книжку в лоб, грош в карман, палку в руку. Ходи, брат, под себя, потому — начальство. Чтобы как в окладе блестело, потому — народ на тебя ровно как на икону молиться должен. Он с юности свое место понял, все на нашем же на мужицком горбу.

Вон в той части, где Хряков, так простой, можно сказать, барин, ну мразь: ни силы, ни ума. При нем вестовой вроде как великомученик состоял. Просто сказать — страсти терпел. Тот в картишки игрывал. Так ежевечерно худоносором приходил и тиранил. Пальцем проведет пыль — давай морду! А пока сапоги сымет — искровянит вовсе.

И жаловаться не насмелишься. Ко мне один, невзлюбил, пристал. За малый за пустяк, что хочешь, в невочередь, под винтовку. Да и бивывал, как поблизу подвернешься. Все я, бывало, сторонкою ширяюсь. До того довел, всех боюсь, словно пес шелудивый. Как начальство, так и сдается — пнет! Жил голова меж плеч, чтобы помельче словно.

К нам раз прислали одного, из писарей будто. Задал он форсу. Просто запиявил. Все с бранью, все с боем. А как в сраженье — так на него с... напала. Так за палаткой и просидел. С вестовым — так Суворов, а при деле — так только что с... здоров.

Один говорит, нехорошо, мол, и ответить можно. Так наш-то дантист [1] — нельзя, говорит, иначе ничего не понимают... Темны мы и будто больно жулики. Только под кулаком, мол, и совестимся.

Был портным в Могилеве. Семеро детей. Как попал в казармы, сразу засмеяли, над моей наружностью издевались. Кроме «пархатый», я не слышал обращения. Обещали мне не посылать на передовые позиции, вы сами видите, что я не солдат, я очень слаб. Теперь, вероятно, не выживу, хоть мне и обещал доктор. Но ведь еврею только и жить приходится что обещаниями... Одним словом, я в окопах больше френчи господам офицерам шил... И в самом деле, как я могу атаковать со своим видом?.. Я шил господину ротному, приходит поручик и говорит: «Мне стыдно будет умереть в рваной гимнастерке, почини, Мойша,

[1] Здесь: человек, применяющий кулачную расправу.

пожалуйста»... Это самый вежливый офицер. Я взял, не в силах был отказать, так меня это «пожалуйста» растрогало, до слез... Шью и дом вспомнил... В это время, на мое еврейское счастье, подходит господин ротный... И меня сильно побил, и велел на бруствер выставить на пять минут... Что я буду рассказывать?.. За это Георгия не дают.

Думаю — объявить аль нет?.. Хочется объявить, больно не по закону говорит. Не то что начальство хает, а просто до царя добирался... И хорошо объявить-то было бы, ротный трешню дать должен, да и кто пониже уважать бы стали. А кто пониже, тот до нас поближе... А не объявил... Листков я не брал противу присяги, зато слушал я, до греха... Горазд рассказывать был... И спроси, чего зажалел, сказать не могу, а не объявил вот...

А носить-то чуть не пять верст, грязь густая, рытвины, из калюжи в калюжину [1]. Чисто всю дорогу кувырком идешь. А тут расплескать ни-ни, да еще чтобы горячее все, с пару. Ныряю, бывало, свои-то версты, а в думке одно: сейчас иссинячит.

Стали тот камень сдвигать, просто пальца не подсунуть. Ну кой-как осилили, а под камнем могила, в могиле вещи всякие и человек, видом воин. Вот ведь мертв, тысячу лет лежит, одни кости и геройское снаряжение, а грозен так — подойти боишься. А теперешний-то герой на себя что хошь нацепит, мяса нажрет пуды и морды бьет, а перед тем, схороненным, словно вша перед соколом.

Принял я яблочко, а сам свое думаю, как бы не понравиться... А барчук спрашивает: «Ты няня моя будешь?..» А я знай зверем смотрю, и так мне за это перед дитятей стыдно, а что поделаешь. Я и денщик-то не больно ловкий, в горнице-то я что шмель в стакане, а уж при дитяти так, кроме мордобоя, никакой мне и цены не будет.

---

[1] Калюжа, калюжина — лужа *(обл.)*.

Один другому говорит: тот, говорит, не человек, который Пушкина да еще там каких-то не читывал... Ты подумай, чего такое загнул, а?.. Да никто их, почитай, не читывал, а неужли мы не люди?.. Вот он и читал, а ничего в ём путного нету... Хилый телом, и душа хилая. Боится, на себя и на людей злобится... Не человек, а сопля, вот те и Пушкин!.. А промеж нас чистые богатыри есть... Забыть его не могу, изобидел так...

Что ему ни скажи — он все тебе в морду... За «точно так» и то — в зубы... Ну сил моих не стало, а пожалиться нельзя, не принимают жалоб на господ офицеров... А какой он господин!.. У свиньи под хвостом — вот где ему господствовать. Был на заводе при конторе писарем и сам себе все справлял. А теперь до человека добрался, и не то что полковник, а и генерал так драться не станет.

А я бы не смог так жить. Деть мне себя некуда. У них жизнь тесная. Вон у меня все за душою остается, а наружу — только что плюнуть... да слово крепкое пустить охота. А у них все наружу, а душа гнилая. Не по плечу они мне...

Начальство, и большее и меньшее, в карты дулось. А мы болты болтали. И очень я без грозного призору да без окрику понаторел и поумнел тогда.

У нас офицер — ни тебе учен, ни тебе умен, а словно индюк выхаживает. Зато до дела — ни пальчиком. Ждем, как его бой испытает. А думать надо — не быть клушке соколом.

После того как будто лучше стало, добреть почал и больше-то не бил. Да только толку с того мало: трех зубов нету, барабан в ухе пробился, не слышно, почитай, ничего. В голове зудит да болит круглые сутки...

Нет мне на войне житья! И страшусь-то я, и каюсь-то я. И все-то мне грехом выходит. Коли не покорюсь — грех, а покорюсь — так уж таких грехов наприказывают, хоть и не помирай после.

Сунул мне в зубы трубу, аж кровь пошла,— дуй, говорит. Эдак три недели мучил. Есть я перестал. Стал у меня рот ровно луженый. Кровью стал плевать. Все по зубам тычет, как ошибусь. Под эдакую музыку не запляшешь...

Ты признайся, генерал,
Как войну ты воевал?
— Как, бывало, я вскочу,
Умываться захочу,
Трут меня душистым мылом,
А я им рукою в рыло.
Тут чесать да одевать,
А я матерно ругать.
Чаю-кофию напьюсь
Да на койку завалюсь.
А от немцева орудья
Оченно болел я грудью,
А от пушечного звука
Засвербило мое ухо.
Мне коляску подают,
В лазарет меня везут.
Как-то раз меня везли,
Да, знать, плохо берегли,
А немецкий ероплан
Мне на голову наклал,
Мне на голову наклал,
Я на небо и попал...
— Убирайся ты к чертям,
Ты не воин, чисто срам,
Для такого на том свете
Не найдется лазарета.
Осерчал тут генерал,
Задираться с богом стал:
— У меня красна подкладка,
У меня своя палатка,
У меня жена вся в бантах,
А тужурка в аксельбантах,
Как на мой на каждый палец
Есть хороший ординарец,
Как на кажный башмачок,
Есть особый денщичок.

Купил я тут швейную машину за на-кулак поглядение да за ту же цену взводному уступил. А теперь на той на машинке командирова жена строчит.

Нет у меня в душе добра против богатых. Больно-то богатых я и не видел, однако, думаю, еще хуже... Ему бедный что дурень, что прямо злодей. Брюхо не нажил, значит, плохо жил... Много им дадено, а народ самый вредный... И богач на одной ж... сидит, а такой гордый, словно две под им...

Я перед большим-то начальством робость имею. Стоит такой перед тобой, и знаешь, что тебе до него что до бога. Только что со всеми вместе услышит. Где уж ему до тебя, до Ивана! Подавай ему паству целую...

Слышу я — звякнуло под ногой; я шарить, кошель нашарил. Так чего-то я испугался — сердце стучит. Я — к свету, а там золотые, и не сосчитать сразу, ну за сто, да и только. Так вспотел я даже, ничего не придумаю. И схоронить страшно, и выпустить жаль, а чьи — не знаю. Да недолго тех моих мук было. Подошел взводный, дал в ухо на всю сумму и забрал.

Сидит и на счетах щелкает, да ловко так, что баба языком. Стою я жду, а он щелкает. И так я долго ждал, что ноги замлели. Самому жрать неча, а за чужими счетами родного человека на ногах заморил. Холуй чистый!

Уж попомнит меня, как я-то в силу войду. Я ему все его прыщи выровняю лучше всякой мази французской, да и прической тоже призаймусь. Так прифарфорю — сами сестрицы сбегутся, любую выбирай.

Стою я час, другой, устал до того, что ног не чую. А он, как ни пройдет, все ругает да кулаком выправку поправляет. Потом-то, к четвертому часу, просто

память потерял, а все на ногах. Тут не упадешь. Только страх и держит, а силы никакой...

Смешно мне, братцы, как господа нас понимают. Коли он к тебе не с обидой, так словно к дитяти малому, только что гулюшки не гулюкает, аж тошно станет.

Представлял он очень хорошо и казался умней прочих простых людей. А когда до дела дойдет — ни с места. Все расскажет, все придумает, и песню, и сказку хорошо складывать мог. А жил только чужим горбом. Такой, может, где в городу и приспособился бы. Там и лень что рабочий день. А деревня — она тебя за руки держит. Коли рук-то нет, не прокормишься...

Ну и был денек... Пришли, стали, ждем, идет, лопочет-бурчит, потом стал морду бить. А я не знаю, за что. Ну, терплю. Бил, бил, да потом задержался, дал время. Я его и ахнул до беспамяти.

Надо мной чего ругаться,
Я царев, без голоса,
А ты дай домой добраться,
Не отдам ни волоса.
  Сиди чисти голенище
  Да кури до неба,
  Ты на... сядешь нищий,
  Как не дам я хлеба.
А ни хлеба, а ни льну,
Никакой скотинки,
Пропадай ты, баринок,
Хуже сиротинки.
  Мужик силу свою знает,
  Дома работище,
  На войне он славный воин,
  На деревне чище.

Сдается мне, потому простой народ глуп, что думать ему некогда. Кабы был час подумать хорошенько, все бы он понял не хуже господ. А душа в простом светлая, и кровь в ем свежая. Пожалуй, что и лучше господ все бы разъяснил, кабы часочек нашелся...

Нет хуже для войны интеллигентного солдата. Душу вымотаешь, глядя, жалея... А потом так злобишься, что хуже немца зла ему хочешь... Мне тяжело, а знаешь, что чего-то ему тяжче... А чего?.. Значит, жизнь жил другую, лучше понимал... А тут лбом в стену... и так жаль, а потом как над собакой ругаешься... Не барствуй...

Стал я ему корзину перебирать, и чего-чего только там не было. И все, почитай, пустячки, только место берет. Ну, особенно смешной там был ларчик кожаный, полон дряни всякой. Дряни в том ларце на целый бабий полк хватило бы, и вся та дрянь для двух его белых ручек геройских поналожена была.

Мому милая писала
Про любовь про ейную,
На нем морда така стала,
Словно бы елейная.
Мово хлебом не корми,
А письмишко подавай,
Станет светлый, словно образ,
Хоть на стену набивай.

У нас вольноопределяющий хорошо рисует. Ну все, что увидит, так тебе похоже изобразит. Ровно все тебе вдвойне, одно и то же... Аж скушно станет...

Кабы моя воля — сейчас бы я всех, кто побарственнее, скрутил, все бы ихнее поприпрятал до поры и выпустил бы их, таких-то, на всю судьбу. Учись-ка сам на себя жить, свое строить, без нашей подмоги. А потом, как они обтерпятся, я бы им добро ихнее вернул. На что оно мне, только будь ты человеком как след, а не только что руки холить.

Велит, что нощно, ему баб водить. Баба плачет, не до того ей... Ни избы, ни хлеба — земля да небо... А тут офицеру пузо грей... Да еще напьется, всю срамоту на людях старается производить... Смотрите, мол, как я до бабы здоров... Вот уж здоров как боров, а и глуп что пуп...

Сколько это милиен, не могу умом понять. А коли за рупь у взводного совесть купить можно, так уж за милиен-то много, чай, душ соблазнить легко... Силища.

Сижу я тихо, а он, вижу, все до меня добирается, кого спросит, а все мне кричит: «Ты, сукин сын, слушай да на ус мотай, а то я в зубы тебе всю словесность кулаком всажу»... С этого его слова душа у меня обомлеет и ум за разум зайдет. Как до меня дойдет дело, не то что по науке чего, а имя-то свое крестное забуду, бывало...

Со своим братом я слов сколько надобно имею. А тут немой... И не стыжусь, а все боюсь, что не так услышат. Не понимают они простого человека...

Пошел я, стыдно мне, знаю, что к своим за тем не пойти бы. Зашел, и девка та сидит. Глядит льстиво, знает — зачем. Я и вижу, что гулящая, да не мое солдатское это дело по начальству бабу водить. Постоял, посмотрел, помолчал да и ушел. А он мне за то опосля много гадил...

За горой, за горкой
Баринок гуляет.
А я ножик заточил,
Он того не знает.

Снится мне, бывало, что все стало по-иному. Господа будто нам покорны, а мы владеем ихним всем добром и силою. Ну уж и измываюсь я над ними будто. Откуда что берется. Наяву бы николи такого не придумал. Наяву-то зла такого не вытерпеть. Допекли, значит.

Нет хуже немецкого офицера. Вот это так собака, куды наш! Мне ихний раненый рассказывал: не видит просто тебя, ну ровно ты и не на свете совсем... Наш-то хоть за собаку тебя почитает, все легче...

Того не скажи, того не сделай, все не так, все не по нем... Я у него раб без души... Он со мной хуже господа бога поступить может...

Посмотрел я, как господа чудесно живут. На чугунке им что в раю. Диван мягкий, и постелю дают. Ноги вытянул — каждый генерал. Чистота, светло завсегда, и никто псом лютым на человека не брешет...

За мои грехи-убийства
Начальство ответит,
Что умру, что отличуся,
Все крестом отметит.

Здесь опять эти зауряды самые... Обида и мне, и всему воинству. Свинаря замест царя.

Я этого не смог перетерпеть. Что я, мальчишка, что ли, чтобы меня бить? Пришел и доложил, а заместо правды меня в карцер да опять бить. А вернулся — так издевались... Просто до чего плохо жилось... Здесь же я все прощаю, все вместе мучимся.

Истинная правда, товарищ, что терпеть скоро нельзя станет. Теперь тебя «эй» кличут, а скоро по-собачьему на свист идти прикажут. Дал я себе зарок — до малого сроку дотерпеть. А не будет перемены, начну, братцы, по-умному бунтовать. Есть у меня человечек один, обучит.

Отец ли мне командир — того и шепотом не скажешь... Отечеству ли они сыны верные — того и во сне подумать не смей... А уж для ча они себя учили да на нашем горбу барствовали — того и на смертном одре не признаешься...

Не обрался я беды,
Как попал я вот сюды.
Не пришелся я по нраву,
Никогда не буду правый.

Нету хуже взводного,
Для кого невгодного,
Все ругается, да бьет,
Да со свету сживет.
По окопу немец шкварит,
По сусалам взводный жарит,
Не житье, а чисто ад,
Я домой удрать бы рад.
А домой не удерешь,
Дезертиром пропадешь.

IV
КАКИЕ БЫЛИ ТОВАРИЩИ

Такая от друга радость да веселье. Гнешь, бывало, на работе спину, жилы из себя тянешь, а как вспомнишь — вот вечерок-то с товарищем степлю — и так-то ладно станет, никакая каторга не отягчит.

Я как стал средь войны жить, так и стала мне война что дом мой, а солдаты уж таки товарищи — при самой смерти вместе. Дома-то один я, хоть и семья кругом.

Да, был и у меня дружок, Саватьев, постарше меня малость да и поумнее будто. Любил я его, как душу свою али больше. И стал он на литейном своем деле кровью заливаться, кашлять. На глазах стаял. Схоронил я его — решился просто радости всякой. Года два от улыбки мне больно было, а смеяться так и по сие время не очень наловчился.

На паровозе пристроился я очень даже хорошо. Товарищи у меня лихие были ребята: и погулять, и поработать — всё умели. И дружбу водить умели, до самого сокровенного умели дружбу держать. Эти за кость не перегрызутся, нет...

Подобрал я его сам, на шинелишку австрийскую положил да за рукава в околодок тащу. На руках не осилить, он противу меня что слон был... Стонет

он и слова говорит. Я скрозь горя не слышу хорошо-то, а оглянуться на него — жаль до смерти... Кровища из него рекой шла... Мертвым дотащил.

До чего я теперь веселых люблю! Все такому отдать бы рад, последнее. Уж больно в лихолетье младость тратим... Тут только веселый товарищ и подкрепит ровно винцо...

Повели меж собой, берег крутенький, тропа узкая да склизкая. А он изловчился, Петряю буца в пузо — тот в ручеек и ухнул. Меня ногою пнул да бежать. Опомнился я, стрелять хочу, а тут Петряй вопит. Вода-то холодная да быстрая. Верно сукин сын рассчитал. Русский скорее сто немцев спустит, а уж товарища в беде не кинет...

Чем я его перевяжу — нет ничего... Я с себя сорочку срывать стал. Только спину заголил да через голову тащу, как хватит меня по голому-то заду... Чисто пороть задумали. Ну, уж тут я скоренько его завязал да с им в околодок и пошел... Вот жгло зад-то: не заголяйся на людях...

Чтобы понял я, как жить,— не меня одного учить надобно. Не прощу я, выучившись, что деды-отцы в беде темной сидели... Коль я своих русских жалею и кровью к им теку, так на свет один идти не согласен, не совращай.

Очень интересно по вечерам было, до сна. Еще говорили промеж себя до запрету. Чего-чего не переберем — с бога начнешь, а бабой кончишь... А дома не с кем слова перемолвить. Наработался, лег — и на тот свет. Не с женой же рассуждать.

Он такие занятные истории рассказывал, рота до того смеялась, горе с им забывали... Да так его лю-

били, все жалели, ровно ребенка своего... А умирал, так, Иван сказывал, передать велел землякам, нам, значит: пусть, говорит, помнят: что смешно, то не грешно. Пускай земляки меня за смехом поминают... Смерть мне словно жена, только ее мне и не хватало...

И все-то чудо от хороших товарищей. Запер староста приятеля за яблочки в каталажку. Я ему гриб в окно. Он сейчас тот гриб разломил, ножик из гриба вынул, замок сковырнул да и драла. А кабы не чудесный гриб, сидел бы он трое суток.

Здесь у меня друзья-товарищи завелись. Дома не бывало. Баба да ребятки. Сердцем за них болеешь, а говорить нечего... А тут я умнеть стал, человека понимать выучился и на подвиг пойти готов. Брюхо больно дома тягчит жизнь нашу...

И я на себе вынес вон этого. Халявкину-то ведь восемнадцатый годок, чай, жизнь-то в нем крепкая. Вот я и зажалел... И парень ведь тихий, а как нес, так меня усовещивал, да все матерно... Вот сукин сын, ну да ладно, мамке на тебя уж нажалуюсь, она тебе штаны-то сымет...

Ах, и весело мы тогда жили! Было нас в артели двенадцать молодых ребят. И так-то мы дружили, до того все у нас вместе было — и труды и забавы,— что в каждом за двенадцатеро душа выростала.

Молчальником мы его звали. Лицо у него девичье, а сила в руках была ровно у богатыря старого. Оглобли ломал, обиды ж не чинил никому. Так вот, видел я, что жизнь-то наша бестолковая да небережливая из того молчальника понаделала. Угнали его за беспорядки. Спился, лицом страшен стал, силушка из рук-то в дрожь перешла, и молчанье свое на последнюю на матерщину сменил...

V
КАК ПЕРЕНОСИЛИ БОЛЕЗНИ И РАНЫ

Я не могу сказать, что это страшно... Когда ранили, весь свет позабыл, лежу кричу, стыда нет... И не то что очень больно, а мысли такие, что ты на всем свете один теперь и все, значит, можно... Лежу кричу, а потом «мама» зову... Вот и все... Тут подобрали, рана легкая оказалась...

Сорвался я с пригорка, сажени две пролетел — и мешком оземь. Свету невзвидел, кость во мне покрошилась и наружу полезла. Рвет мясо живое, ровно я на зубы попал. И кровь-то не льется, а таково тихо проступает, огнем да мукою путь свой торит...

Лежу я и вижу — каска. Я за ней тянусь, ан и правая рука не целая, саднит. Однако дотянул. Тут санитары надошли, говорят, нечего каску брать. Так я в слезы, ей-богу! Вот смеху-то...

Загудело грому страшнее, обвалилась на нас земля... Сразу-то ничего не понять, дух пропал... А как пришел в разум, смерти тяжче — живой в могиле... Песок во рту, в носу, дышать нечем... Опять обеспамятел... Откопали вот, весь поломан, и чуб сивый...

Спроси ты меня, мог ли бы я без глаз жить, и не знаю. Вот все жду, что зрячим стану. Светится мне теперь солнышко — мрежит ровно в щелку. А прежде-то ничего не видел, и были мне глаза только для слез надобны. Круглые сутки плакал, смерти просил...

Холера, скажу тебе, это так болезнь! Настоящая. Боль в тебе такая, словно ножом режет, нутро вывернет, соки все из тебя повыкачает. И станешь ты сухой да пустой. Тут загнет тебя в корчу, и силы не станет. Кровь схолодится. Греть тебя станут да воду за шкуру заливать.

Его скоро подстрелили. Особенно падал он, умирать как стал. Сперва на лицо, а потом подскочил и на спину лег... И чего это все такое помнишь?.. А мой братишка так та́к умер. Уж много пробег, а тут одна пуля ему в руку — он дальше, другая ему в плечо — он дальше, а тут уж хлобыстнуло его пулеметом по ногам. Упал...

Я к нему подвигаюсь, а тут пули, а тут бомбы — не дается... Я к нему — он дале, я к нему — он дале, такой конь клятый! Ка-ак выскочит ихний офицер да на меня секачом своим как вдарит!.. Я — в землю. Тут конь и стал.

Закричал я благим матом, пополз. Ползу и чую: теряю я ногу свою и с сапогом совсем. Кровища из меня хлещет, а с кровью и дух вон. Как подобрали, не помню.

У меня нога вся в чирьях, горит огнем, а он говорит: «Симулянт»... Какой я симулянт, смерти прошу... Где мне окопы копать, портянка чистая — что гиря пудовая. А песок попадет — что в пекле, му́ки такие...

Остался я, забыли, что ли. Сторожу... День живу, сухари ем. Второй день не стало сухарей. На третий — так голодно стало... Пошел искать, нашел гриб. Воду в жестянке закипятил, с грибом съел — все вырвало. Что делать? За мной не идут... К вечеру хоть помирать впору, живот болит, корчит, рвет... Холера напала, пришли и в барак взяли... Вот те и вся моя служба была...

Нигде я такого жасмину не видал: не куст — дерево... Дух сердце держит... В такую рощу жасминную нас и поставили. Легли, дохну́ть тяжко от жасмину... В голове ровно старая бабка сказку сказывает. Верных мыслей нет, ни скуки, ни страху,— сказка, да и только... Однако скоро сказка та покончилась... Ударило по самому жасмину, перестало чудиться, как Степняков благим

матом ноги жалеть стал: обоих лишился... Я вон в той же сказке глаз проглядел... Лиха бабка пусть ему сказку сказывает...

Денщику подвиг один: заря в оконце, сапоги что солнце. А я ошибся малость, пожалел, что горячего он долго не ел, да и пошел с кастрюлею, а меня по ногам пулею...

Исстрадался я очень. Как принесли меня, раздели дочиста, на стол положили и стали вежливенько коло раны мыть — свету невзвидел, лучше бы на поле сдох... А кричать совещусь до того, скорее память потеряю, а не крикну, так чего-то совестно... Тут надели мне намордник и считать приказали. До десяти насчитал, а в ушах словно фортопьяны играют. На одиннадцатом как в воду ухнул, на тот свет... Прокинулся, кроме что боли страшусь, ничего в уме не имею... А как опомнился, ан они меня на целый на аршин окорнали... Изукрасили.

Я не все помню хорошо. Кровь шла, болело здорово, да сладко таково тянет. И все как за туманом виделось. А проснулся уж ночью, больно не очень, только чую — смерть моя близка. Так ведь что жалеть стал! Сундучишко все свой солдатский вспоминаю и более всего за него беспокоюсь. А дома да семейства как не было...

Вчера я в чем мать родила выскочил из палатки. Звезды сияют. Тихо. Поверить нельзя, что война на свете. Чисто тебе ночь под праздник... Что это, думаю, не похоже, что мирно все?.. Не то что птицы никакой не шелохнет нигде, не то на душе, не по-мирному... Жду несчастья... Тут и застукали пулеметы, и ружья затрещали, и пошла ночь в котле кипеть... Вот и меня ранили, я еще тепленький, свежий...

Обмок, отяжелел, паром прошел, ровно туча стал. А как ночь пришла, морозец махонький прихватил, ног я и лишился. Нету подо мною ног: гудут, а служить

не служат. Разулся, глянул, а они ровно радуга. Обмерзли, калека я теперь...

Эдак-то думать, так и не страшно. А я так все думки забываю. Вот как-то до трех считать почал. Кругом пекло чистое, а я все раз-два-три да раз-два-три... И на носилках несли, так все считал.

Сидели тихонько, притаились. И там тихо. А потом крик да стреляют. Кто почал, и не знаю. Вот и ранили. Полз долго, крови много ушло. И больше-то ни на что не решусь, ни в жизнь. Скушно как-то стало, а не то что страх...

Эх, ранят, ну больно, ну перенес, и жив... Ешь, пьешь в свою меру, с людьми говоришь, сам человек... А вот за газы немца много надо перебить... Нет хуже газов — корчит тебя, болен так, что и души уж нет... Радости никакой ни на часочек. Чего хуже...

Что я тебе скажу: уж и рад, что меня изранили... Вот полежу, в Россию сестра обещала хлопотать, к жене, ребятам... Трое... Работничать не буду, а около хозяйства и на одной доскачусь, все лучше бабы...

Раз зажарил, рраз еще — я маленько испугался, а не верю, что в меня. Копаю, рою, команды не слышу. Потом рраз — шарахнуло рядышком. Меня как кто за шиворот взял, над землею поднял да оземь шварк... Подняли — синий, как удавленник. Контузия: ни рук, ни ног не соберу, весь дрожу дрожмя, а в ушах — что под водой.

Обнял я его, сердечного, а он стонет. Чтобы не вопить, губы себе прикусил, сквозь нос гудит-стонет... А я сам обескровел, слаб. Тащу все его, потише стараюсь, кто его знает, что кругом, не помнится ничего. Так мы с им до свету ползли, ух, устал как! Кровь сперва сильно шла, потом перестала... Дышать больно... Как

воду какую найду — пью-лакаю... И он обесчувствел. Легли, уж солнце высоко стояло. Лежим, четыре куста, река видна какая-то, поляна кругом, а за речкой лес молоденький, мирно... Та-та-та, слышим кони идут, останавливаются, да по нас как пальнут... Ту же ногу второй раз попортили да и сгинули...

Разбило все лицо, глаз вытек, память пропала. Перевязали, уж тогда в себя пришел. Да сразу за повязку — хвать! Как закричу: «Где глаза мои, где глаза мои!»... Не пойму, кто винен, а до того ненавижу и до того темно да больно — смерти прошу...

У нас четверо рассудку лишились на войне. Думаю, со страху больше. Один на себя виденье все ждет. Видит виденье, баб каких-то. Много плачут и всё его ищут... Мертвый он будто. Он кричит, что здесь, мол, я, а они не признают и с молитвой по полю бродят. И плачут, а он тоскою сохнет...

Милые вы мои, света я невзвидел. Нету тех слов, не вместить слову всей болезни. Оторвало от меня кус большой. Чую: до самого краю боль подошла, дальше-то и принять той боли нечем, не по силе человеку. Только тем мы и спасаемся, что паморок...

VI

КАК О «ВРАГАХ» ГОВОРИЛИ

Убивал я немцев много,
А врага не знаю.
По показанной дороге
С ружьецом гуляю.

По совести сказать, не вижу я врага ни в каком человеке. Ну что мне немец, коли он меня ничем не обидел? А знаю я, что не солдатское это дело так рассуждать. Войну воюем, так уж тут нечего сыропиться. Только с чего эта война, не пойму. И придумалось такое: вот послало его ихнее начальство, вроде как нас. Ото

всего оторвали, где жена, где изба, где и матушка родна; что мы, что они — оба без вины. А ему и еще тяжче: говорят, хорошо у них в домах. Как кинешь?

Я к оконцу: стук-стук... Баба отперла, робкая бабенка, дрожит, молчит. Я хлеба прошу. На стенке шкап, оттуда хлеба да сыру достала и вино стала на машинке греть. Ем, аж за ушами трещит. Думаю, нет такой силы, чтобы меня с того места выманить... Опять в оконце: стук-стук. Баба, ровно и мне, отперла. Гляжу, австриец в избу ввалился... Смотрим друг на дружку, кусок у меня поперек, хоть рвать впору... Что делать, не знаем... Сел, хлеб взял и сыру. Жрет, так убирает, не хуже меня. Вино бабенка подала горячее да две чашки. И стали мы пить ровно шабры какие. Попили, поели, легли на лавке голова к голове. Утром разошлись. Некому приказывать было.

Я прошел вперед, не заметил, как отделился... Подходит немец, да вот так и подходит, мерным шагом... А я и забыл, что бить нужно, встал, жду... Очень важно идет... Подошел, взял меня за грудь и на себя зачем-то тянет... Оба мы одурели... Тут я, как почуял железо на его груди, холодное что-то, так первый в себя пришел и кулаками его обоими промеж глаз. Он сел, а я тогда винтовку поднял да его прикладом по тому же месту... Лица не видно, что крови... А что делать дальше, не знаю. Вот не знаю, что делать, коль ребят своих кругом нет. Не стоять же коло него!.. Каску с него подобрал, свалилась, да назад... Свою часть уж не нашел. Вот тебе и подвиг...

А как немец кофий пьет
С сахаром внакладку,
У него война идет
Ровно бы впрохладку.
Как окопы с оконцем,
А в стене картина,
Как постеля с матрацом,
Не натрудишь спину.

Смешно немцы говорят — гав, гав. Хуже нашего. А народ умный, грамотный. Хоть пьют, однако без

буйства. Только сердцем противу русского — ку-уды! Не отходчивы. Нашему немец башку проломит — так и то дружок; а у него мизинчик сыми, три дня потом привыкает — никак не простит. Обидчив.

У него ружье что пушка,
У нас пушка что хлопушка.
Ероплан у них не дóстать,
У нас — курка мокрохвоста.
Как галета ихня — мед,
С нашей — круглы сутки рвет.
У них баня хороша,
А нас сутки гложет вша.
Их начальник что картина,
Наш дерется как скотина.
Для них музыка играет,
А нас матерно ругают.
Немцу взводный ручку жмет,
А нам взводный морды бьет...

Я с какой угодно нацией разговорюсь. Я ему головой — «здравствуй», значит. Ну и руку. Ладно, знакомы. А после ему хлеба в руку, папироску в зубы. За руку возьму — рядком посажу. Тут дружба, тут всякий разговор. А все равно, что немец, что француз.

А у нас теперь все немца хвалят. По-нашему теперь, что немец, что ученый мудрец — все едино... А все с того началось, что сами больно глупы оказались... Вот уж верно, что — молодец посередь овец, а противу молодца — сам овца...

Немецкий царь до нас рать свою спосылать задумал. Собрал старого да малого, глупого да бывалого, хилого да здравого, робкого да бравого: «Идите, люди немецкие, на Русь великую; воюйте, люди немецкие, вы землю русскую; испейте, люди немецкие, вы кровь горячую; умойтесь, люди немецкие, слезами бабьими; кормитесь, люди немецкие, хлебами трудными; оденьтесь, люди немецкие, мехами теплыми; согрейтесь, люди немецкие, лесами темными».

Прицелился, пальнул, он — в землю, я к нему — не дышит. Я к ему в кобуру, за револьвертом, а там

папиросы... Так верите, братцы, словно зверя ухватил, словно ожгло меня — до того жаль немца стало.

Люди — очень с лица несвойские. На голове шерсть растет, нос шлепкой, губы титьками, кожей как грех черны, и только зубы светятся.

Когда первый раз сюда пришли, нехорошо обитатели нас держали. В уме своем еще не поняли того, что русские сильнее, недодумались. Я на постое тихо-мирно у семейства жил и все старательно исполнял, чтобы никого не обидеть. И воду им таскал, и ребят нянчил. Однако волками смотрят... А второй раз — так просто смеются в глаза. Да и я уж не такой стал... С дочкой старшей любовь силком закрутил... Муж-то ее на войне, сама красивая... И очень меня потом ласкала охотно, я тогда здоровый был... Постоял, насмутьянил, детей до крови выпорол и уехал... А в третий — так ноги лижут... Знает кошка, чье сало съела... Ну да я их теперь прямо-таки презираю...

Я в его целюсь, не знаю кто, а сильно желаю, чтобы немец был. Целюсь с сучка, долго примерялся и выстрелил очень успешно... Повалился — не пикнул, и немец оказался... Здоровый как бык...

Я ненавижу врага до того, что по ночам снится. Снится мне, что лежу будто я на немце, здоровый, черт, и убить не дается. Я до штыка — он за руку. Я до глотки — он за другую. Не одужить, да и только! Я ему в глаза пальцами лезу, глаз продавил да дырку к мозгам ищу... Нашел да давить... А сам всей кровью рад, аж зубы стучат...

Итальянец плохой солдат. Ты только посуди, чего ему воевать?.. Солнце круглый год греет, плоды всякие круглый год зреют, руку протянул — апельсин... Работать не надо, земля сама родит, все есть, чего ему воевать?.. А немцы голодом живут, у них все машина, а машиной сыт не будешь... Вот и рвут что есть

силы... А мы народ мирный, нам только обиды не делай, мы себя прокормим... Чужого не надо...

Очень хорошо с немцами говорить, образованный народ. Одно тяжеленько, что по-русски не маракуют. Да про настоящее все понять у друг дружки можно.

Именья у меня с войны немного. Грабить не грабил, а что деньги чужие есть, так то дадены жидовкой: заступился. Я приглядываюсь, а они старого жида в пейсах — столетний жид, сухой, пейсатый, на ногах чулки белые, а волос аж дожелта седой,— так земляки его нагайками через изгородь скакать заставляют. Я до них: «Бога не боитесь, старый жид-то, грех какой...» Они пустили, а жидовка мне лопочет да деньги сует. Я взял. Десять крон.

За стеной тихо сперва было, и мы с Семеном притаились. Кто его знает: свой али вра́г? Только вдруг слышим: ой да ой! Ох да ох! Я и пытаю Семена: «Помирает ктой-то, верно, помочь, что ли?» А Семен мне: «Нишкни, пропадем». А тот все ахахаханьки да охохошеньки. Я и говорю: «Душа,— говорю,— не терпит, так помочь хочу, да и больно по-нашему ахает, по-русски». Пошел, а там немец здоровый, брошенный, животом мается. Я его тер, тер, покуда не оттер. Отошел, с нами не пошел, стал своих дожидаться. А нас так очень благодарил, как мы с Семеном уходили к свету.

Я ему руки держу, и грудью навалился, и ногами его ноги загреб. И так мне несподручно, так времени мало, дышать неколи, и одна дума: жаль до смерти, что рук-то у меня только две. По-старому слажены, а на немца той старины не хватит...

У немца башка ровно завод хороший: смажь маслицем да и работай на славу без помехи. А мы что?.. Перво-наперво биты много. Вон мне и по сей день, кроме побоев, ничего не снится. Учить не учат, бьют да мучат...

Сидит и не смотрит, волк волком. Я ему миску подставляю. «Ешь!» — говорю. Не глядит и головой закрутил. А знаю, что как пес голодный... К вечеру голову свесил, а от пищи носом крутит... Насильно потом кормить стали, нос зажмем да и зальем чего-нито. Сперва реветь пошел, ревет и ревет. А к утру сам запросил и здорово жрать начал. Как приобык, сказывал, что смерти от русских ждал, а добра никакого...

Связал я ему руки, а когда до леску дошли, я его поясом за ноги спутал что коня. Говорю: «Садись, отдыхать станем». Он сел, я ему сейчас папироску в зубы. Усмехнулся, а сам аж синий... Спрошу: «Офицер?» — головою кив; спрошу: «Солдат?» — головою кив... Не пойму, курю и в думке прикидываю, как бы познатнее представить, чтобы наградили... Выкурил. «Вставай,— говорю,— пойдем». Молчит... Я опять сурово, он молчит... Смотрю, усмехается, и папироска в зубах потухла. Тронул — а он мертвый...

Как стемнело, мы и пошли. Они нас под руки к себе... Ну и живут, сукины дети... Чисто дворец царский, а не окопы... Сейчас это нам кофию да рому. Калякают кто как умеет: камрад да камрад... Офицер ихний бумажки раздавал так вежливенько. Взяли, не грех, всё больше неграмотные, так чего обижать? Попили, поели, про все погуторили, пора и честь знать — домой. Только засели — бежит от них солдатик, благим матом вопит: «Рятуйте, рятуйте, смерть мени будэ»... А это один землячок, как в гостях-то был, до его винтовки больно привык... Так заскучал, что с собой ее взял... Ну, дали назад. Плакал, как спасибовал, а то расстрел... Через полчаса и мы по знакомцам-то огонь открыли... Дружба дружбой, а и служба службой...

Знают немцы такое свое слово особенное. Ладится у них все не по-нашему. Ни в одеже в ихней, ни в питье да пище, ни в оружье каком не видать пороку. И дородные: видно, в свою меру жили. И что за слово у них за такое? Может, и мы бы то слово нашли, да приказу нету...

Облак ходит, облак темный,
А у нас враг неуемный,
Не уймешь его штыком,
А уймешь его умком...

VII
ЧТО О ДОМЕ ВСПОМИНАЛИ

Нас вон долго не учили,
А в чугунку усадили
И погнали на войну,
Во чужую во страну.
На спине моей котомка,
И ружьишко на руке,
Ты прощай, моя сторонка,
И деревня при реке,
И деревня, и садок,
И пашенька, и лужок,
И коровушка Красуля,
И зазнобушка Акуля,

Здесь австриец кашу варит,
По окопам бомбой жарит.
Здеся свету не видать,
На себя не работáть.

Я прежде коло саду ходил. И отец мой садовник, и дедушка тоже. Крепаки садовники были. Дед — тот за границей саду-то обучался. И мать садовничья дочка. Вот я оттого и нежный такой. Мы спокон веков крови не видывали да на цветы радовались. А на войну-то только с червями да с жуками хаживали. Меня из сада-то выкорчевывали ровно грушу старую. Какой я воин?..

Ах, у нас хорошо дома, я нигде не видал, чтобы так хорошо было... Изба моя на реку, через реку луг видать, по нем бабы, бывало, как цветы, платками на сенокосе зацветут... А дале лес видать, краем словно дымок бежит... Глаз-то разгонúшь — не остановить... Здесь мне только то и любо, что на дом похоже. Смотрю, похоже — красиво, а непохоже — так хоть алмазами убери, не надобно...

Девять ден у меня после пути оставалось... И с первой минутки тоска брала, что скоро назад надо... Ни часочку радости не имел... Сердце отогреть боялся, горя ждал впереди бóльшего... Больше в отпуск не согласен. Бог с ним!

Грызла меня сперва тоска по дому. Все-то я дрожу да пекусь, как там: здоровы ли, да не обидел ли кто, да денег ли хватка, да не очень ли по мне убиваются? Вскоре привык дом забывать. Теперь только во сне вижу, зато каждую ночь. Встаю — так словно с полатей своих лезу. Да только не на свой подстил ступаю, не своим богам молюсь. А через часок времени отойду и опять чужой до ночи.

Сидит дедушка, дремлет, и кот при ём сказку зимнюю поет-урчит. Спрашиваю: «Кой тебе годок, дедушка?» — «А сотый даве минул, за сто мне...» — «А как же это ты, дедушка, зубов да волос не растерял?» — «А я это, внучек, свои зубы с садом садил, а волос с полем сеял. И столько это я на веку своем дерев насажал да хлебов насеял, что и грех мне лысым да беззубым ходить...»

Заболел, сразу не в себе стал. Ничего, что есть, не вижу, а все свое придумываю: что в тепле-то я, и при семье-то я, и так коло меня домашние ходят да всякое мое слово ловят. А поправился — нары да воздух под топор.

Письма получать с подарками люблю... Все думаешь: есть еще где-то люди мирные, жизнь светлая...

Завтра, братцы, иду я туды на базар, для своей семьи гостинцами разживаться. Куплю жене кожух белый, веселыми шерстями шитый, а девчонке игрушку утку видел до того хорошую — и нос алый, и пищит, сам бы занялся.

Я семью свою повсегда помню, во сне вижу, на отдыхе тоскою сохну, в самом бою осиротить жалею.

Есть и книжка, и бумажка,
Есть чернила и перо,
Да грамоте не учили,
Пропадай, мое добро...
За плечами сума сера,
На башке фуражка,
За лесами деревенька,
Там моя милашка...

Я так его жалел, лежу в казарме, а думка к нему летит: что с ним да как живет-растет... А письма наши, известное дело, чего не надобно никому, то и написано... Одно слово: «До земли поклон низкий»... Правильно, что до сырой земли... Читал я, читал да и дочитался только на третьи сутки, что Мишутка долго жить приказал... После поклонов-то низких да еще кланялись...

Сон — одна радость... Как не спишь, так не живешь... Во сне дом увидишь, со всеми по-людски поговоришь... Я теперь о чем молюсь, как лоб-то перед ночью крещу?.. Молитвы отчитаю по положению, а потом: подай, господи, сон про дом... Кабы не сны, и того тяжче стало бы...

Сгорела изба моя, и амбар, и скотинка: коровка да две овцы заводские. Остался я гол и наг и только тем не угодник божий, что семейства у меня семеро ребят, да мамаша слепая, да жена на сносях. А насчет мытарств, так хоть и святому великомученику впору...

Что вернусь — долго дома не заживусь, на каторгу живо угожу... Женка пишет: купец наш до того обижает — просто жить невозможно. Я так решил: мы за себя не заступники были, с нами, бывало, что хошь, то и делай. А теперь повыучились. Я каждый день под смертью хожу, да чтобы моей бабе крупы не дали, да на грех... Коль теперь попустить будет — опять на войну что отару погонят... Нет, я так решил: вернусь и нож Онуфрию в брюхо... Выучены, не страшно... Думаю, что и казнить не станут, а и станут, так всех устанут...

Ты лети, лети, газета,
Во деревню бедную,
Расскажи родне, газета,
Про войну победную.
Чтобы знали нашу долю,
Про сынов бы ведали,
Чтоб воину дали волю,
А в обиду б не дали...

VIII
ЧТО О ВОЙНЕ ДУМАЛИ

Восходи-восходи, солнце ясное,
Восходи-восходи по поднебесью,
Кровь-войну пригрей, повысуши,
Солдатскую долюшку повыслушай.
Как и день идешь, как и ночь бредешь,
Как ни дня не видать, ни звездочек,
Как нету ни роденки, ни женушки,
Ни родителей и ни детушек,
А как всем людям здесь судьба одна,
Как судьба одна, смерть — страшна война.

Об одном жалко солдата, что у него голова на плечах... Эх, кабы да только руки-ноги, воевал бы беспечально, царю славу добывал.

Любил я деньги и добро всякое прежде. Все не то что свое считал, а хорошо и папашино знал, и наследства ожидал с мечтанием. Одежду на войну дали, все аккуратненько справил, берег и сапоги, и мелочь разную. А попал я сюда да продырявился на первый месяц, и отпал я от вещей раз и навсегда, словно с войной-то никому вещи не по росту. Выросли мы больно, души так и той не хватает.

Нет добра в моей душе для дома оставшихся. Когда читаю, что там жить худо,— радуюсь... Пусть, думаю, пожрут друг друга, как гады, за то, что нас на муку послали...

Привычка — великое дело. Я теперь хорошо привык: ни своего, ни чужого страху больше не чую. Вот еще

только детей не убивал. Однако, думаю, что и к тому привыкнуть можно.

И сколько этих хлопот бывает при хозяйстве, облипнет тебя сеткой мелкою, словно перепела,— не выбиться. На войне-то хоть сеть крупна, больше через нее видно.

Брали мы в те поры с большого бою и очень распалили себя. Удержу нет, рука раззудилась. Я вон какой мирной, а тут, как пришел, кошку брюхатую штыком пырнул. Только и подглядываю, как бы подраться... Потом-то уж сном злоба разошлась. А как так-то, изо дня в день,— во пса лютого оборотиться недолго.

Заскочила тебе блоха в ухо, а ты баешь — гром. Свет белый шкурой своей загородил. А ты погляди-ка за шкуру — вот и не будешь из-за кажной вши без души.

Устал я воевать. Сперва по дому тосковал. Потом привык, новому радовался... Страх пережил — к бою сердце горело. А теперь перегорело, ничего нету... Ни домой не хочу, ни новости не жду, ни смерти не боюсь, ни бою не радуюсь... Устал...

Я такой глупой был, что спать ложился, а руки на груди крестом складывал... На случай, что во сне преставлюсь. А теперь ни бога, ни черта не боюсь... Как всадил с рукою штык в брюхо — словно сняло с меня что-то...

Все наново переучиваю. Сказал господь, сын божий: «Не убий», значит — бей, не жалей... Люби, мол, ближнего, как самого себя: значит — тяни у него корку последнюю. А не даст добром — руби топором... Сказано: словом нечистым не погань рта,— а тут пой про матушку родную песни похабные, на душе от того веселее, мол. Одно слово, расти себе зубы волчьи,

а коли поздно, не вырастут,— так на вот тебе штык да пушку, вгрызайся ближнему под ребра... А чтобы стал я воин, как картина,— так еще и плетями вспрыснут спину...

Прогремелся Илья, не перескочить. Как почнут немцы небо колоть ровно сухи дрова, где старому перегреметь...

Солнышко глянуло — затмилось, звездочки глянули — закатились, месяц посмотрел — на один глаз окривел; у Вильгельма и у того одна рука отсохла... А русскому солдату — все нипочем: не больно его дома балуют. В голоду да холоду — ровно в божьем во саду... Ему еще с полчаса терпенья хватит...

Война, война! Пришла ты для кого и по чаянью, а для кого и нечаянно. Неготовыми застала. Ни души, ни тела не пристроили, а просто, на посмех всем странам, погнали силу сермяжную, а разъяснить — не разъяснили. Жили, мол, плохо, не баловались, так и помереть могут не за-для ча. На немца-то — да с соломинкой!

Выровняет нам немец дорожки, не будет нам ни рвов, ни буераков. Грязь, так и ту вымоет. Только что народу до того времени сгинет, и какой такой человек по тем путям ходить станет — не придумаю...

Друг мой, читал я столько, что теперь я тебя во сто раз умнее... И стыдно мне перед эдаким невеждой зазнаваться. А душа у меня такая, что сама себе чести просит...

Ну тоже головой избы не построить, тут будто и руки умны.

Меня обидеть легко, язык у меня немой. Разве что кулаком говорить дозволят.

Не тоскуй, парень, нечего томиться, сколько твоей судьбы уйдет — самые пустяки... Молод больно. Весь мир война рушит, так одна-то душенька, ровно горошинка в мешке, не ворохнувшись до места доедет. Только жизнь сбереги...

В части ты — дуб ветвистый, не каждая буря свалит. А один-то солдатик словно лист на ветру: куда ветер хочет, туда и гонит.

Сколько мне еще жить — не знаю, а ровно мне сто лет теперь. И не то что слабый али беззубый — нет. А только умней стал и по-пустому не ржу. Хуже стало, как война уму-разуму научила...

Я гимназии не кончил —
Да в окопы прямо скочил,
И попал в ниверситет,
На геройский факультет...

Душу я на войне свою понял. Я человек хороший и до людей добрый. Здесь мне делить нечего. Своего ничего нет, все казенное... Душа и та чужая... Так всем одолжить готов и душою...

Выдумки, говорю, выдумки вражьи. Душа да душа... А душа в теле хороша. А хорошо тело — повсегда при деле... Значит, работай, округ себя смотри и об земном пекись. А то душа да душа, а сами ровно свиньи...

Это ты верно: что до шкуры, так тут душа ни при чем. У меня вон шкура-то часами без души гуляет, как в атаку идти. Оттого я и храбрый такой.

Сказывают так: жил человек суровый и строгой жизни и себя и округ себя все по закону соблюдал. И дожил тот человек до смерти и попал на тот свет. А там его и спрашивают: «Что, мол, ты, батюшка, на земле делал?» — «А я,— говорит,— закон соблю-

дал».— «А как же ты его, дядя, соблюдал-то?» — «А я,— говорит,— не крал, не жрал, под себя не с..., с бабами не спал». А ему и говорят: «Плохо, мол, старче: из «не» никакого дела не выкроить; а за то, что ты все «не» да «не»,— так и сиди, брат, на дне»... Да в пекло на дно на самое и усадили. Вот те и законник.

Загудел жук: «Такого, мол, я шуму напустил, все, верно, попряталось со страху, покружусь-ка я на просторе». А под тот шум и птица за жуком на охоту. А ты шумом не пужай, приглядки меньше, проживешь, брат, дольше.

Задрал волк у меня ягня и стрекача с им. Собаки в голос за кровью. Сшибли они волка, отняли ягня и сожрали. А мне не все едино: злое али худое мое добро стравило?.. Вот так и бог да черт. Нам до них что, абы жить ладно.

Дал заяц стрекача, а навстречу волк: «Эх, ты,— говорит,— дерьмо ты полевое, под ногой трава горит со стыда, что ты, заяц, робкий таков. А я, волк,— герой»... И схряскал зайца. Кто кого съел, тот и смел, хорошего-то тоже мало.

Забежал козлик в лес, и все с им как следует. Сейчас это ему волк навстречу. И стал козлика есть. А козлик тот не всякий был, больно умен, сейчас это он волку в брюхе рога расправил, из брюха выскочил да и стрекача, аж земля с-под ноженек горяча. А волк сел брюхо чинить и думает — ну и народ пошел, ну и порядки. Заглотал я его как путного, а он, окромя убытку, ничего хорошего...

Сколько, бывало, я сказок слушаю, об одном жаль, что не так в жизни бывает. На войне же я сказок понасмотрелся собственными глазами: и разбойники-то, и сироты замученные, и воскресших сколько, и мертвые стоят,— чего только, чего нету. Чистая сказка, да только больно уж страшная.

Память у меня слабая. Я вот помню все, что до хозяйства. А насчет войны, бей не бей — не упомню. Сорок лет, почитай, мозги на одно натаскивал, а тут все другое. Кабы еще по душе было, а то я так рассуждаю, что русскому одно по душе — своим домком жить, по чужому не тужить.

Меня такая обида взяла, на это глядючи. И не только что стены не валятся — пол деревянный, электричество светит, садик есть, и картины, и все, как у настоящих богатых людей... А потом как подумал, что все это делать нам самим бы пришлось... И так решил, что лучше просто, как свиньи, жить, а уж на вокруг себя силу тратить — не согласны...

Меня мама как носила,
Напугалася,
Был сыночек я исправный,
Да избаловался.
Не кутил, не выпивал,
С бабьем не водился,
Карты вовсе я не знал,
Матюшить стыдился.
А проклятая война
До греха добила,
Насмотрелся я...
Так с пути и сбился.
Посмотри теперь, мамаша,
Своего сыночка,
На башке нема волосьев,
Во рте ни зубочка.
От гнилой болезни сохну,
Ото вшей деруся,
От проклятого окопа
Со страху...
А кругом глядит начальство,
Дерет да ругает,
А каков я был мальчишка,
Так никто не знает.

На войне что хорошо?.. Что больно свободно и что душа думала — исполнить можно... Дисциплина? Одно слово — на глазах у начальства. Ведь только во сне видишь, что бабу каку хошь мни и за груди хватай. А тут — только не зевай... Один грех — зевать...

Раз мне так пришлось, что в бою зубы мои страшною болью разболелись, так, верите ли, ничего я в том бою, кроме зубной боли, не прочухал. Видно — либо боль, либо бой, человека на два горя не хватает.

Сейчас полотно рвать. Вот понаделали портянок, я себе все с буквами углы рвал. Герб ихний, корона и две буквы. Верно, что война хоть зла, да тем мила, что со стола — то под себя...

«Принеси вышивок»... Я и пошел. А это к венцу рубахи у них. Баба девкой спину гнула да золотом расшивала — все радость виделась... Вот те и дождалась радости... Мужа австрийцы угнали, а ее наш брат грабит...

Нет мне злее, как без хлеба. Брюхо наше сызмальства к хлебушку приучено. Мужичонку и в колыске одно дело, что мамка, что хлеба жамка. А здесь, как нас на мамалыгу эту перевели, так больше всего понял, что война нутро повыела. Только как паек дополнили, осмелел я немца думкой осиливать...

Идешь в избу, баба сидит, волком смотрит с голоду... Отдашь ей хлеб, и глаза у ней светлые станут, и ребятишки откуда-то вырастут, и пес под ногами хвостом крутит... Хлеб — великое дело.

Самое главное — хлеба вдосталь, тогда другого не надо, и страху нет. А как уменьшат порцию, так та́к тебе и сдается, что свету конец, коли рабочему человеку хлебушка нехватка.

Все мы здесь на одного хозяина работнички. Своего ничего нет, на чужой земле разоренной топчемся непрошеные.

За рекою лес, видать, очень красивый, да густой, да ровный, под самое небо головами. А в лесу том окопы по земле черной гадюкой вьются и за каждым кустиком враг. Вот те и красота.

Чему дома научился,
На войне все позабыл,
А военную науку
Из-под палки проходил.

Красть — очень даже нехорошо — и грех, и расплата. Да только на войне по-иному: все чужое да легкое — какой тут грех. А уж расплаты-то хуже смерти не будет, а мы сюда на смерть и пригнаны. Вот и не плошай.

Я не знаю, что я после войны делать буду. Так я от всего отпал — сказать не могу. Здесь ты ровно ребенок малый, что велят, то и делай. И думать ничего не приказано, думкой здесь ничего не сделаешь... Одна машина, что я — то Илья, что Евсей — то все.

Есть такие, что им до всего душа лежит и обо всех они думой раскидывают. Этим дома ли, здесь ли — все едино. А нашему брату как душу на волю выпустили. Ты меня бей и ругай, а только как мать родная заботься... Здесь мне и пища, и одежа казенные... Спокоен я...

Мне ничего теперь не нужно, лежал бы и ни о чем не думал... Каждому на этом свете своя мерка горя отпущена... А я, видно, чужую починать стал, вот и устал...

Хорошо жил я недолго, больше плохо... А теперь в люди попал и нужен стал... Смеюсь я надо всем и в бога верить еще с пастухов перестал... Сказал: «Не верю, разрази!» Гроза была большая, не разразил... А жизнь я не очень любил и папашеньку с мамашенькой за нее не спасибовал... Как кобель с сучкой, а ты что в аду гори... А на войне нужны стали: то «братцы»,

то «ребятушки»... Чую, выпустит мне Вильгельм кишки...

Бояться-то мне нечего, больно я жизнью взыскан. Всяко бывало, и вкривь и вкось, и наг, и бос, и бит, не сыт и на каторгу брит...

Полно ты — врать!.. Ни слову я насчет такой храбрости не верю. Оно, правда, кричать не стану, не к чему, не поможет ведь. А чтобы сердце играло — того нет. И не верю. А коль и бывает, так у озорников у одних...

Я-то не боюсь, а, конечно, хорошего мало — каждый час либо смерти, либо муки ожидать.

Стой, помолчи, огненного слова послушай. Небо теперь говорит да преисподняя. Человечья речь притаилася. Чья дума выдумала пушки да еропланы — не ведаю. Одно ведаю: большой покос смертушке уготовали. Придет конец войне, не быть смерти на земле. А и будет, так тиха, скромна. Отвалится смерть ровно пиявица сытая...

С маленьких мальцов попал я в конюшню присматривать. Дядя мой там кучеровал. И били меня лошади, почитай, ежедневно. И не любили они духу моего, и я их боялся. И на войне тоже до лошадей приставили. И не знаю вот: либо дух из меня война повыбила, либо лошади здесь уж больно ласке рады, только не бьют они меня больше и просто на пустую ладонь идут.

Лекарство стал принимать, доктор ругается: «Не работай да не работай, а то совсем кишки вылезут...» Вот лес возил, и вывалились кишки... А на войну годен оказался... Здесь все легко, коли страх подымаешь.

Я уж домой не хочу вернуться, чего я там не видал. Здесь землю куплю и с жителями буду хорошо обращаться, чтобы кровь забыли. Нашей-то крови тоже немало пролито... Земля от крови парная, хорошо родить будет... Войну люди скоро забудут.

Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду;
Как попал я тут в беду,
Во слезу горючую,
Войну неминучую.
Ты скажи, порастолкуй,
Чего война сладилась,
Чего война сладилась,
До русских наладилась.
Как наш русский-то народ
Все копал бы огород,
Да садил бы редьку крепку,
Да садил бы сладку репку,
По полям бы спела рожь,
А война нам невтерпеж...

Лучше всего песни наши. Поешь чем громче, на душе легким криком радостно, хорошо... Кто песни солдатам придумал, самый умный человек был...

Одно есть на свете самое наинужное, по-моему,— чтобы это праздник был. Только ради праздников и труд-то подымаешь...

Нету мне веры в счастье теперь. Посудить — так и грех об счастье-то думать, в черный год такой. Ржать-то не с чего. Да только годов-то мне мало, душа-то хоть и поустала, а зато самому инда до слез смеху хочется, а нету его...

От той дисциплины больше всего устал я. Хоть бы порядок какой, а то ничего не понять. Одни слова пустые, да жилам тяготы. Чести этой одной столько отдашь, самому-то ничего от ней не останется. Разве ж я тут человек?.. Весь чужой...

У меня шинель выдирает; я ему тихим манером по рукам штыком. Пустил. Вот крови-то... Я теперь очень даже просто кровь человеку пущу. Какое такое мне теперь, эдакому-то, дома дело подходящее будет — не придумаю...

Братцы мои кровные, и за что это нас, пеших, казаки не любят? А за то, братцы, не любят, что они до людей не привычны. Человека не оседлаешь, он те такого козла даст — дух вон...

Я козырялся недолго. Поднял, что лежало, а то бы пропало. Не снесть, не съесть, а все есть...

Глотнул — больно, жжет и свету в глазах не стало, а после прошел огонь по всей по крови, прет смех из меня, ровно у дитяти малого, и все худое забыл... Так я пить-то и почал...

Выпил бы ведро водки... Вот как скучаю, всегда занимался... А теперь жизнь зверская, так в зверином-то образе легче бы было...

Я думаю, что и страх на свете душу держит... Давно бы сдох, кабы не страх... Разве ж я о чем жалею, когда боюсь? Ни о чем не помню и не знаю, для чего жизнь берегу... Только ради страха и берегу...

Такое со мной бывает, что самое простое не пойму, ровно все слова чужие станут. Над каким словом, ну там «хлеб», али «стол», али «пес»,— всё едино стою столбом. Чудным кажется то слово, ровно ты дите малое, и впервой тому слову учишься. Всё это, думаю, от жизни здешней. Сон не сон та война, а и не житье настоящее...

Никто не согласен дальше воевать, разве что сумасшедший... Вот Ванятка хочет воевать... Так он себе карман набил, белья прикопил, баб в каждой деревне ласкает, Георгия за рану имеет... Таким байстрюкам счастье... Почти и не люди, а как сумасшедшие...

Ты тоска, моя тоска,
Гробовая ты доска.
Куды глазом ни гляну,
Только видно что войну!
Оглушилось мое ухо
От военного от духа,
Поустала и рука
От железного штыка.
Оттоптались мои ноги
От военной от дороги...

Вот человек был — все удивлялись. Все умел, машину какую хошь поправит, бывало. На войне впервой автомобиль увидел, а на третий день уж штабную машину поправил, пришлось так. Часы там, ну что угодно. И все самоучкой. А уж душевный какой, ничьей беды не приминет. Где советом, где помощью. И такого-то первой пулей убило. А думаю, и за границей такие

надобны. А уж по нашему-то безлюдью такого-то и подавно бы беречь да беречь. Война на миру что пьяный на дому — разорит.

Днем хоть полк немецкий увидишь — не страшно, за тобой свой брат. А ночью просто право-лево путаешь, все незнакомое, отовсюду беды ждешь. Ночью геройствовать не приходится, ни враг на тебя с почетом не посмотрит, ни друг не полюбуется. С ночью ты один на один, вот и страшно.

Нет, я себе теперь запрет наложил на многие думы, только тем и спасаюсь. Кругом не гляжу и в душу не допускаю. Велят, приказывают — делаю, исполняю. А ответа не беру ни перед людьми, ни перед богом...

Не терял я время, все для миру старался, работал, собирал, копил, бога молил... Думал я, не навеки та война. А вот как перевидел мертвяков тысячи и потерял я надежду... Не вернуть нам прежнего, и не для ча стараться и собирать... хоть скрозь землю всё провались... Опомнятся человеки, да поздно будет, ни пня не останется...

Сказывали, что были времена особенные, когда народ правды и хорошей жизни искал. Встали все, как один, и с мест своих на многие тысячи верст ушли и там селиться старались. И будто с тех времен ходит война по свету кругом. Один другого с насиженного места сселит, а сселенный дале идет и другого гонит. И так по всему свету война много веков гуляет. И будет ей тогда конец, когда все на свои места сядут.

Я не только человека — курицу не мог зарезать. А теперь насмотрелся. По ночам спать нельзя — бомбы. Думаешь до того — голова гудит. Грех аль нет?.. Почем я знаю, может, сотню али больше душ загубил... А как грех? На том свете начальство вперед не пустишь.

Что мне делать с собой, не знаю... Сперва я спокойно воевал. Плохо жилось, я не сетовал, все за жизнь считал... А жизнь горем — что полем... А теперь понятие утерял, не верю, что на свете живу... Словно сон по блинам, словно порча напущена... И найти себя не могу.

———

Я бы не военным хотел страны чужие посетить. До смерти надоело страх вокруг себя, ровно жито, сеять. Мирно бы все, по-людски... А то войдешь, чего-то стыдно, аж до жалости. В глаза смотреть боязно... Вот говорят: всё пошло, как быть должно... А чего это в глаза людям не взглянешь?.. Лихо дело война...

Я бы сам каку войну выдумал, для справедливости. Чтобы на год муку принять и другим грозы наделать. Да чтоб потом на белом свете всем хорошо жилось. Коль и загубила б нас та война, так детям да внукам, может, вольготнее зажилось бы. Хоть и не след присяжному признаваться, а сказать — скажу: знаю, супротив кого война надобна...

Думаю, скоро дело сменится. Мы с покорностью идем, покуда греха боимся. А грехи разрешим — и другие нам пути найдутся.

По земле ходить — не о грехе судить. И цыган путем ходит, да у пахаря скотинку сводит, а с им не на том свете расплата, то наше дело, не небесное...

Расти большой, да не будь лапшой; расти верстой, да не будь простой.

Через всю землю война пораскинулась... Одна от нее дорога — на тот свет... Кабы знатье, какое там житье,— давно бы ушел...

Присказка военная не такая, как прежде... Прежде тяготу несешь — жизнью идешь, а теперь труд да забота — все на смерть работа...

Кто смерти не боится, не велика птица. А вот кто жизнь полюбил, тот страх загубил...

Не сгинет мужик русский со свету, крепко в землю вращен мужик. Земля ему — мать-отец, война ему — зол конец.

Схорони ту войну-горе,
Работушка, широкое поле,
Приберите ту войну всесветну,
Мужички, работиички несметны...

КНИГА ВТОРАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ

I
О ЦАРЕ, О РАСПУТИНЕ

Был Петр царь жестокий,
Ростом высок, нравом яростен,
По всему свету кружил,
Водку глушил,
Скоморохом жил,
Ни ему никто, ни он никому.
Удержу не знал,
Крестьян нагноил-нагнал,
Что со всех сторон,
И от густых лесов,
И от великих снегов,
И от черных полей,
Еще и от вольных степей.
Крестьян сбил,
Крестьян загубил,—
На вот тебе, люд, топор да сети,
Будешь ты, люд, в болоте по плечи сидети,
Пни корчевать,
Горе горевать,
Стомленные твои плечи
Лютый как станет сечи,
От тебя ни дыху, ни оху не стану слушать,
Пока под город болото не просушишь.
Как первые работнички дню костьми умостили,
Петрово болото умельчили,
Другие работнички рядом слегли,
Да так долгие дни.
Умостил Петр костями болото,
Повелел на тех костях помосты работать,
Сверх помостов велел город ставить,
Да тот город своим именем славить.
Вот и восстал Петров город
На великое народное горе.
И стали в том городе не жить, а мучиться,
От всяких болячек пучиться,
На каждый на дых
Кашель да чих,

Глаз слезит,
Душа скорбит,
На солнце туманы,
На радости опаска.
А конец тому делу в новые года,
В молодые дела,
Как в эти года,
Пришел народ туда,
Да не царским приказом,
А своею охотой,
Пришел царю отмстить,
Не болота мостить.
Заплатят царю,
Увидит тот город новую зарю.
Так тем концом и кончится.

Говорят, плакал будто царь-то, как сымали. «Что я,— говорит,— теперь делать стану? Ничему-то, окромя царствовать, я не обучен».

За границу нам царя пускать нельзя, у него там сватья-зятья. Выплачет подмогу — опять воевать. А нам некогда.

Царица-то уж как нежна, а всякими бабьими словами заругалась. Только на нее депутат как цыкнет — она и собралась.

Дети у них балованные, носа сами не утрут, теперь туго будет.

Видно, не по времени теперь цари. Все разом: ах, ненадобен, и не стало царя.

За стенами в красных палатах жили, народу царя словно икону показывали. Так на нем ни пятнышка не приметить было. А теперь война-то его под самый нос подсунула: на, мол, крестьяне, смотри, что это за чучелок воробьиный ото всякого ветру рукавом машет. А куда нам такой?

Год который воевал,
Царю славы добывал,
Да от той от славы
Крестьянство ослабло.

Царя сняли, ха, уж коли господь попустил, так нам не противиться, мы покорные...

Царя сняли, теперь бы попа снять. Одним корнем соки тянули. Я-то не грозен и даже прежде думать так не умел. А теперь велели думать, сам себе голова, вот и такая дума не страшна.

Заплакали бабушки,
Сняли царя батюшку,
Возрадовались девицы —
Станут каждая царицей.

Господа благодаря
Сняли батюшку царя,
Погоди, господь, немного,
И тебе туда дорога.

Месиво замесили,
Царя старого сместили,
Эх, люли-люли-люли,
Затрусились короли.

Как на царском на троне
Замест сокола ворона,
Мы вороны невзлюбили,
Совсем царя отменили.

И где ж это, братцы, царски оберегатели подевались? Бывало, через всю Россию с медалями пеньков понаставлено, как царю куда дорога лежала. Да без корня-то и пень не опора.

Забежала к нам собака
Шелудивая,
Говорила нам словечки
Неправдивые.

Говорила она зря
Словечками бойкими,
Будто быть нам без царя
Сиротами горькими.

Мутят нас, работает враг, царя вон жалеют. Он, мол, хотел, да другие будто не позволяли. Ишь ты, какой младенчик. Ему не позволишь... Он у народа-то, почитай, лет сорок на шее сидел, вот и отвык на свои-то ноги становиться. Ничего, коли времени дадут — выучится.

Царь, говорит, это дуб большой, ветвистый. Ветки те — министры да князья разные управляющие. Дуб-то свернете — обломятся и ветки, люди нужные да большие. А тот ему: с корнем дуб тот выкорчевать, ни желудя не оставить. Оплел корнями землю, последние соки тянул. А ветками солнца лишал. Ненадобен нам дуб такой и ветки его гибельные. Свое взрастим.

Как царевые хоромы
Развалилися,
По всему по свету громы
Раскатилися.

Как не жалко нам царя,
Никакого писаря,
Жалко времечко прожить,
На позициях тужить.

Вот бы знать, как у нас на деревне царя провожают. Занятная это штука — деревня. Где стена — там на царе ордена. А думаю: и туда толк дошел.

По сказкам хорошо было, а по правде-то, бывало, перетолкуем, и видать — не по деньгам нам царь.

Уж такой-то герой
Николай Второй,
А Керенский-депутат
Не велел в Питер пускать.

Богу маливалися,
На царя надеялись,
От них отвалилися,
По домам нацелились.

На верхах душеньки раззорливые. Эдаких без денежек для себя не позаведешь. Вот и проворовались.

Говорили, танцы царь любил. Да не сам плясал, а Распутина со знаменитой плясуньей польки танцевать заставлял и на них, на двоих, всю казну растратил.

Польская девица-артистка при царе в любовницах жила. Из-за нее царь-то и приказал Распутина убить, приревновал. А сам выехал, будто не его дело.

Под высокою под елью
Я построю царю келью,
Пусть нас не касается,
Во лесу спасается.

Длинноногий галаган [1]
Сорок девок залягал,
Николай наш Николаич [2]
По престолу стосковал.

Эх вы, рожи, рожи, рожи,
Как стоит престол порожний,
А я здесь войну покончу,
На престол тот разом скочу.

Никуда ты, брат, не скочишь,
Не один войну-то кончишь,
Мы престол тот соблюдем,
Под курятник отведем.

Думаю я, теперь все цари облетят, словно лист сухой. И бури не надо, коль на них зима пришла.

Легкое дело — триста лет. Отсосали свое. Тут ничье дело. Сами пережрались до отвалу.

Жили-были царь с царицей. Всего у них через силу много. Соскучились с перебытков разных. «Подавай ты нам,— говорят,— во дворец царский сермяжного самого мужика со смердьими словами. А то князья-графы нам до некуда тошны стали». Вот и пришел Гришечка и так их царские утробы распотешил, что уж всего им для Гришечки того мало: «Гадь, Гришечка,

[1] Индюк (*обл*).
[2] Великий князь, двоюродный дядя Николая II, в первую мировую войну был до него верховным главнокомандующим.

на наши царские головы». Призавидовали тут графы и князи, Гришечку заманили и убили. А чудо было — царя с престола свалило.

Житие того Гришки Распутного:
Пропраздновал житие долгое,
Во скиту с толку сбился,
Во столице на трон царский забрался,
Не сам велик, не сам красив, не сам умен,
До царицы смел-доходчив,
До царя на язык удачлив,
Всякого обнесет и вынесет,
Денег — злата нагреб кучи,
Камней алмазных — горы,
Девок да баб — толпы.
Жил, пил, словно пес блудил,
Дожился-доблудился до последнего,
Дождался смерти необычливой,—
Как убита собака во княжьем дворце,
Как примята собака на высоком на крыльце,
За девичью порчу, за страдания,
За страну, за России поругание.
А спустили собаку в реку Неву,
Хоронили собаку не в саване,
А в бобровой во шубке во княжеской.
А на том на свете, не как-нибудь,
А сустрел его Вельзевул, князь обрыдливый,
Со всем со бесовским со воинством.

Как Распутина убили, многие из начальства добреть стали. Много их, сказывают, от того Гришки кормились, вот и обробели с сиротства.

У нас разно про того Распутина знали. Кто и за святого считал. Сказывали, будто один он правду царям говорил. За то будто и убили его вельможи.

Сказывали, от народа будто Распутин к царю приставлен был всю правду говорить. Не простой люд его извел.

Сперва-то он хорошо будто народу служил, да переманили его баре, золотом купили, и на баб обласел [1]. Вот и продал он народ, хоть и наш был, серый человек.

---

[1] От слова «ласый» — лакомый до чего-то.

Такая уж царям линия пришла, чтоб от сермяжного ёрника [1] с престола свалиться.

Как Распутин Гришечка,
Хороший мальчишечка,
По скитам не старился,
С царем в баньке парился.

Гришка баньку истопил,
А сам в Мойку угодил,
А царь в баньке учадел,
Да делов не углядел,
Со престола царь слетел.

II
КАК ПРИНЯЛИ РЕВОЛЮЦИЮ

Разумных послушались,
Начальства ослушались,
Задудели тру-ру-ру
На веселую игру.

Думаю, под большую пушку питерские дела сделаны. Мы здесь уж как привычны, а и то под большую пушку со страха жизни не жаль. Верно, как прокатило над дворцом чемоданным громом — поползли вельможи на корячках, ключики порастеряли.

Трудно каменью катиться,
Трудно старому жениться,
Трудно барину трудиться,
Трудно воину мириться.

Задумали серые зайки волков скоротить. Всем лесом сбились, от тесноты страх потеряли, да и сшибли. А теперь, слыхать, и волки подымаются.

Забежал к нам зайка серенький, говорил: ребятушки, не труситесь вы по-зайчиному, приступите вы по-волчиному. Тут только человеками и станете.

---

[1] Беспутного человека, мошенника.

Зайка забежал, такие слова сказывал: чего, говорит, вы, солдатушки, в чужих лесах зайцев тревожите, коли у вас дома-то волки последнюю скотину сводят.

Забежал раз зайка серенький: вот, говорит, я какой, со страху глаза растерял. Так на то я и заяц. А вы-то чего здеся жметесь? Кабы нам, зайкам, да эдакие винтовочки, мы бы не по воробьям стреляли.

То про то, то про это думается, и жалко, что доросший я. Был бы я мальчонок, ничего бы теперь не боялся. А то кто его знает, примет ли душа моя заезженная новую свободную жизнь.

Есть покалеченные. Таким теперь на печку охота, на покое отдохнуть да гниль вокруг себя развести. Нет, ты на сквознячок пожалуй, вот и не застоишься болотом.

Ни секундочки не позамялись, сразу приняли. А уж до чего обрадели. Только с часок мы попросту радовались, а к вечеру на всякие дела потянуло. К чему это, после такого-то случая, на войне, от всего вдали, баклуши бить. И вот так которую неделю.

Стали новые режимы,
Поослабило пружины,
Отдышалися с натуги,
На работу стали туги.

Распалили свои душки,
Заиграли мы частушки,
Эх, прибаска весела
Про теперешни дела.

Загляделся я просто на ту газету, пока ее в часть вез. Не очень хорошо читал, только все понял. И в части сразу приняли, будто еще бабушка ворожила про то.

У нас народ особый, лесом кормится. И воздух душистый, а не полевой. Я в городе-то было сперва задохся, словно кто мне на голову сел. Из лесу я, а лес извечно на одном месте дремлет. Вот мы не больно за свою судь-

бу ворошиться охочи. Однако, думаю, теперь и лесных наших людей пораскидало.

Идет сила великая, а мы у ней на пути словно шалашики; разве что переночует, да и дальше.

С неба листок прибило. Такой листок ко счастью мосток. Писал тот лист ссыльный стрекулист. За нас сера свита, за нас спина бита. В Сибирь плетется, за нас печется. Самого бьют да мучат, а он нашего брата учит.

Ты посмотри, как наш брат от присяги отпал. Припекли ровно клеща, и отвалился народ. Нас больше к тому месту не припустить.

Боюсь я: а ну как все старое пропадет? И грибы на печурке ростить станем. А я и к лесу, и к простору всякому привержен. Так как бы мне душой-то под машину не угодить.

Словно ты тулуп съел, кряхтишь ты да охаешь. И чего боишься, чтó тебе терять-то? Худшему не быть, куда уж. А время особое, за тысячу лет такого не бывало, чтобы неимущий хозяином надо всем. Коли и на такое душа твоя не играет, так не быть тебе живу, хоть ты и глазом хлопаешь да зубом лопаешь.

Дело-то вот какое: котельщиком был он прежде. Всю жизнь себя молотом глушил, не берет он теперь ухом малых шумов. Вот ему и подавай всесветный гром.

Как начну не про вещи думать, голова загудит с непривычки. А я помаленьку: сперва про наше про гореванье, на другой разок — про ихнее измыванье, а уж как до нашей до свободы додумаюсь, ан и привыкла голова.

У коленок очень тонко,
На бочка́х болтается,
Галифами очень звонко
Штаны прозываются.

От свободы-радости,
Понабрал я сладости,
Зашумело в голове,
Полюбил я галифе.

Есть и такие, что теперь совсем не у места. Ровно хвост в штанах. Не по фасону.

Уж совсем я к нему присмотрелся, верить стал. Тут газеты привезли, читали с товарищами фамилии. Провокатор. Так уязвило меня, в такой стыд-тоску запал — взял револьвер, убить надумал, как бешеного пса. Да сбег он куда-то. Тем я и спасся.

Нас на такие места за нашей безграмотностью не звали, а шли бы из-за темноты и горькой нужды. А вот они-то с чего? Фамилии-то всё господские больше.

Радость большая несчастным людям жизнь устроять и покой дать. Только не вижу я покойного места. Земля — так и та двинулась.

Прежде был солдат тетеря,
Не такой он стал теперя,
Как раскрыли ему двери,
Стал солдатик хуже зверя.

Простой человек от рождения революционер. Нужду с жамкой пробует, всю тугу [1] на родителях видит. С малых лет на труде непосильном, и никто-то из гладких да кормленых ему не советчик, а кровосос. Вот и почнет брыкаться, коли не дурень.

Не боюсь я теперь. Что ни случилось — лучше будет. Нас, бывало, на вожжах в ров-то гонят, и то живы были. А теперь, на свободе-то, еще как заживем.

---

[1] Скорбь, горе (*обл.*).

То-то и плохо, что на вожжах ходили. Из оглобель не вылезая пути-то знали. А теперь распряглись, как бы ноги не порастерять.

При вожжах и кнут командир. А от кнута хоть в ров головою, только бы на волю. Вот и вырвались. А что с непривычки сошкодим — ничего, залечится.

Эх, свобода хороша,
Да вот ходим без гроша,
По купцам да по боярам
Наши деньги потерялись.

Кабы денежки,
Были б веселы,
От той бедности
Головы повесили.

Натяну штанишки узки,
Обучуся по-французски,
Господам по шеям,
Закручуся коло дам.

На ручки перчаточки,
На ноженьки галифе,
Со мной барышня-красотка
Во малиновом лифе.

Выходи, простой народ,
Посшибали всех господ,
Со свободы стали пьяны,
Заиграли в фортопьяны.

Молодые, те при слове больше занимаются. А наш брат — семейный: язык у нас крепкий, песьим хвостом не крутится, а дела, окромя семечек, здеся не видать. Домой бы...

Чего языка стыдиться, коли мозги в тебе есть. Как сказка — так не стыдно, а как жизнь устроять — так сейчас язык лыком. А ты смажь лыко-то хоть умом, что ли, авось и от тебя миру помощь.

Теперь новые привычки,
Покидаю в воду спички,
Целой роте на беду
Зажигалку заведу.

Ходят теперь здеся люди — не люди, слухи — не слухи. Однако те не люди, не слухи такую вредную выдумку сеют, что как бы нам радость-то в крови не потопить.

В прежней-то жизни рабской такая душонка словно рыбка в воде. А теперь ей страшно да на чужой воле тесно. Она и мутит. А ты строй жизнь, покуда к стройке допущен, да учись, а на чужеродных там, на евреев разных, не злобься. Всем теперь места хватит.

Кабы тебя с прадедов в лабаз позапрятали, да в рожу бы тебе плевали ежечасно, да над верой твоей измывались, не такой бы ты еще жулик вышел.

Онамедни любовался
Звездами да месяцем.
Коли кто проворовался,
Так того повесили.

Я пошел, вижу: все, кто побойчее, и начальство коло их. А солдат густо сбился, сам молчит, а до тех нейдет — силу копит до времени.

Что вы, сучьи дети, стадом стоите? Постойте так-то с часок, отстоите себе тугу на шею. Вы, братцы, движьтесь; вон вода движная, чего-чего не нарастит, не увидит. А в стоячей-то, окромя падла да жабы, и духу нет.

А теперь вдруг вышло — все твое, сам себе хозяин. Да уж больно всего много, и взяться за что — сразу-то не угадаешь.

Пояса-то мы пораспустили, это верно. Да вот как нажмет враг какой, как бы нам, при таком нашем фасоне, в портках не позапутаться.

Подпалили мы скирды
Да лежалые,
Не горит наша Россия,
Только балует.

Когда стал он мне про всю житейскую правду объяснять, обалдел я, молчу, все внове, на старое надежду утерял. Он и спрашивает: «Что молчишь, аль тебе с нами не по дороге?» А я уж и путей иных не вижу, все старые дорожки правдой позасыпало.

Знаю, что не ладно тута болты болтать, да дела по рукам не видно. Воевать не приходится, не с чего. Речи-слова разымчатые говорить я не горазд, вот и лускаю семечки бесперечь.

Какой такой Керенский — не знаю и не ведаю. Только слушать его не дам ушам. Он человек проезжий, наговорит, а кто его знает, надолго ли те его слова.

Говорили товарищи разное, да я веры не давал, о своем больше думал. Слышу — сердце упало. Думаю: это нас от австрийцев повернут, своих за царя бить. Доспело, думаю, убьют, а не пойду на такое дело. Однако вышло, что все будто рады и пора строиться. Только бы вот домой поскорее.

Я грамоте обучен, газеты читаю, писать многое могу. А на все теперь ужасаюсь. Ровно меня пятилеткой каким перед морем поставили да и сказали — переплыви.

Прежде всякий казак
Против вольных ставился,
А теперь стало не так,
Свободой прославился.

Нету худшего ворья
Как казаки-кумовья,
Коли станет им в угоду,
Прикарманят и свободу.

Вольные казаки
Не вороны — дураки,
Налетят на Петроград —
Загорюет депутат.

Загорюет, скорчится,
Свободы покончатся,
От казацкой вольницы
Быть воле покойницей.

Казачики, сучьи дети,
Некогда на вас глядети,
Хоть вы в куски разорвитесь,
А свободе покоритесь.

Мне это все не по душе: надо скорее домой вернуться, семью присмотреть. А уж землю пусть знающие устрояют.

Вот и беда наша в том, что все на чужой умок в надежде. Я, мол, с бабой на печь, а на мои, мол, денежки захребетные пусть бареныш повыучится, как мне же на шею начальством сесть.

Заблудился я середь новой жизни, ничего не пойму. Все позволено, а ничего нету. Дома до настоящих вещей доберусь, тогда и свободой попользуюсь; а здесь что — разве что перчаточки понадеть.

У нас теперь еще ничего не разглядишь — рады ли, нет ли. Только что на свет мы народились, рты пораззявили, а на плачи али на смехи — еще и не разобрать.

Эх, свобода манит. Только и ответ за нее на нас же. Не хочется жеребенком сорвавшимся малину перетоптать.

Да уж лучше жеребенка на малину, чем чтоб та малина под господской задницей посмякла.

Сколько это мы на себя греха берем, судивши. Коль свобода, так и судить не надо. Зло-то побушует, да само и притухнет.

Зло-то ровно огонь: тогда помрет, когда все сожрет. Бороться надобно, а не попускать; вот и суды надобны.

Сколько теперь горя ушло у людей, сколько теперь всяких людей радостью живут. А такая радость, словно горячка, ко всем пристает.

Человек тебе не скотина. Хоть узда, хоть ярмо, а на свободу вышел — сразу на своих ногах по пути прямому.

Доктора хороши, да больно им в деревню неохота. Думаю, что и мы-то, повыучившись, избы побросаем — да в городские хоромы. Колей, мол, деревня, коли есть терпение.

По земле русской много людей разумных есть. Все те люди без дела сидели, дело-то не в тех руках было. Теперь же депешей тех людей собирают — за советом.

Ничему теперь старому не вернуться. Мы-то вот и не попробовали еще по-новому-то жить, так от мыслей одних душе вольно. А что еще будет.

Прежде на отдыхе всяко говорилось. Бывало, и сказки сказывали, не стыдились. А теперь доброе слово соромно сказать. Время теперь у печени, от сердца далеко.

Старыми-то словами теперь не скажешь. Старые-то под время подведены. А теперь времени не видать. Теперь кипит. Еще что уварится, пока время опять отстоится.

Он в Россию в ящике железном прибыл, чтобы никто не знал. Ящик с дырочками. Четверо суток до Питера в ящике томился. Там товарищи вынули. Отошел с пути, теперь всем верховодит и очень Думой недоволен, чистоплюев много.

Ну и город распрекрасный
Петроград столица,
На церквах знамена красны,
Народ веселится.

Эх, пуста Москва
Что солдатская мошна.
Московские люди
Все в Питере будут.

III
О ВОЙНЕ, О СТАРОМ И О ЗЕМЛЕ

Эх вы, вьюшки, вьюшки, вьюшки,
Не осталось ни полушки,
До последнего числа
Все война та унесла.

Страшусь я, что дома увижу. Изнищила нас война дочиста, от дела отбила, силы поубавила. За одно войне спасибо: до самого краю довела, дальше-то и некуда было. Вот и пересигнули.

Наш брат, рядовой, всегда хорошо знал, что простому та война, кроме худого, ни к чему. Земли у нас помещичьей донекуда. Так неужто нам еще у иностранцев землю отнимать?..

Бывало, взвесишь рукой винтовочку, а под сердце и засосет думка: эх, кабы да этой штучкой да на свою нужду у помещичка хлебца поотбить.

Чего мы до сей-то поры терпели? — ты вот что скажи. Кабы повернули мы всей-то отарой да с ружьищами по домам. Никаким бы нас галифам не удержать было.

Смотришь на земляка, бывало: кто его знает, за кого он себя обдумывает — за господску забавку прирожденную али за работника, от века изобиженного. Кабы знатье, давно бы на иное повернули.

Прежде был я дурак,
Помыкал мною всяк,
Как свободу достал,
До чего я умный стал.

Как на войну брали, дед один говорил: «Подгонит, уторопит война новые времена. Всю землю костями укроет, на тех костях новое житье устроит. Лишит нас война деток, хлеба да приведет новое житье с неба».

Ну небо да небо. Конечно, бог, ан руку-то приложил не бог, а человек убог.

Как военное отступление у нас в Галиции вышло, все мы знали: быть большой буче. И знали мы, что продали народ министры, да ни как там по-особому, а за деньги продали. И знали мы хорошо, к чему идет наше военное житье. Собирались охотно и учились, и себя готовили.

Горевать-то, бывало, горюют, а руки все при поясе, как бы не разуздились. В свободную минуту способы придумывали, как себе на белом свете место необидное высмотреть.

Не вынес, ударил. Сейчас его под суд. И все его хороши молодые годка в 24 часа призакончили. А обидчик и по сие время провожает жизнь. Так считалось, что солдатское личико вроде как бы бубен: чем звончей бьешь, тем сердцу веселей.

У нас теперь страх в ногах, как что — верстами сигаем. А прежде, как ничего от житья хорошего не ждалось, бывало, пнями под бомбами-то растем. Больно храбры были.

Сперва мала, потом больше — грознее запылала. И порешили: спалит летучая звезда землю. По всему небу хвостище раскинула, вот с версту ей еще — и у нас. А наутро вечер пришел, сникла звезда, испугалась чего, что ли, в свои края повернула, скоро и след простыл.

Война эти все темности словно лаком покрыла. Всё для всех видать стало, никакими орденами не причепуриться. Всякий чирий на свету — на виду.

Стоит человек, к стене припал и плачет. Я к нему подойти опасаюсь, еще уязвишь его словом по горькому местечку.

———

Горе разве свое покажешь, округ чужие, я один деревенский. Разве поймут? Теперь война побратала.

Так, сказывают, от начала положено. Сперва, как лес, стоит народ — и кучно, и дружно. Землею кормится. А отсосал землю — началось и к другому движение. Тут война, тут революция и всякие времена.

На военном огне в единый нас брусище спаяли да этот брусок себе же на голову.

Указано прежде было, что для человека плохо, а что хорошо и для всех одно. А теперь так вышло, что для одного хорошо, другому худо, вот и мечемся. Прежде попокойнее жилось.

Обжитая дедовская изба была, всего в ней много — и сеней, и клетей, и горница не одна. И до того обжита была — стены, так и те разговаривали. Всюду и дух и шум слышен был.

Возьми ты осочину, при полном месяце зубом ее перекуси, солью ее пересыпь, зашей в тряпицу и носи при себе. Самое против зубов средство.

Ночью встал из гроба, монашка страхом убил, в свой гроб уложил да всю ночь над ним и читал, чтобы не рехнуться со страху. Дома наша смерть куда страшнее, чем на войне.

Бывало, дитя народится. Сперва-то, коли изба полна, будто и рад. А потом только его и видишь, когда бьешь.

Я только до шести годков над собой чужой мошны не чуял. А с семи и по сию пору был я чужой со всеми потрохами своими. Теперь вот посмотрю, каков я без хозяина буду.

Мы столковаться-то времени не имели. Посмотреть кругом — так все свою связь имеет. Только простой народ ровно просо на крыше: кака хошь мала птица повыклюет.

Покажи простому вещь дорогую да за руки его не держи — ей-богу, украдет. Развратился народ темнотой и убогим житьем.

Ну вот теперь, слава богу, чувство имею, что не хуже и других. А то, бывало, на кого ни поглядишь — все тебя чище. Труд несешь, для всех делаешь, а видать-то тебя, бывало, никто не увидит под корой твоей грубой.

От трубы заводской родился, дымом фабричным повился, у шпаны сибирской учился, на ткачихе блудящей женился. Как такому человеком стать? А есть декоктец такой знахарский: работай до поту, раскали кровь сухотой. Коль раскалился, на господ навалился, правов добился — вот тебе и не хуже людей.

Сколько, бывало, страху от бедности. Коли не за себя, так за семейных. Только и свету, бывало, увидишь, что через водки стаканчик.

С водкой сердцу в кулак не вступить. Кабы водку не запретили, не добыть бы нам свободы.

Прежде пьяненькому только и обиды, что портки сымут. А теперь дела великие пропить можно, вот и надо остепениться.

А чего в вине плохого? Я с вина здорово умнел, все понимал, ничего не боялся и правду на улице кричал.

Бывали и прежде хорошие времена. Бывало, начальству за своими делами не до нас,— так и при таком счастии дел мы своих справить не умели.

Привел отец товарища, оставил ночевать. Ночью урядник нагрянул, все в разор разорил, отца с товарищем увел — и по сие время. За книжки теперешние много я мальцом горя принял в безотцовстве своем. А вон что вышло.

Как запрёг я волов, очень я их с непривычки да от стыда строжил. А как разглядел, какие волы необидчивые,— просто походя бил. Коли им всё едино, а мне что, кнута не жаль. Так вот и с нами.

Застонала судьба крестьянская:
Ты за что меня, лютую, на свет послал,
Ни покою от меня, ни радости,
Ни для взросших людей, ни для малых детей,
Уж такая я, судьба, тяжкая,
Ни по чьим я плечам,
Ни по чьим я сердцам,
Стою я, судьба, плачуся,
Суда дожидаюся,
Да не будет ли людям жалости,
Да не будет ли людям милости,
А не будет мне, судьбе, перемены какой:
Коли есть тягло, есть и тягости,
Коли сердце есть, есть и горести,
Коли разум есть, есть и радости,
Коли сила есть, есть и вольности,
А при вольностях — переменится,
Горе с радостью переместятся.

Ворошите по городам что вздумалось. А крестьянству чтобы тишину. Никакого зерна не вырастить, коли бесперечь коло него землю заступом.

А ты подожди, мужик, сеять-то, покуда мы тебе землю всю не перекопаем. Такую распашем пашенку — что ни колос, то богатырь.

Эх, кабы только поля корежить. Наша пашенька через города всякие пораскинулась, а тут под плугом не кроту — червю гибнуть.

Землю возьмем по-товарищески, а всех лодырей за границу, пускай водами опиваются.

Все мы, как один, одного хотим: чтобы землю земляной человек взял. А фабричные фабрику получай и до нас не касайся.

Кому землю корежить, кому словом тревожить. Тут только в том главное, к чему делом своим ведет. Иной весь в мозолях, а только и радости от него, что на малых детей не кидается.

Ну-к что ж, и о таком думать приходится. Уж и та польза, что никого такой не сосал за трудами неустанными.

Я бы хотел по-крестьянски все. Отставила бар; что хошь с ними делай, только землю нам верни. А при земле мы и умны, и добры, и всему свету помощники.

Земли да земли. Конечно, земля для нашего брата первое дело, однако земля-то без устройства и на кладбище не годится. А первое дело — войну замирить. Земля же не уйдет.

Загулял мужик на просторе, все свои думки заветные на делах перепробовал: помещика выжег, землю у него отбил, скот угнал, учителя в шею, трактир вывел под облако, самоварище солнцем засветил, водку в глотку — бабы страшатся...

Земля ты, землица, красная девица, сколько годков к тебе подсыпался, вот и дождался.

Как летела голубка над полями высоко,
Над полями высоко и далеко.
Видно было голубке наше горькое житье,
Наше горько-подневольное житье.
Позадела голубка за небесное окно,
За небесное, лазорево окно,
Пораскрыла голубка на нас солнечно тепло,
На нас солнечно, приветное тепло,

Порассыпала голубка золотое зерно,
Золотое хлебородное зерно,
Непахано поле небывало проросло,
Небывало и несчетно проросло.

IV

КОНЧАЙ ВОЙНУ

Ты не пой соловьем,
Всё равно домой уйдем,
Не дождем до осени,
Теперь войну бросили.

Одно я тебе слово на все на твои на десять — домой.

Уж так-то томно здесь. Что за житье? Прежде, когда воевали, знаешь, чего у чужого хребта прибился: враг, мол, велено — соси. А теперь забыли мы, какой такой австриец враг, так чего это нам по чужим странам сохнуть, али уж и работа-то дома не стоит?..

Ищу я, братцы, правдивых слов, до конца. А то не понять чего и пиво варивали. Царя нет, а войне конца-краю не видать. Кабы все до конца сказали бы, так уж кто как, а уж русский бы мужик дня единого войной не подышал.

Не один мужик на свете. Ты вон французу не присягался, да за тебя пообещалися. А эти пупа не надорвут.

Ты повызнай, немчура,
Пришла новая пора,
Как мы в Питере живем,
Не сыскать и днем с огнем.

Всех вельмож мы посвалили,
Землю людям воротили,
Дармоедов скорчили,
Всяки войны окончили.

Вы немецкие ребята,
Никому не виноваты,
Вы домой вертайтеся,
За своих примайтеся.

Плохо здесь дела идут. Вон, за сто верст аль меньше дерутся ведь наши-то солдатики с австрийцами. А мы сидим, совесть зазрит, а разум не велит. Трудно, уйти бы по домам.

Кто дерется, верно, еще не поверили, что свобода для всех. Обманули их, вот они и воюют еще со страху-то.

Ты Керенский-депутат
Солдат не обманешь,
Не пойдем мы воевать,
Даром словом манишь.

Другим голосом говорит: идите, собирайтесь, будем обо всем советоваться. А я что за советчик? Слов нет, думы о своем — домой бы...

Встал, месяц светит. Пошел-побрел до городу. Полуднем через город перебег, на эту дорогу вышел. Иду домой, и чем я от войны подальше, тем на душе моей тихости больше. Иду домой мирное житье строить.

Никто нас на позиции не останавливал. Кричал кто-то из наших же солдат, мол, сукины дети. Только мы времени не теряли за обиду драться. Привычные.

А наш депутат револьвер вынул, говорит, застрелится, как уйдем. А пускай его. Лучше одному под пулей-то гинуть, а нас дома ждут.

Вроде как свобода
Для всего народа,
А солдаты бедные
Жди конца победного.

Нам победа нипочем,
Чего с немцем биться,
Мы пойдем плечо с плечом,
Нам домой кортится [1].

---

[1] Очень хочется (*обл.*).

Вы бы сперва войну бросили да в Россию вернулись, там бы видно стало, на какое дело ожидаетесь. Может, и всего-то вашего управления будет — новым господам нужники чистить.

Каркала ворона, пока не подохла. Не приучены мы править, однако можем выучиться не хуже других. А уж старому не бывать, не загнать младенца назад в утробу.

Да уж теперь на фронте не погеройствуешь. Товарищи засмеют. Мы свою удаль домой снесем, там она в цене.

Конечно, перед тещей-то погероистей будешь, чем перед дядей немецким. Идите, идите. И псу хвост-то поджатый на ходу не помеха, только не сберечь такому добра.

Я мальчишечка фабричный,
Ко всему, скажу, привычный,
А к немецкой пушке
Не привыкнут ушки.

На речке кораблики,
На бережке борона,
Мне здесь не на фабрике,
А чужая сторона.

Чего хуже война, чего лучше свобода. Только нет им места в один часок.

Я бы воевать любил, кабы знал, что дело. А ничего от нас немцу не нужно, так какой он враг. Враг-то и меня и немца овечкой гнал — один он у нас.

Что Ганс, что Ванюшка,
Оба-два солдата,
Во нашей судьбинушке
Баре виноваты.

Эх, не немец, не австриец
Белоручка-кровопивец,
Эх, не иностранец,
Баринок-поганец.

Вы немецкий народ,
Славна нация,
На войну вас ведет
Чиста провокация.

Депутатики братцы,
Вы не стройте провокаций,
Не хотим мы воевать,
Пойдем дома добывать.

Сказывают, на неделе прибывали питерские думские. Посередь слова их в кулаки подмяли, еле ноги уволокли. Нашли чем из Питера челом солдату бить, а еще бородатые.

Всё больше адвокаты, законники разные. Небось от старого медку никак не отлипнуть, сколько годов питались. Вот им и не понять никак, чего это вдруг солдат воевать перестал. Нового-то закону не раскусили еще.

Коли уж при царе защищали, так теперь, мол, особливо воевать нужно, когда всё свое. А того не домыслят никак, что войной мира не добыть. А нам и строиться нужно, и закон новый утвердить; время ли нам теперь с чужими людьми дракой тешиться.

Нашим, мол, геройством гордились. А и всё-то геройство наше с того шло, что некуда нам податься было. А как не с этого, так больше полоумные геройствовали.

Удали некуда деть было, а мы народ удалой. Теперь, как настоящим делом призаймемся, так удаль-то лучше девкам будем показывать, чем немцу, сурьезному человеку.

Тарнопольские полки
Растеряли портки,
Да в родимый-то домок
Что в портках, что без порток.

Хоть прорыв, хоть и нет,
А нам всё едино,
Не австрийцу, а войне
Показали спину.

Что теперь беспокойно — так это только что война. И всегда война болячкой у нас жила. А теперь нам работа приспела, вот и нужно ту болячку извести. А то не поработаешь.

Коли кончать войну с умом, так не за чужим горбом. Сами кровь лили, сами и помиримся. А не на бумагах разных.

Как по дому я скучаю,
Дождался теперь случаю,
Жизнь — свобода у окна,
Не нужна война.

На солдатску спину
Царь войну надвинул,
Воевать нам неохота,
Коль теперь наша свобода.

Как солдат воевал,
Царю славы добывал,
А как сшибли мы царя,
Так чего нам драться зря.

Что это, право, за свобода такая? Кто, освободившись, чужих людей подшибать станет, ничего для нас не вредных. Нет, до свободы еще не близко, доделывать надо.

Сказывают, приехал будто ктой-то из-за границы и говорил, что, мол, это за судьбы перемена, коль войны не кончают. Не все ль нам едино — царь али свой брат на убой гонит.

Да кабы было за что, чего не потягаться. И смерть не страшна, как судьбу отбиваешь. А что нам немец за враг? У него и изба, и интерес свой от нашего далеко.

Нехорошо, братцы, на местах этих без дела сидеть, домой пора. Вон и мясник на бойне не ночует.

Ничего-то мы у немцев не забыли, чего нам драться? Хороша война не для простого человека. Нашими ручками да для бар штучки.

И пушку домой веди. Первое дело — для войны машинок не будет; а второе дело — дома пушка-то, пожалуй, понужнее станет, это тебе не немец.

Чтой-то, братцы, хочется,
Чтоб война покончилась,
Я домой поворочу,
Пулеметик захвачу.

Ты постой-ка, пулемет,
У крестьянских ворот,
Немцев не тревожи,
А господ построжи.

Не пойму я, братцы,
Чего с немцем драться,
Лучше бы обухом
По толстым брюхам.

Ну, пустят нас по домам, ну, пошли мы. А как немцы-то войны не кончили да за нашими за пятками на дома наши навалятся. Вот с того мира ждать, а не дуром валить.

Как немцам хлопочется,
Воевать не хочется,
За немногим дело стало,
Посшибайте генералов.

Вы немецки Морицы,
Чего с нами спориться,
Мы вот в этот самый час
Отпускаем с миром вас.

Я теперь ни в жизнь воевать не стану. Как только сказали, начальство не очень для вас важно, так так я врага полюбил,— всякую его обиду жалко.

Не нам одним мир-то надобен. Вон и пленные всякие по домам запросились, про свободу услышавши. А им: погодите, мол, мира еще нет. А бабам-то нашим каково без мужней головы со свободами обращаться. Трудно ведь с непривычки.

Уж чего мы ни пытали,
Даже в шею царю дали,
Уж мы эдак, уж мы так,
Не скончать войны никак.

Надавали мы царю
За плохие свойствия,
На митингах говорю
С большим удовольствием.

Помирились бы давно,
Да начальство-то г.....
Уперлися идиоты,
Не примают мирной ноты.

Как теперешний солдат
Он не хочет воевать,
Стала жизнь свободная,
Война неугодная.

Стыдно-то стыдно, да не больно, видно. Все, как один,— все домой хотим. Чего у тебя отнято? Бить-то не за что, а дома дела стожища, вот и пошли.

Я вон совестливый, а как стали меня уговаривать воевать дальше, да слезно уговаривали, родину, мол, гублю,— не поверил, не пошел. Я привычен про войну знать, война всему самая гибель и есть. Не уговорили.

Боятся, много нас здеся. Потому и на позицию гонят, чтобы немец наши силы разредил.

За границей рабочему человеку тоже не сладко. Скоро и там войну бросят, как своих-то сидней свалят.

Не звони, Керенский, звоном,
Не хотим твово закону,
Ты не разговаривай,
С немцем мир устраивай.

Вы, молодчики, хваты,
Солдатские депутаты,
Коль вы кровные нам братцы,
Не гоните с немцем драться.

Приехал один такой, не военный. Вздел пальтишко на пиджак да и думает, что он не дурак; а эдакого дурня и в бане видать.

Не езжайте, баринки,
На войну сговаривать,
Как хотят большевики
С немцем мир устраивать.

Как военный комиссар
На позицьи посылал,
Сам воюй, коль больно храбрый,
А нам в руки цепы-грабли.

Ночью проснусь, сяду, а руки просто горят — до дела рвутся. Куда уж тут воевать...

Наша така воля —
Воевать довольно,
Дома дела гора,
По домам пора.

Мне одна свобода —
На дому работа,
А Керенский депутат
Не велит домой пускать.

Один приезжий, сразу видно, дельный. Идите, говорит, отсюда, только порядок держите, ничего не разоряйте, своего брата депутата слушайтесь, от господ подальше. А войне конец.

В городах полиция
Без пользы держалася,
А у нас позиция
Без пользы осталася.

Комиссары по лесам,
А солдаты кочками,
Повоюй-ка, братец, сам,
А мы кончили.

Наплевали на амбицью,
Растеряли амуницью,
Хоть приставь Дума полицью,
Не вернемся на позицью.

Уж так-то мне лестно,
Что я стал известный,
Воевать арчатился,
В газетах зазначился.

Ты на месте не сиди
И к знахарю не ходи,
Ты окстися раза три
Да с позицьи и дери.

Начальствам по заднице,
А не видно разницы,
Красный флаг качается,
Война не кончается,

Как военный депутат
Уговаривал солдат,
А солдат серчает,
Воевать кончает.

Напекла нам бабушка
Сдобные калабушки,
От свободы обсытели,
Воевать порасхотели.

Коль настала революцья,
Жить народам без господ,
А солдатска резолюцья —
По домам чтобы поход.

Как, бывало, пушка бахнет —
Во мне сердце так и ахнет,
А теперя эта пушка
Будет детушкам игрушка.

V
О НАЧАЛЬСТВЕ, ГОСПОДАХ И «УЧЕНЫХ»

Полковнички —
Греховоднички,
Не заступятся теперь
И угоднички.

До дому спешу,
Полну шапку ташшу,
А в той шапке бабам тряпки,
А начальству по шишу.

Как простой народ
Усмехается,
А начальство сидит
Злопыхается.

Размазывать тут нечего, всякий знает, какой он от начальства страх был. Коль не бьет, так кислым глазом донимает или словом язвенным. До смерти я их боялся, притаясь живал.

Хуже не было ласки барской. Стоишь перед ним не свой, он шутить готов, да кабы давал отшутиться. А то словно он на престол, а ты рожей об стол. Обида, бывало, распирает.

Отшучиваться не приказано нам было. Стоишь — от ухмылки скулы гудут, в кулаке словно мышь зажата, аж щекотно.

Отшутился я как-то, так хама получил, и в другую часть перевел, чтоб ему на голову не сел с отшутки-то.

Со мною добрый был, всему обучил: не бояться, честь свою понимать. Все это помню, а начну говорить — сейчас вокруг себя плохое-худое выискиваю; счеты, видно, сводим.

И выходит на тех счетах — им с нами вовек не расплатиться. Целыми гнездами до исконных дедов нас в черном несчастье держали. Что теперь ни отдай — всего мало.

Меня нужно при врагах приставить. Я врага сразу по глазам узнаю и спуску ему не дам.

Опоздал ты малость, тебе бы в фараонах царских послужить было. Наш городовой, бывало, все грозится. «Я,— говорит,— по первому взгляду революцию в человеке вижу. Вскинет такой глазом, а я ему — пожалуйте в участок».

Не звони, поручик, шпорой,
Эполеткой не свети,

Солдатня ступает скоро
По свободному пути.

По свободному пути
Поручичку не идти,
Для свободной для дороги
Жидковаты твои ноги.

Не то он радуется, не то боится чего. И то сказать: не по-нашему он в новую жизнь вступает. Один у нас с ним хлеб, да до сего времени без нас тот хлеб ламывал. Как бы теперь в кусочки не пойти.

Усики у него черные, до того франт — весь светится. Что ноготки, что головка в маслице. На песок через платок садится. Посадим мы его теперь голым задом на ежа, пусть привыкает.

Мало кто пригодится нашему брату, разве детей колыскать. Так и того доверить нельзя; они наших ребят куда пониже щенков оценивали.

Загудело за вьюшкою, ухо приложил, слышал, будто есть теперь такие, что господам мирволят, по доброте, что ль. И ихнюю ученость похваливают. Так вот слова мои: ничего нам от них не надобно, а даром их держать негде. Решеточки ковать некогда, насчет ученостей — так ты погляди, чему их та ученость выучила, кроме как чужой век заедать.

Офицеру теперь одно дело осталось — солдату угождать. Верить ему не можем, жалеть его не за что, а угодит ли с непривычки — очень еще не знаю.

Самый главный комиссар
Нам цидульку написал,
А по той цидуле —
Офицерам дуля.

Я, говорит, ни минутки теперь здесь не останусь. Поедет будто в Питер, а оттуда приказ получит и опять будто к нам, новой жизни обучать. Сразу и уехал. А мы здесь без него в недельку разобрались, что нам из на-

чальства даже праведники не ко двору. На готовое приедет, да не вернется, верно,— там барам повольготнее, говорят.

Наущают нас — это что говорить. Сами-то мы немногое знаем. Только нами кругом сговорено: барам теперь не верить. Вот так-то худу и не быть.

Зубами скрипит, по лицу пятнами, а улыбается. И то сказать, многое у ихнего брата поотнимется, почитай — всё.

Ты с него одежку сдерешь, голым задом на битую дорожку усадишь. А привычек вредных он не лишится. Эдакой до теплой лежаночки и нагишом доползет.

Не из-за чего другого, а из-за науки их поберечь следовает. Не все у нас дела знакомые будут. А наши-то еще не скоро все ихние тайности узнают. К им прибегать придется.

Чудно мне. До этих самых дней, как на образ, бывало, на ученого человека глядел. С того моя перемена, что не вижу я для них добра в новой жизни. А силу ихнюю знаю.

Не знаю я, уж и верить ли таким словам, что самые хорошие и те для нас ядовиты. Какую помощь оказывали. Этим я до конца верить стану.

А вот ты поставь-ка такого-то святого перед себя, а сам на его перинке понежься. Тут-то и увидишь, что они только с баловства всякого и добры-то бывают.

Коли не сладко ели, не мягко спали, так ученьем козырялись. А коли мы у них и эту вышку отобьем, быть им с нами во врагах до краю жизни.

Наш народ набольшой —
Купцы да начальство,
У него за душой
Пузы да бахвальство.

Наш народ наменьшой —
Мужик да работник,
У него за душой
Обо всем заботник.

Тихо в сторонке стал, глаз горит. А потом, словно выстрелили им, прыгнул, истошным голосом кричал: «Не упустите врага!» До сердца обидами прожгли. Через этого человека мы и убили. Как его, такого-то, не послушаешь, коли в нем всякая кровинка кричит.

Чего и слушать-то, коли толку не ждешь. От дедов жизнь наша каторжная. Зря болты болтать о таком, только сердце докрасна, ни к чему. Теперь же видать, что ошиблись.

Как так думать, так до веку перегноем под ихними огурчиками полеживать.

Хотел бы я и святых других, для звания детям. А то вон я Николай, и сволочь наша тем же святым опекается. Неохота мне на том свете с ними у крестненького проживать.

А ты попроще святых выбирай, чего под Николая преклоняться. У нас вон Софроны да Пантелеймоны. Они таких имен не любят.

Вы ступайте, баринки,
Поопасливее,
Свои светлые деньки
Поотпраздновали.

А я думаю, устроят по-хорошему жизнь, никто работать не станет. Ты на бар погляди: жизнь ихняя разлюбезная, ничегошеньки не работали. А в охоту-то только на себя работа, такой всей земли не прокормить.

Спешит денщик,
Самовар бежит,
На перинке офицерик,
Словно барышня, лежит.

Самовар ушел,
Целый полк пришел,
Офицера денщичок
Под кроваткою нашел.

Сидит весь белый. Я, жалеючи, тихонько фуражку в руки да было за дверь. А он мне: «Постой, ты,— говорит,— теперь враг мой, если станут убивать, стрелять не буду. На вот оружие»,— и револьвер отдал. Смотрю, и карточки поснимал. И жаль мне его, и как звать-то, кроме «благородия», позабыл. Так молча и ушел.

Мой здорово сперва побушевал, не поверил, что ли. А потом заплакал и ушел. Вот вторая неделя нет его. Видно забили его где-нибудь.

А наш с газетой прибежал, веселый: я, говорит, рад больно. Мы было сперва-то и поверили, все с им делили. А потом из других частей посоветовали, и мы и убрали его, засадили до поры. Хороший-то хороший, да все кровь чужая.

У нас двое было, чисто быки, мясные такие да грубые. Эти как узнали, что царя нету, так уж матюшили сперва, матюшили, а потом перепились боровами с горя. Мы их и заперли до просыпу. Куда нам таких в новой жизни, и не придумаешь, самое злое в голову лезет.

А я теперь такой радый, ни на кого сердца не держу. Был ты зверь, да не то, мол, теперь, не страшно.

Как бы отдохнувши, силы не посбирали. Ты не больно мирволь, помни, как они с дедов над нашим братом изгилялись. Все бы ихнее семя извести.

Прицанять бы нам, братцы, ингушей на господское стережение. Эти привычны, не умягчишь.

Зазвонили во все звоны,
Зорьки засветилися,
Офицерские погоны
С плечиков свалилися.

Вчера, как мимо своего-то проходил да как вспомнил про евойные обиды, так так бы и убил. Удерж мне нужен, а где он теперь...

Поспею, мол, еще ребра-то перещупать, а потом как подумаю: вдруг все на старое обернется, а я и обиды-то своей не выплачу,— тут и звереешь.

Еще никто меня тут не обидел — так разве в этом толк? Главное, хорошего от них ждать нельзя. Все больше о пустом пекутся, для себя. А наш брат и на свет-то выпущен барску их постелю стлать.

На дороге тарахтит,
Генерал в возу пыхтит,
Обижают генерала
Комитетские орала.

Редко такой человек знающий из простых. Он с дедов горе наше считывал. Господский-то сын, как его ни учи, одного не позабудет — что у него кожа нашей побелее.

Очень я студентов любил: сам голоден, сам нищ, а воробья веселее.

Как тот воробей оперится, в чиновники выйдет, бывало, расклюет он твое же добро по зернышку, не чирикнет.

Теперь только бы по-хорошему, всем миром, порешить, что наше. Я так думаю, что, почитай, все у господ поотобрать придется.

Книги, вещи хорошие и даже музыку — всё отдадут. Кажную нитинку простые руки сучили. А что ихняя

указка была, так ведь и кнут ихний. А за науку они со всего сполна свое получили, порадовались.

На море Каспийском остров есть небольшой. Волга намела. На острове для рыбалок господа бараки всякие устроили. Кругом и море, и реки, и гирла самые великие, и просторы легли — пораскинулись. А у рыбалок не продохнуть, только и воздуху, что дохлая рыбка пооставила, а уж господской заботушки на этот предмет не видать.

Серый наш солдат говорить не мастер. Привычки нет. Мы всё больше про начальство, а начальство-то позади: вот мы и выучены задницей гуторить, а язык-то наш словно на дегте вывалян, не отлипнет.

Очень было неудобно. Стал он вроде как прибиваться, стал нас, сукин сын, братцами звать. Это он, чтобы выбрали. Ну нет, эдакой-то об нашем брате одно узнавал, у кого зубы крепче, кулаку больно.

Я на начальство не обижался, что оно понимало. Как его учили. На взгляд-то будто и всему, а на разум — так ничему путному. Только и науки его было, как сапоги чужой рукой чистить да тою же рукой на войне со смертью грешить.

Ты только допусти господ — опять водку дадут. Плыви, мол, народ, по морю по винному от нашего от берега подальше.

Не обо всех так понимать нужно. Теперь каждый рад за свое постоять, никому не уступим.

Хуже не было холеры,
Как штабные кавалеры,
После революции
Так еще полютели.

Начал я, братцы, страх будто терять. Ты не смотри, что у меня Георгий, в бою страх ненастоящий. А вот как, бывало, после бою оглядишься — начальства страшно. Всегда на нем тебе обида, словно яблочко спеет. Кто его знает, когда оно с ветки-то да на твою голову.

Как встали в ночи, все разом бежать, а от чего — не знаем. Прежде думалось: скажут, что когда надо,— брюхо там под пулю али спину на штык. А теперь начальству-то не до нас. Вот и бежишь, на себя-то не больно положишься без привычки.

Как немецкое начальство
Толстозадое
На российского солдата
Подосадовало.

У него лицо чисто чертов ток, глаза линючие, а дело говорит. Все, говорит, нужно к своим рукам прибрать, с войны уйти, начальство снять, а везде свой брат. И никому образованному не верить. Так и жить.

Враг-то нашими жилами пообмотан, не доторкнешь. Чужая жила крепкая одежда.

У нас баринок был, земский наш. Какими бы словами его назвать — не придумаю. В самые последние дни, почитай, в зубы бил. Думаю, прибьют его насмерть. Такую гадюку средь хорошей жизни пустить грех: ужалит.

А будет такое, что не по силам неученому. Вот тут и придумывай: самим не справиться, а ученым верить никак не след. Им наша-то свобода только в басенках родня.

Куда барин — туды и ты. Просто ни на минутку от него не отбивайся. Не доглядишь — нору пророет, вся твоя изба — да тебе же на голову.

Баре редко животное томили. Промеж барами да животными наш брат рабочий на оттяжке стоял.

Первое дело — сладко ел, мягко спал,— ему желчь нечем кипятить было.

Весь я у него в кулаке: сожмет — изо всего моего семейства кровь выточит.

Вот есть такие философы — велят душу попрятать, обидой не обижаться, самим с собой удовольствие получать. Эдак хорошего не дождаться. И от думок таких только что хилеют, вроде как самому без бабы любовью призаняться.

Здорового не жди. Нет, как кто тебе на голову — ты того по шее. Пусть философы терпят, им в тепле да холе всякое перетерпится.

Нас до теперешнего не философы довели, мы их и не видывали. Немец нас войною довел. Смерти повидали, и на жизнь поглядеть захотелось. Вот и вышло.

Эх, малина-ягода,
Лесная, душистая,
Не на час, а на годы,
Господ пообчистили.

Мы-то дикие люди, а ты бы, господин, походил бы по-нашему, по-дикому, с нищеты, голенький, да душу-то свою господскую через наше дикое-то житье пропустил бы, не такие бы еще грабежи да убийства устроил.

Мы добрые, мы вон и тех не бьем, что по нашему телу живому, словно по мосточку, на веселые бережка хаживали.

А вот как с людоедами будет со всякими, неужели Страшного суда ждать. Думаю сами поразберем.

Не в такое, брат, поручик,
Теперь времячко живем,
Чтобы всякий белоручка
Изсосал солдат живьем.

Порешили целой ротой
Офицеров на работы,
Чтоб не было опечатки,
Поскидайте-ка перчатки.

Кто как, иной за скота, другой за цацу считал. А какие мы есть настоящие, то им не по глазам было. Теперь очки понадевали, да поздно.

Теперь по-иному надо. Это кто под ногами, тот и в пятку зубами. А коль на ноги стал — добреть стал. Теперь господ попригнули, их и побережемся, а нам с горы-то виднее.

Так-то мы мягчим, мягчим, как бы не промазать дело. Как враги стакнутся, по старой путине толкнутся — тут костей не соберешь.

Ишь ты, дитятко беспомощное. Борода лопатой, а ума кот наплакал. Недаром вас, таких-то, начальство всё от зубов очищало: что это, мол, за спеленыши со зубами,— да и хрясь.

Каземат Равелин [1]
Большой был господин,
Была там прежде грязь.
Что ни голова, то орел да князь,
А теперь там чисто,
Сидят царски министры.

Уж и тот толк — переполоху большого понаделали, из перин вытрусили, косы да штучки разные пораскидали. С год сытая братия помнить будет, так и то дело.

Офицерик-лежебок
Стонет голубочком,
По камешкам без сапог,
В шелковых чулочках.

---

[1] Имеется в виду Алексеевский равелин (часть Петропавловской крепости), служивший при царизме тюрьмой для революционеров.

Горды они больше амуницией. Теперь все эти погончики да бантики приотменятся, и они спеси поспустят. Кабы не об штучках всяких они пеклись, не так бы их легко свалили.

Как повели под арест генералов, здорово мне чего-то стыдно стало. Не то, что таких нежных поволокли, а то, что эдакую-то гниль мы по сю пору покоили.

Бубнит чтой-то себе под нос, думаю: неужто ему свобода не по душе? А как глянул я на ручки его белые, на фиксатуары разные, и прояснило. При нашей-то свободе не гореть ему больше голенищем.

А я так и не рад, хотя, конечно, лестно, что без начальства. Только жду, когда свой брат в начальство выйдет, заботился чтоб.

Чики-брыки, так и быть,
Нам начальства не забыть,
Живы будем — не забудем,
А умрем — с собой возьмем.

Закурил я папироску, ноги заломил, а его перед себя поставил, на него бровью грожуся. Стараюся по его делать — не выходит. И этому делу долгие годы учиться надобно.

Сам бьет, сам и радуется. Только и слышно, бывало: ха-ха-ха да хи-хи-хи... Теперь призатихнут...

Уж там так ли аль не так ли,
А хорошего мы ждем,
Офицеры пообмякли,
Будто куры под дождем.

Съездил он, вернулся — не узнать. Не то что не лается, а глядит на тебя по-иному, просто сказать — как барышня на нас щурится. К себе зовет, книги дает. Поверите — «вы» разок сказал. Цельную я ночь не заснул от удивленья.

С войной мы порешим на этих днях, поэтому и не глупо офицеров убрать. А кабы на всю жизнь война, так не все разве едино, кто над тобой такую муку делает.

Поменялися местами
С нашими злодеями,
За начальство стали сами,
Пользы понаделали.

Заскулят теперь белоручки, заохают. Даже вшей самим вычесывать придется.

На моей памяти, так только пиры пировали, а мы на ржаном квасу пухли. А при отцах, дедах так просто кровь крестьянскую нашу под розовые кустики лили. Пусть-ка наши дети на эдакие памятки не любуются. Дочиста снести надо.

У богатых все по-иному шло. Мальчонок учат хорошо, хоть и не настоящему. Однако выучивались очень охотно на простом на человеке верхом ездить. А барышни одному рукодельицу учивались — до поту хвостом вертеть.

Теперь у нас вещей много будет, а в счете мы не сильны. Ученые вон как считывали, звезды в небе на счету держали, а и то не сберегли.

Уж и не знаю, учить ли. Наши баре до нитки всё выучили, а до того себя довели — последний золотарь над ними теперя измывается.

С пеленок за книжкой, с переуки до затылка облезли, а что с них вышло? Чина, так и то не сберегли.

Омозжавелились они от баловства разного, вот и не берегли. Мы-то поцепче будем, не вырвут.

Был он чудак, вроде как юродивый, а в сертучке.

Ел он постно, спал жестко, все его на простоту тянуло. А из всех ихних нежностей только книжки любил.

Лотошился муравей сколько-то ден, а потом охнул, кругом себя желчью намочил да и лег на солнышко брюхом: пусть, мол, теперь другие поработают, а я мир устроил. Старатели.

Товарищи прикатили
На штабном автомобиле,
Про свободу рассказали,
Всем начальствам отказали.

Дадим барам порцию
Во свою пропорцию,
На колу нам тесно,
Отдавай, брат, кресло.

VI
ВЫБОРЫ И ВЫБОРНЫЕ

Коль мозгами шевелит,
Это будет большевик,
Коли мозгу вовсе нет,
Прозывается кадет.

А который выбирает,
Вовсе партии не знает,
Ему партьи все едино,
Только б войны прекратили.

Всему начальству штаны штопал, слова от него не слыхали. А теперь самый у нас первый говорун, «мы-ста да вы-ста». А если дело понять, такого выбирать не за что. В подполье-то и мышь геройствует. А ты нам таких выбирай, чтобы и при коте не потели.

Вон повыбирали больших людей, образованных,— один путей сообщения, другой земледелия, тот торговли, тот финансы. На все страны известные люди. А наш-то мужик: сам и дороги торит, и землю строит, и торговлей займается, и суд чинит, и войну ведет и с женой и с соседями, а теперь и с немцем. Один за все за правительство отвечает.

Повыбирали мы комитетчиков, а кто их знает, какие они за нас ходоки. Вон, говорят, в Питере один такой от солдат царя назад просил. Всем бы народом глядеть.

Ох, и тошно мне, дружочки,
Комитет обуза,
Полсапожки на шнурочках
По самое пузо.

Комитет болтается,
По всем фронтам шляется,
Лучше б бар не корчили,
Скорей войну скончили.

Слышать противно, как лодыри теперь рассуждать приучились. Поставь такого-то в управление,— коли добер, так, по себе судя, работу похерит навовсе; а коли зол тот ледащий, так кого ни то в палачи произведет, а сам глаз заплющит да на бархатах новых и разоспится.

Ну и мы не дураки, людей-то различать можем. По этому сомнению книги будут выпущены особые, в тех книгах большой урок будет: каких людей в управление выбирать.

Я сны теперь стал видеть особые: будто я всех рассуживаю или землю да дома отдаю. И так будто это с прохладцей, что теперь, думаю, и в яви не потеряюся.

Ты от меня голоса не жди, не выберу. Мой голос за того будет, что, от дела отвалившись, и снов с устали не видывает.

Уж ты Митя-Митенька,
Не ходи на митинги,
Как нам неохота
За тебя работать.

Невдомек мне: вдруг выберут за приятельство, характер хороший. Я же все в уме держу, а ум-то чужому уху немой.

Батюшки, матушки,
Спелы груши, виноград,
Как поехал ваш сыночек
Депутатом в Петроград.

Барышни-красавицы,
До свидания,
Как сижу я во дворце
В самом здании.

Уж так-то я рад,
Выбирают в Петроград,
Уж я там, мальчишечка,
Буду князя чище.

Им хорошо: самые важные дела делают, свободно туда-сюда разъезжают. А нас небось целой-то частью в Питер не пошлют. Вот мы и снялись сами.

Из простых многие теперь в лодыри подадутся. Особенно, которые говорить горазды. Слов нет, ихние разговоры на пользу; да только языку работа минуточка, а в одну такую минуточку на всю жизнь руки нежнеют.

Выборные которые уж и теперь за разговорами на труд времени не имеют. Пока-то только, что себя запускают, а чужими трудами не живут. А вот вызвонят языком места хорошие, как бы тоже немых людей не пооседлали.

Депутат надежа
Слова бабие,
На войну бы сам пошел —
Брюхо слабое.

Забубенная головка
Ты, солдатский депутат,
Язычком-то чешешь ловко,
А до дела так не рад.

Я некоторых теперь очень уважаю. Не пошли в выборные, с нами остались и пустякам не учат, а всё наиглавному — чтобы судьбы своей в чужие руки не отдавали.

Что-то не припомню, чтобы наша деревня в Думу выбирала; может, в ту Думу повыбраны мужики только

богатые; такой нам Думы ненадобно. Надежды не имеем, нам свою подавай.

Думе не верит, там, говорит, каторжники есть. А и всего-то там и ладного, что с каторги. Те хоть не холены, нашу тугу видят.

Не даю я, братцы, веры
Петроградскому эсеру,
На войну смущает,
Землю обещает.

Эти, что в Думе, люди настоящие. Один за ними грешок есть — помещики все. А помещику до мужика рядом не стоится. Все через управляющего дорога.

Насажали в Думу бар,
А нам баре тот же царь.
В Государственную думу
Насажали толстосумов.

Эх, ты Дума-голова,
А мозгов не видно,
Приказала воевать —
Солдату обидно.

Теперь много здесь проявилось людей подходящих. Эти на сладкое не ласые. Всё до конца раскусили, никого, кроме рабочего человека, у власти не захотят. Этим верю.

Стану я голосовать,
В учредильню выбирать,
Выберу товарища
Со нашего пристанища.

Здесь война покончилась,
Господа покорчились,
А солдатский депутат
По домам ведет солдат.

Я тому теперь поверю, кто мира даст. Рядом-то с войной всё обман. И то и се, а самое-то главное напоследок. Этаким-то верить не приходится.

Депутатик-большевик
Самый лучший боевик,
С немцем не воюет,
Других врагов чует.

Ах и ох, не дай бог,
Агитатор без зубов,
Вкруг солдата кружится,
А с начальством дружится.

Наварила баба щей,
Соли недосыпала,
На солдатскую на шею
Офицеров выбрали.

Почну щеголять,
Сапожки дерутся,
В комитет поручички
Нипочем берутся.

А намедни в Станиславов
Сам Керенский приезжал,
Ему иужно войны, славы,
Аж от жалости визжал.

Ты не слушайся, ребята,
Приезжего депутата,
На войиу ои нас зовет,
А сам в Питере живет.

Эх, какого бы министра
На финансы посадить,
Больно на руки нечисты,
Как за ими уследить.

Царские министры
На руку нечисты,
Мы на русскую казну,
Мужичка дадим Кузьму.

Как простой-то народ
К рукам казну приберет,
Покатятся рублики
По рабочей публике.

За сохою ходил,
На войне геройствовал,
В депутаты угодил
За хороши свойствия.

Принимаем всяки меры,
Чтоб не выбрать офицера,
Думай эдак, думай так —
Офицер солдату враг.

Как на свете лучше нет
Как фронтовый комитет,
Каждый комитетчик
За солдат ответчик.

Постыдитесь, ребятушки,
Не ходите франтами,
Вы не прежнее начальство
С эксельбантами.

И чего ты, депутат,
Все корячишься,
Коли хочешь воевать,
Чего прячешься.

Эх, товарищ-выборный,
Стал ты нам невыгодный,
Язычок болтается,
Война не кончается.

Депутатики
Говорливые,
А солдатики
Все трусливые.

Выбирайте, братцы,
Кто во что горазды,
Хоть и выберете зря,
А не будет злей царя.

VII
ЧЕГО ЖДУТ, ЧЕГО ХОТЯТ, И ОБ НАУКЕ

Коли станет топор,
Словно девица, добер,
Не ждать с того топора
Ни работы, ни добра.

Я думаю — обидят нас. За себя мы стоять только что сгоряча умеем. А простынем — и обидят. Себя на наших трудах устроят. Рубит, мол, топор лавку, а сам под лавку.

Не то мы темны, не то мы буйны, а не жду я мирного житья. Как бы нам, с войны вернувшись, между избами бою не устроить.

Теперь я перво-наперво хочу поспать. С трудов маленько отдышаться, попить, поесть вдосталь. А потом красоты затребую и чтобы люди друг дружку уважали.

Теперь опять вот учат: труды, мол, радостны и отдыха желать не след. А мне одна радость: труд с плеч сваливши, за всех дедов-отцов отдохнуть, отлежаться.

На одно я теперь в надежде, что заметил я: труд не в труд, коль на свою пользу работа. Теперь такое время. А прежде, бывало, от работы зубом весь болишь, а вся твоя польза по чужим мошнам.

Залюбим труд, как кругом свои да братцы жить станут, а не дармоеды стародавние. Как на родное семейство работать станем.

С войны вернувшись, думаю, всякая кобыла в хомут копытом. Шеи не сунет, нет. А уж мы-то. Вот тут и работай как знаешь.

Думаю, устроим жизнь по-иному, и животному легче вздохнется. Нас отпустит, и мы поотпустим. А то срываем все болячки на рабочем коньем хребте.

Долго еще по-старому жить будем. И нищи, и неграмотны. Только, коли уж вытянули мы головы из-под барской задницы, назад ее не сунем, нет.

Ведь вот я и не знал раньше, как хорошо живут богатые. Здесь вот стали нас по чужим домам становить, я и нагляделся, до чего хорошо и сколько всяких у них вещей на полу и по стенам, и даже насквозь вещи дорогие, лестные и очень ни к чему. Теперь и я так заживу, а не с тараканами.

Чего нам на господ удивляться, коли свой брат, простой, от нашивки там какой-нибудь — просто на нас

волком кидался. У господ же не одни нашивки глаза мутили.

У нас и к картинам тоже способные есть. Только не про то писывали. Вон у нас Алешка богомаз, так у него бывали святые хоть ликом и темны, зато глазом по-живому зорки, ажно страшно.

Некогда нам было все эти красивости делать. А теперь так и ни к чему, ихнее позаберем.

Я прошу в театре показать, как мы прежде жили. Всё эдакое. А то в новой жизни старое перезабудется, и не поверят дети наши, какому мы Горынычу голову посносили.

Мне не обидно за старое — было и было. Только вперед с собой такого обхождения не допущу. Коли придется, лучше в омут головой.

Вот тоже ходят по домам, ровно пекутся о людском покое; а эти ходят да часы разные за собой уводят. По этим людям хорошего трудно ждать.

Чего теперь шептать: повернем мы пушку на соседний хуторок, по помещичий хлебок.

Прибери, солдатик, пулю
До другого разу,
На мужицкую войну
Дожидай приказу.

Теперь коли и быть злому, так с плохого ума, а не по корысти. Нет царя, нету и прихвостней. Строй избу семейную да и работай миром.

Вот так-то и поразделятся теперь: кто устал, грязь разводить стал, а кто силой богаты, те грязь-то лопатой. Вот этак-то и передеремся.

Как бы не передраться, да не очень в равных силах. Кто постарше, тот и послабее, ворошить-то и не хочется. Молодни же в народе сколько угодно. Эти подымут суету.

Кабы седой был али брюхо по колени, а то мужик ты в самой поре и поджарый. На кой тебе печка? Потолкайся, брат, плечиками, авось детям легче будет.

Пока что только язычком работают. А вот войну кончат, по разным местам разбредутся, всякую пересадку сделают — все и сдвинется.

Раскипелся самолет
Пуще самоварища,
Как наш летческий народ
Никаки товарищи.

Высоко летчик летает,
Никаких забот не знает,
Самолет по небу вьется,
Над пехотою смеется.

Приспособим летчика,
Хорошего молодчика,
По солдатскиим по планам
Потрудиться еропланам.

По всем заграницам
Полетит он птицей,
Там перебратается
Да до нас вертается.

Только добывать вместе, а уж беречь — так только в своем дому, для семейства.

Что мне за радость со всеми добро делить? День хорошо, два хорошо, а на третий захочу без помехи дорогим любоваться. А тут-то и запрет. Куда лучше: хоть и плохо, да свое.

Ровно ворона, туды зырк, сюды зырк, да дырявую жестянку под задницу задвинет и думает: ах, сколь я богата!

Коню чем узда короче, тем он красивее шею гнет. А человек в укороте горб растит. Потому мы и невидные такие. Погоди, теперь выпрямимся.

Ты не гляди, что я в плечах широк. А осанки во мне нет. Из господ на воле всякий хлюст тополем растет. А мы всё в наклон. Теперь очень покрасивеем.

А ты в зад подушку, в чуб перо кочетино — раскрасавицей прогремишь. Есть в чем завидовать.

Подтяни, товарищи, пояс,
Про утробу беспокоюсь,
Стали мы свободные,
Станем мы голодные.

Эх ты, книга, барышня,
По богатым шлялася,
Ты покинь, книга, богатых,
Погости-ка с нашим братом.

Для нашего брата книга да работа — пара хоть куда.

Много книжек в городу,
Да мною не читано,
Я себе таку найду,
Наше горе считано.

Конечно, есть такие, что обо всем книжными словами говорят и по книгам всё теперешнее понимают и разъясняют. Только вряд ли они лучше нашего поняли. Мы до всего этого не через книгу — через жизнь нищую добрались.

Мне совсем не нравится слушать про теперешнее, непонятные книжные слова. Слушаешь, слушаешь, а все невдомек — про самое ли нужное говорят; как бы туману не напустили.

Про все можно просто сказать: допекли, поднялись, свое берем, за зло и добро платим полной денежкой, а ждем хорошего.

Теперь наука ни к чему, теперь смелость нужна. Темному-то легче, не страшась да не видя, наше море переплыть.

Ничего ты не расскажéшь,
Хоть учи по книжке,
Частушечка всем покажет
Солдатские делишки.

Всего не переменишь, ни солнца, ни месяца, ничего к старине касательного. Вот и выходит, что человек-то в своей жизни не на все голова.

Голова человек во всей своей жизни. Выучившись, и солнце и месяц повернуть можно. Когда хочешь дождь, когда хочешь вёдро. С науками надо всем твоя власть.

Эдак-то подумавши, всех прежних ученых извести надо, чтобы такой силы против нас не обернули. Только сперва надо у них понаучиться всему.

Учились землемеры, инженеры разные, как бы на нашу пользу. А выходило так, что только нашими трудами перинки свои выколачивали. Сами теперь все науки нужные осилим. Наша будет власть, и казна наша будет. Наша будет казна, и учить нас хорошо станут; а потом поквитаемся.

Не знаю я, где и учиться нашему брату простому, особенно недоросшему. Нам всё внове, всё примем. А ты посмотри, каких округ нас злыдней та наука выкормила.

Думаю, не раньше как с правнуков наших обученный простой станет вокруг себя вреден. Раньше-то не забыть своей туги, и чужая с того видна будет.

Теперь хочу дома все наладить, чтобы покрасивее жить. Картины и всякое возьму, на них дети поучатся.

Учиться нашим детям нужно по-иному, не по-барски. Всякий на свет чистеньким приходит да вот через науку выучивается чужую-то шкуру себе на одежку драть.

Нам наука не страшна. Наше житье такое было, что всякую науку перетерпеть можем.

Когда я читать стал, ничему я плохому не выучился. Нашему разуму плохие книги не понять.

Деды не учились, а добро видели. И живали неплохо. Семью подымали и подати. Жили же, бывало, до ста годов.

Дуб стоерослый и до тысячи годов живет. Так не бывать же человеку дубьем, коли у него кровь в теле да мозги в башке. За деда спина его ответчица, а мы и сами за себя постоять сможем.

Кабы к нашей доброте ума-разума понадбавить, хорошая бы тюря вышла.

Ты читай теперь поболе. Мы дело свое сделали, передышка будет, от века так поведено. Вот ты в отдых-то читай, ума набирайся. В книгах и дерьмо есть, а больше наука.

Теперь книги запрещенные по рукам пойдут. От них всё дело узнаем. Недаром их царь запечатал: правду знали.

Звезды на небе сияют,
Стало людям веселей,
Парни с девками гуляют
На лужочке при селе.

Не зевай, братцы, на месяц,
Звездочек не считай,
Лучше, свечку призажегши,
Нову книжку почитай.

Буду учителя хорошего искать. Эдакие-то мы: не только что строить с толком не сумеем, а и того невдомек, чего рушить следует.

Как в люди отдавали, сказывал мне отец: иди, сынок, в люди, всему учись, больше всего книгам. А людям не верь, кроме человека рабочего. Этот и на смуту позовет — так все для тебя же.

Все теперь можно смотреть, только хи́тить [1] не приказано. Надо бы всякие вещи, очень хорошие, у богатых взять да, никому не отдавши, всему народу показывать.

Думать теперь нужно обо всем, что под рукой. На небо же не заглядываться. Там свои обдумыватели найдутся. Ни им до нас, ни нам до них — всякий на своей земле печальник.

Ты сам устрояй, не гляди, что не умен, книги не знаешь, трудам-нужде с прадедов обучен. Нашему брату такие-то теперь понадежнее будут.

Коли так думать, сгнием в темноте. Ученых ты не гони. Пока их по-хозяйски поберечь надо, от них учиться-то.

Силой свет обойму, умом ничего не пойму. Все — на чужой голове да своим горбом. Этак-то и человеком счесться нельзя.

Пошевелить мозгами можем, жернова-то у нас есть, а вот что на них перемалывать — не выучены.

Мы-то, словно целина черноземная,— всё уродим, только бы сеяли.

---

[1] Хи́тить *(обл.)* — похищать, красть.

Попаду в гимназию,
Увижу разну Азию,
Попаду в ниверситет,
Оглянусь на целый свет.

VIII
О БОГЕ, ДУШЕ, СЕМЬЕ И ЖЕНЩИНАХ

Не думал я, что с царем-то так попросту. Все, бывало, и сказки-то громом грозилися. А вот и вышло. Может, эдак-то и господа бога попроверить можно.

Куда глянешь — всё грех. А теперь начальство на нас без палки, значит, и бог не того хотел, что сказывали. Это еще очень обдумать надо, да времени нету.

Я ли не терпел, не маливал, все на бога возлагал, после смерти за долготерпенье счастья ожидал. Однако в последние часы до того готов был, совсем от церкви отпал, хоть дьяволу душу впору отдать. Теперь я человек, а после смерти не моя забота, я жить выучился.

Ты бога оставь, пусть его себе на небе сидит, это теперь не первой важности занятие. Ты страну нашу присмотри. Только сопливость свою помни, а то ахнешь в министры, так только одной думкой и прогремишь,— ставьте, мол, трактир на весь на мир, всего-то и занятия твоего до сей поры было.

Сидел господь высоко, на людскую тьму глядеть не любил, живите, мол, как придется. Мы и обиделись: ты без нас, так и мы без тебя. И справились.

До чего у месяца лицо неспокойное. Губы скисли, глаза врозь, что про это знаешь. Многие из-за месяца словно не в себе, тревога от него. Видно, судьба у него не всякая.

Словно месяц жабу проглотил. Жучат его, верно. И там не без греха да наказаньица.

Всё в такое время прояснило. Не за грехи наказанья были, а за послушание. Вот теперь за грехи будем наказывать, так то мы, а не бог.

Ежевоскресно меня в церковь водили. Бывало, учадею там, весь осяду, дня три голова болит. Строжили меня насчет веры родители. Только раз ко кресту я сунулся — от батюшки винный дух. Морок, думаю. Потянул ноздрей — и пропала вся моя вера через нос.

А я веру потерял, женатый уж был. Жена к празднику убиралась, икону сронила, а икона пополам... Кинулся я подбирать, аж трушусь весь из-за страха. Поднял, глянул, а в щели той черви. И полезла из меня вера моя, аж тошно. Рвать стал. И с тех пор, кроме доски расписной, ничего я в образе не вижу.

Бабы верить здоровы, бесперечь от монахов рожают. Вот мужья-то и в обиде на веру бабью, а то бы все ничего.

Ходил, ходил по святым местам, всю веру растерял. И не диво, по пути мужичья беда беспомощная. Богу с той бедой не справиться, человечья порука нужна.

Душа да душа, а душа только по жизни дается, как жить станем. Помыкали нами не хуже как тварью бездушной, а вот теперь, думаю, забудем мы и души.

Пошлем хожалых знающих скиты попроверить. Есть скиты, что иноки, словно жеребцы стоялые, ржут да играют. Эти монастыри в кавалерию перегнать, а деньгу ихнюю на корм лошадиный.

Сказать, все переменится, и жизнь слегчим, и учиться станем, и иностранцы уважать станут. А вот как насчет церкви, за кого маливалась, на чьих деньгах строилась,— все иное. Хозяев переменить ей придется.

Думаю, бог ни при чем. Думаю, бог нашими делами и не займается. Думаю, богово дело одно — твари творить и всё творить. А уж жить как, то не его забота, а каждого.

От богов отпадут, кто богов пересилил. Дал ты нам судьбу одну, а мы переделали. Так и проживем одни.

Да и те отойдут, кому хуже стало: за боговой спиной ручки свои выбелили, ан и недосмотрел господь. Очень на него сердце иметь будут, что не уберег.

Бог-то ничего, только доходчики-то наши больно плохи были. Только что грива густа, да ж... толста. А тот же боров. Последнее несчастье презирали, а богу басом ревут да от сытости в алтаре рыгают.

Строгой жизни, всегда постил, милостыню правил много и даром служил, почитали его. Да, видно, никакие они теперя не ко двору. Ну как ему в глаза взглянешь, коли все-то мы присяги сломали? А знаешь, что правильно.

Вот уж сколько-то дней без богов живем, и ничего, будто лучше. И дальше попробуем. А уж внуки-то и знать не будут, какую мы от богов острастку терпели.

Не хочу я без бога жить и не стану. Отменят — я себе своего заведу. Легче как будто, как знаешь, что не на двадцать лет стараешься, а на веки веков.

Заводи бога в кармане, никому не показывай. Мы так и так знать будем, что на веки веков, да не на богов работаем, а для всех людей.

Не выдумали ли еще господа-то, чтобы по закону им на первых местах сидеть,— вот что подумать надо.

Простой народ и теперь писать не мастер. А в старину-то и того меньше. Все эти писания важными людьми написаны. И еще очень неизвестно, по правде ли. А что не на нашу простецкую пользу, так уж это чего яснее.

Может, и Христос-то не плотник был. Насочинили такое, чтобы попослушнее были; свой, мол, брат говорил.

Все кричали «распни», один царь Пилат не захотел. Это тоже как понять: может, он своему мирволил.

И бог, и царь-то, бывало, на престолах в грозных молниях сидят. Вот и держались мы за гнезда насиженные. Ну ее, жизнь-то вольную. Того и гляди, коршун закогтит. А теперь коршунье по клеточкам. Чего теперь человеку в навозе тепла искать, для него теперь и солнышко работает.

Мы теперь, ребята, все как бы бог какой. Сами жизнь сотворили, да еще скорее божьего. Будто бы в три дня.

Теперь надо ожидать,
Что все переместится,
Мужики почнут рожать,
А парни невеститься.

Затрещат теперь семейства. Не слепить детей с отцом-матерью, мужика с женою прежнею. Выйдут на новую жизнь одинокими.

Все теперь такое будет по-иному. Не мила стала — другую бери. И так до трех раз. А коли и в третий раз не мила, больше в брак не позволят. Значит, через гнилые глаза смотришь, коли все не в угоду.

Другое нужно, по-иному. Кто его знает, хорошо ли это еще — на самое укромное связи ложить. Может, оно посвободнее-то лучше будет, коли люди не кобели.

———

Жена нам теперь нужна иная. Чтобы старое не поминала, не клохтала бы над малостью клушкою. А где у нас такие?

Вся-то маета, бывало, на бабе. И житье наше дремучее, и побои-то, и дети-то, и обиды всякие — все на ней. Как бы нам такой бабе геройской новые глаза присадить, лучше бы и не выдумать.

Как для всех товарищей
Наварила мама щей,
Я до мамы захочу,
Перемирье заключу.

А я тебе сказку скажу: была семейная баба и до того семейство свое блюла, что из избы не вылазила. Пока семейство-то поднялось, кругом жизнь стала иная да новая, дома каменные повыросли. А как вошла семья в совершенные лета, изба-то бабина сгнила да семейству на голову и села. Так и Россия, наша матушка,— все дома кашу варила, а Европу и проглядела. Как бы не поздно.

Ах, эти бабы, в ногах путаются только. А теперь-то ее не то что ударить, а и словом зашибить нельзя. Теперь свобода для всякого народа — и жид, и жаба, и мужик, и баба.

Как бабушка Секлетея
Вокруг света облетела,
Всего видела немало,
А такого не видала.

А такого не видала,
Что у нас во Питере,
Как у нас во Питере
Всяку слякоть вытерли.

Стало нам невмоготу,
Сняли слякоть — мокроту,
Вытерли — повынесли,
Сами на свет вылезли.

Теперь, думаю, перерядится женщина в одежду иную. Юбке-то и дела не видно, все больше штаны

работают. А любоваться-то и некому и некогда. Кудри состригут, ножки в сапожки, папироску в зубы,— гуляй через всю землю, не запутаешься.

Эх, как жалостно,
Где ж то видано,
На простой бабе женат,
Невоспитанной.

Женщина у меня будет — цветок роза. Сама светла, платье на ней голубое, голос тихий, вокруг нее чистота, аж блестит, смех у ней голубиный.

Пойди, паря, к вельможе в тягло, может, он тебе под такую кралю, за твое послушание, теремок распишет. На свободе розан-то попримнется.

Вряд ли такой-то бутон с тобой на панели спать станет. А наши дома теперь под фонариками.

Не шлюх же брать, коли нас судьба в такие годы на земле застигла. Вот тут и придумывай.

Нам теперь жена
Образованна нужна,
С прежней женкой разведусь,
С гимназисткою сойдусь.

Коли настоящая за меня не пойдет, на бабе необразованной не женюсь. Потерплю. Выйдем мы в люди, пообтешемся, может, и приглянусь какой-нибудь деликатной. А то к детям лучше козу приставить.

Хорошо ты о матери думаешь. Всякую честь забыл со свободой. Верно, в жены брать новых придется по времени. А я еще больно не узнал, какие лучше.

Кабы крылья прицепил,
Упорхнул бы пташкою,
По театрам бы ходил
Со своей милашкою.

Как надену я тужурку
Да пресветлую,
Полюблю себе Машурку
Да вот этую.

Закручу ус колесом
Горячими щипчикам
Да с милою во лесок,
В кружевном во лифчике.

Зло такая баба, ровно клещ бешеный. На месте прыгает, слюною брызгает. Из-за бабьей мешанины как бы нам под кнут не запроситься.

Разохались бабушки,
Охи-ошииньки,
Как ихние внученьки
Слободнешенькие.

Эх ты, тетка Аксинья,
Пожалей свово сына,
Коли царь не удохнет,
На войне сынок усохнет.

А девок прежде и рожать не стоило. И бить-то ее не к чему было. Дитятей девка хила, не работница. Вырастет — тут бы и запрягти ее в тягло, так мужу отходит. И хлеба своего не отработает. Не любит девок деревня. Как-то теперь станется...

Наши девушки недолго цвели. То с нужды-работы вянет, то с грубости да побоев сохнет. В новой жизни не перчаточки шить, а волю-красу девичью поберечь надо.

Не учили наших девушек господами брезговать. Боятся, баивались, а приблизиться лестно. Вот и гинули. Небось господска барышня с пеленок выучена от простого человека подальше, хоть бы он тебе соколом ширял.

Мы-то тоже девок не берегли. Озорники мы с недоуки да с силы работной. Вперед-то и не глядим, бывало, чего там увидишь. Теперь побережливее будем, как вся-то жизнь перед нами.

Девушек надо учить и уму и красивым разным пустяковинам. Не хуже барынь женки станут.

Вот так-то баб и припортили себе на потребу. А уж барские-то жены и головы-то только под шляпкой носят, ни для чего другого.

Все равно учи не учи, мы себе красивеньких брать будем. Ум в бабе ни к чему. Ум-то и в мужчине есть, да еще и помудренее.

И некрасивых брать станем, коли она тебе товарищ в новой жизни будет да над большими теперешними делами не плакальщица.

Не пойдет за простого такая. Ей беседа нужна и всякая смелость. Чтобы и дело, и разговоры. А то бы такую, хоть бы безносую, взял.

Самая наша расхорошая жена за безвыгодное дело разве что не пиявит. И всё ей пустяки, кроме хозяйского. Всех мы жен переменим, вернувшись.

Моя милая, хорошая,
Рассвободная,
Как нам прежнее житье
Неугодное.

Над бабой особенно барствовали. Грязь уберет, брюхо им набьет, горшки выносит, деток ихних носит, барыню чешет, барина тешит.

Коли все теперь твое,
По-новому говори,
До барышень подкатись,
Может, что и выгорит.

Барышне свободной
Здоровый угодней,
А ихние паничи
Потощее свечи.

Я бар теперь ни в чем не прощаю. Только женщин ихних люблю за деликатность и образование.

Ты это не в денщиках ли на таких дам понагляделся? А сказывали, что барыни чуть не матерно с денщиками деликатничали да даже по щекам поглаживали. Многие зубов лишилися.

Не для тела — для души
Ихни девки хороши,
Долгозубы да тощи,
А полненькой не ищи.

Женился я не больно охотно, гулящий был, а для деревни бабу взяли. Почитай, и я видал-то ее разов десять. Так, заместо скота рабочего прикупили.

Уж как наши бабы
Головою слабы,
Им свобода словно зря,
Зажалели царя.

Уж вы девушки,
Уж вы прелести,
Ожидайте нас домой
В скором времени.

Сидит она под окошком, шьет, а глаза на окно наводит. Зырк — и приманила. У бабы в глазу и невод, и наживка.

Эх, какую бы принаду [1]
Красным девкам положить?
Кабы знать, что девкам надо,
Стали б весело мы жить.

Моя милка на крыльце,
Брови ниточкой,
Я с румянцем на лице
За калиточкой.

Прежде, ух, баб я любил. А с революцией — хоть бы их и не было, всякую не замечу даже. Все-то я думаю, как бы мне теперь какого-нито случая не просмотреть. Не дб баб.

---

[1] Принада — приманка *(обл.)*.

Уж такой я гордый
Дал милой по морде,
На солдатской ты квартире,
Не путайся с командиром.

О бабье теперь с дедушкой на печи побеседуй. А нам теперь не до перины, попроснулись будто.

Кончено бабье дело, нам товарка нужна. И с букварем родить можно.

Коль цари свалилися,
Сразу все сменилося,
Девки косы выстригли,
В революцью выбегли.

IX
О СКАЗКАХ, СЛОВАХ, СТИХАХ И ПЕСНЯХ

За прибаски-песенки
Братишку повесили,
А как петлю затянуло —
Все народы потянуло.

За хорошу книжку
Повесили братишку,
За братишку всем народом
Мы добилися свободы.

Слова сказать боялись, всё присказками. Дела никакого простыми словами не объясним, а сказками про что хошь расскажем.

Присмотрела себе машина хозяина: на, говорит, вот я, пользуйся. И давай машина работать, а хозяин ее умасливать. И так сколько-то времени. Отсытел хозяин, выгоду получил, жирком затянулся,— только и работы у него стало, что спит да со сна пальчиками шевелит. За те сонные пальчики и зацепила его машина.

Прежде я все, бывало, сказки слушать любил,— не сказывай ты мне про жизнь теперешнюю, обрыдла она мне до последней горечи.

О полуночи вылез ему из сена дедок с вершок, говорит: я мудрый, коли кто в праздник спит, а в будни работает, я тому, говорит, веселые времена предрекаю. Быть времени, переместится на белом свете горюшко со счастьем. Теперь спор идет, в каком народе кому жить. И быть счастию в рабочем народе.

Лег у пню, головой к корню, и слышит коний топ, идет под землей конница, такие слова меж собой говорит: лежит, братцы, кто-то такой, к земле брюхом, к нашему следу ухом. Хочет от нас науке учиться, про землю понять. А мы что за учителя? Такой же народ темный, только что подземельные. А и все, как все, что у нас во тьме, что и на небе, что и на земле. Одна судьба — по незнаемой указке жить, со смертью кончиться, ничего не пораскусивши.

В чужих руках была наша судьба призажата. Говорить-то с оглядкой приходилось. А вовсе не замолчишь. Вот мы сказками и перебивались, бывало.

А я сказки и теперь бы послушал, да не сказываются. Так вышло, что и нам наворожили, без сказки.

Двадцать четыре года на свете жил да на все удивлялся. На двадцать пятом разъяснили дела люди подходящие. И было всего-то чуда, что рабочему человеку жилось больно худо. Вот его сказочками-то и баюкали, чтобы глаз на чужие пакости не продрал.

Давным-давно в лесу непроглядном жил и думал обо всем человек. Кругом звери, как родня. Волки и те не обижали. Додумал свое людям в совет, из лесу вышел и в первый же денек в кутузке клопов кормил.

Кто стишочки писал,
Видно, горе не знавал,
Как бы часто колотили,
Не писал бы тили-тили.

Стали мы его книжки пересматривать. Ну просто ни одной стоящей, всё стишки.

Книги нашли у него стоящие, про землю, как пахать и сеять. Были и про пушки. Стишков же, всяких там пустяков, не держал.

Соберутся стишочки читать, про любовь и всякие разности. Настоящие же люди мармеладничать не станут.

Та-та-та да ти-ти-ти — очень складно. Слова непонятные, а дух мягчит. Вроде как мамины заговорки.

Стишки вещь хорошая, коли самые холеные господа ими вплотную займались. Этих на плохое не потянет.

Стишки люблю, завел всякие переписанные. Звонко, где конец. Сразу знаешь, как скажется, не хуже песни. Только непонятно.

Стихи есть понятные, как народу тяжело, про жизнь крестьянскую, про всякие наши тяготы. А где про нежности, так ни к чему. Лучше про это песни играть.

Покажи ты мне такого,
Кто стишки те написал,
Как про горе все до слова
Я б такому рассказал.

На деревне петухи
Горлодеристые,
Прочитал в книжке стихи
Раззадористые.

А я люблю, хоть и не все понятно, а все ни с чем простым не в сравнение. И видно, что на радость и в отдых сделаны.

Нужно себе большую роздышку дать, от непосильного отмякнуть, тогда только и простишь стихом любоваться.

Я стишки царапаю,
По капельке капаю,
Накапаю полну бочку,
Приспособлю с бочку точку.

И не есть то важное,
Что нам не уважило,
Рассолодим солодья,
Раздобудем соловья.

Очень я новые слова полюбил. Только по простым делам не умею я их к слову сказать. Что ни скажу — все мимо.

Эти слова по новой жизни прикроены-шиты. Поверх лаптей не натянешь. А ты старую-то одежку поскидовай, вот и будут те слова впору.

А я вот очень не люблю, как неправильно говорят. Трудно тебе — молчи. А не калечь ты слов таких веселых — «революция» и другие многие.

Это все нерусские слова, уху моему не милые, только шалтай-балтай теперь разводить нечего, и торговаться из-за слов времени нету.

Путаюсь я в новых словах словно в бабьем платье — не привык. А что старых слов не хватает — верно.

Наша речь особая, не на воде пузыри. Ученому же речь наша тяжка; как по месту придется — пудом по темени.

Надо новых слов не стыдиться. Пока они тепленькие, свежие, в дугу согнуть их можно — себе на потребу.

Господа стишочки пишут,
Соловьины песенки,
А солдатская частушка —
Воробьина лесенка.

Воробышек-воробей,
Птичка придомовая,
Как солдатская частушка
Завсегда про новое.

От прибасок-песенок
Стало будто весело,
Прибаски сказалися,
Пятки зачесалися.

Неинтересно про настоящее говорить. Как хорошо ни заживи, а все хуже песни.

Спеть бы песню, да слов новых не знаю, а старые не по времени.

Как наша частушечка
Подобрее пушечки,
Мы от пушки без оглядки,
От частушечки вприсядку.

Эх, частушечка,
Наша душечка,
Что не выпляшем,
Так то выплачем.

С чужих сторон,
Из-за гор-морей
Сорвалась беда горькая,
Война всесветная.
Набралась война всяких пушечек,
Летучих игрушечек,
Важных королей,
Людей без путей.
Расползлася беда по всей земле,
Язвой взъязвилась,
В земли, в житья, в судьбинушку.
Припоставила война по полям народ столбиками,
Начала по столбам игрой тешиться,
При забавушке гинет тысяча,
При шутке-игре гинет сто тысяч.
Нагубила беда, почитай, весь свет,
А всего злее извела русских людей,
Что войны русские охотой не любят.
Тут схватился, опомнился великий человек,
Повелел себе друзей позвать,
Друзей, братьев и товарищей.
«Вы, друзья, братья и товарищи,
По словам моим все сделайте,
Есть я мудрый, неустрашливый человек,
А хочу я, друзья, братья и товарищи,
Войну всесветную миром кончать,
Русским людям новое житье приначать.
Хочу я с чужих сторон домой повернуть,
Мирное житье вернуть.
Только правдою никак мне домой не воротиться,
Ах, пришло нам время изловчиться,
Вы ступайте, купите дубовый гроб,
Вы сверлите в гробу дырья всякие,
Да чтоб было в гробу свет и дыхание,
Питье и питание.
А я в гробу том вытянусь,
В гробу том на русские земли вернусь.
Не пустил меня царь живым жить,
Пустит в гробу хоронить.
А вы, друзья, братья и товарищи,
В сиротскую одежду приоденьтеся,
Надо мной плачучи, со мной ворочайтеся,
На русских землях за нужное дело примайтеся».
По тем словам сталося,
Приехал великий человек в гробу,
Зарыли его утром,
Вырыли вечером.
И пошел он судить-устраивать,
Вельмож смущать,
Простую судьбу умягчать,
Всесветную войну кончать.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Часть первая

I
ВСТУПЛЕНИЕ

Пролетала горлица
Над селом,
Помахала горлица
Да крылом,
Горе-горе птенчикам
Да моим,
Вдвое горе детушкам
Молодым.
    Мои птенчики на крылах
    Витают,
    Молодые на конях
    Летают,
    Птенчики меж ветвями
    Гинут,
    Молодые меж корнями
    Стынут.
Поднялася горлица
Высоко,
Поглядела горлица
Далеко,
Не птенцы то меж ветвями
Гинут,
То не дети меж корнями
Стынут.
    Как набито воронья,
    Намято,
    Накошено ворога,
    Нажато,
    Не закопано его,
    Не захована,
    По полям-полянам
    Побросано.

Шли-то мы как? Без передыху почти. За плечами зверь. Перед очами народ пропадет, если не поспеем.

А снег, а дождь, а болота, а овраги, а топко, а болячки, а тиф? И ни тебе одежи-обужи, ни тебе лекаря-ухода, ни подводки на отдых. Пьешь снежок да болотце, а есть — так хоть болячки грызи, ничегошеньки. На часок приляжешь — в грязь для тепла закапывайся, да и то некогда. Был у меня валенок — отмок, и сошла почти вся ступня болячкой. Это тебе не военное снаряжение, так только за свое дело воюют.

Сам знаю, за что пошел. Вороти камень, коли путь он застит. Нужно идти — своротишь, нужно жить — своюешь. А не своюешь — гноись с детьми и внуками своими.

Сюда пришел по своей вольной воле. Вижу, не дурак,— не жить теперь по-хозяйски. А если уж принять войну, так за свое крестьянское дело.

Теперь только сумасшедшие дом сторожат. И бабы даже не всякие. Теперь дом на слом, сам на конь — и летай вольным соколом по-над родными полями!

На войне был я человек подначальный, не свой. Потом шла у нас на фронтах крутня, одни разговорчики. Тут только языку работа, а у меня язык не сила, моя сила в удали. Вернулись в самую бучу, дома нету, а и был бы — так хоть бы его на колеса ставь, до того все в движении. Сорвало нас ветром да и несет через Расею, может, что и посеем.

Чего-то на прежнюю жизнь не похоже. И не в том все дело, что царя нет, что кнутом не гонят. А в том сила, что самому выбирать себе жизнь надо, самому решать да и идти по тому пути.

Вот четвертый раз нас с того места выбивают, а в последнем же расчете быть нам повсеместно наверху. Первое: потому, что ко всему мы привычные, нас черной жизнью не настращаешь; второе: нам жить хочется. А наиглавное — людей верных имеем, эти не продадут!

Хожу, брат, деруся, двужильничаю, и не хватает мне только стоящего руководства, чтоб из глины горшок, из зерна мука, из удали моей людям настоящая польза.

Присматриваюсь я к партийным, выбираю,— по большей части правильные они люди. Когда совсем выберу, приду к ним, скажу: берите меня всего, с буйной моей головой. Доверился я вам, теперь куда укажете, куда повернете, туда и пойду.

Я партийных как-то не люблю, страшусь. Вот как конь необъезженный, дрожу даже, ей-богу. Мне куда труднее всякой устали по чужой указке жить, хоть бы по справедливой. Меня еще обламывать нужно, если бы у партийного время нашлось.

Теперь, когда много всего мне объяснили, легче мне стало разоренными, спаленными деревнями идти. Понял я, что не в небо дымком, что жизнь не зазря.

Подхватила нас воля ветром, закрутила нас воля вихрем, тут: «Стой! — кто-то кричит.— Опомнись, одумайся, на нужное кровь пролей!» Только ты стоять-то стой, да не очень долго, чтобы времени не пропустить.

Стал я теперь как бы от скоку-прыгу этого отказываться. Стал я толк искать, умных людей слушать, не всякого приятеля за товарища почитать.

Жаль, конечно, что мало я образован, пользы от меня, как от сохи деревянной. И в том особая жаль, что каждый человек у нас на счету. Я ж какой строитель? Сруб венцов на десять срублю, осиновый, а повыше-то что? Эх, жаль какая!

Я тоже безграмотный, почти что темный, а по-старому жить не стану, на прежнее не поверну, назад

не оглянусь. Пойду вперед, у меня в том одна и радость. Будь что будет, а чтоб — вперед и вперед.

Я теперь во всем новое вижу. Дитя такое драное, от голода синее, бредет-бредет, от ветра валится. А я вижу, как ему жить будет, как будет он успокоен, сыт, обут, одет, всему выучен. Хатка передо мною завалюшка, а я, может, дворец обмечтал. Коровий навозный бок предо мной, а в глазах корова гладкая, розовая да белая, с большой посудой, полной молока. Лошадка-лохматка подо мной, а вот он, конь, из ноздрей огонь. И все потому, что новое видеть умею и что всего добиваемся.

И пью при случае, и словом черным не брезгую при случае. Тоже и охулки на руку, насчет чужого добра, не положу. Словом, не мыт, не глажен, ни перчаточек, ни печаточек. И вот присматриваю за собой, и вот впереди всё надежда и надежда, на справедливую жизнь, на перемену привычек и на нужность свою в настоящем деле. Это тебе батюшка из священного писания не начитает, нет!

Делаю я свое военное, отчаянное дело как бы в глухом закутке, без близкого руководства, с одной такой памяткой, вроде урока от самого большого человека. Я теперь такой вот, дикий почти, все же толк знаю, руки в чужом барахле не полощу, с глаз врага не выпускаю, народу свою власть ставить помогаю. Насчет же высших наук тоже свое мечтание имею.

Тут прислали нам нового человека, девятнадцати лет, студент, что ли. И стал я слушать, и выходит: что думалось-ждалося, за что на ногах последнюю обужку перетер, за что на руках последнюю шкурку выязвил, с плеч всякое лохмотье в тлен, и сердце на врагах опаленное, и рот от голода да ушибов резких обеззубел,— за правое это дело, за широкое; а не то, что в одних этих вот местах, для одних этих вот людей. Скоро я и речи обучусь, и обессиливать людей не дам.

Что чувствую? Спать ли лягу, тружусь ли, голодно ли, холодно ли мне, в лохмотьях я или как — конец обиде! Я теперь человек государственный, не о своей только хате мысль имею, новый я.

Мы здесь не первого сорта люди. И охальники, и другое что, ножику с вилкой нас не учили. А вот и на нас тоже общая жизнь теперь лежит, на наших протертых плечиках. Обязаны теперь и мы кругом зорко смотреть для общей справедливости. С непривычки и боязно это, и занятно.

Как бы проснулся я, как бы важность свою понял. Ого! — обидь теперь меня кто-нибудь словом! Или плечиком чужим доторкнись — голова долой! Вот!

Жили плохо, грешно жили. И не перед богом грех, а вот что над семьей тиранничали и над собой тираничать дозволяли. Ни за посул, ни за воздух пустой — за темноту свою такое допускали. Этого я ни себе, ни врагу не прощу.

Прежде-то мерекаешь-мерекаешь об домашнем; туда рубль, сюда целковый, на сапоги подковы, женке платок новый. Да мало ли что. А денег нет, ночью ворочаюсь, подстил протираю. А теперь какая ночная у меня забота великая? Жизнь новая начинается, наша жизнь! Не полсапожки примерять. Ведь и так статься может, что придется мне министерские дела делать. Ведь кому-нибудь делать-то их надо? Не чужих же людей допускать. Так каков я буду для больших-то дел?

Вожу носом по воздуху — только волей потягивает. Я же порядка жду, а под ноздрей одна воля. Эх, кабы к воле и порядок — вот тут тебе и свобода была бы.

Из Питера, царской столицы, самого наибарского рая, прислал нам мудрый человек товарищей для руководства. И каким нам-то! Мы уж было от непонятия разбойниками счесться могли, устали от без толку. А вот же прислали нам самых образованных, а вот же сказывали, что если мы по правде, да по порядку, да при всей нашей силе, да зная, что к чему,— так без нас сделать государство наше трудновато. Гордости теперь в нас — ого! Свороти-ка нас — смерть не своротишь!

Ну и убивали, ну и с гнезд скидывали. Так ведь кого? Вот теперь я выучился всему такому и другим толк объяснить могу. Спасибо партийному парнишке, рыженькому воробушку, что из Питера к нам припорхнул. Я теперь из-за всякой, даже чужестранной голоты, воевать согласен. А не согласен буду — дурак буду. Вроде как бы назло соседу свой пожар не тушить, чтобы соседова рига загорелась. Все мы, голота, с одной улицы соседи.

Вот ты говоришь тут, у всех на глазах, во все уши наши дудишь, что весь мы мир перестроим. Так сказать, рай на земле. Зажгла синица море! Наслушался ты питерских ходоков, они для нашего брата зазирательные. А я, тех же речей послушавши, так думаю: дай ты нам, боженька, свою Россию по справедливости устроить, работу поднять, образование и панов с нашей шеи сшибить. Вот тебе и рай, вот тебе и спасибо, вот тебе оно самое, чему у нас и за границей поучатся, да в чем нам совет и помощь от столичных товарищей нужна.

Рощены покорными, а теперь даже смешно. Полетело послушание вольным ветром, бабьим летом, в короткий срок.

Может, и не думали, а каждый обижал. А как, бывало, задумаешься, так одна думка: эх, воли бы!

II
О САМОЙ ВОЙНЕ

Вы прощайте, волики
Голубы,
Здесь нам воли, волики,
Не добыть.
Ухожу я, волики,
Воевать,
Станут-станут воликов
Свежевать.
Будьте ровне, волики,
На пирог,
Дайте ровне, волики,
Да жирок.
Я на то вас, волики,
Не берег,
Станьте вражьей глоточке
Вполерек.
А дождетесь, волики,
До конца,
Вы меня прокормите,
Молодца.

Тут не про походы, да победы, да отступления. Про это книги расскажут. А о живом тоже переговорить надобность есть.

Ушел я с той войны совсем замиренный — до того воевать обрыдло. Ладно, ушел, домой пришел. А тут по всем хатам обида: поманили свободой, а доли не дали. Вот и пошел я долю к воле добирать.

Я, с войны вернувшись, хозяйничать было стал, ей-богу. А тут взбучило деревню, старики и те советуют. Мать родная и та чуть тебе топора в руки не тычет.

И на что, про что добывали? И на что врагов добивали, если опять в работу? А отдых-то когда?

И я пропаду, и врага изведу, зато людям легче будет.

Та война, сразу видать, не последняя была. Всю желчь разворотила, а под ружье чужие, невинные ничем народы поставила.

Своя шкура ныла, своя глотка выла. Всё по своей воле принимаем.

Ни пня от старой жизни не осталось. Отца убито от немцев, мама с недоедки да с горя померла, братья, словно и я, на лету,— может, и в живых нет. Примерли жена и дети. Мне бы только с братвой до дела доходить, чтобы роздыху на го́ре не было.

А я и дома бы посидел, да не на чем. Ни печи, ни припечки. Была родня — ветром развеяло. Вот воюю. Может, вывоюю людям от врага домок.

До чего же эта война ничего не бояться научила. Вот считай: голод — видали, волками выли; тиф — выжили, больше не будет; пожар — за печку считали, каждый день тапливали; грабеж — это чего уж проще; раны — как на собаке струпьев; му́ки от врага — так не хуже старинных великомучеников; смерть же даже смеху подобно: уж и вешано, уж и топлено, уж расстреляно по множеству раз. Бои не в счет всему этому. А живы, живы и будем.

Вот бы в родных моих местах повоевать, я бы там кой-кому судьбу бы перестроил.

В родных местах только справедливый может воевать, чтоб самых наинесчастных не умучить — за козны [1], что не так мальчонками сыгралося.

Когда знаешь, куда да за что,— не давай времени на роздых. Как кто поперек — сшибай. За тобой идут, им легче станет.

На ходу думать некогда, да и не к чему. Твердо знай — надобно. А потом, когда придем, думать станем.

---

[1] Ко́зны — бабки, кости для игры.

Жж... жжжж...— пули. Ажно дышут они на тебя, ажно волосы пошевеливают, ажно ласковый от них ветерок.

У нас сговор будет: свою войну довоюем, на чужую не идти.

Да «думали ли», да «гадали ли»? Никто не гадал, да бог угадал. Каку надобно войну, ту и терпим.

Бывало, на кулачки выйдешь — весело, сердце играет. Была немецкая война — как во сне воевалося. Куда повернут, туда и тычешь, глаз не продирая. А вот теперь и зрячи, и желчь кипит, и сердце играет.

Командиры у нас — босячня босячней. Ни у него лошадки, ни у него корки лишней. Один бинокль с нами в различие, а так все мы — как один.

Ничего эта война на ту непохожа. Идешь через голод, через силу. Дошел — крик, стрельба, ховаются от нас в панике. Тут ворвались, всё по-нашему, и плачут, и кричат. Какой ты есть, такой и представляешься. Все понятно — и кто, и за что. Это тебе не заграница, да по чужой воле.

На той войне нас били, на этой — мы бьем. Может, мне только так сдается, а думаю, потому только мы и бьемся, что мы всех справедливей и сами за себя.

Шел я из последнего, не своими ногами, и припал к пеньку придорожному,— прощайте, братики. Даже как бы легче стало, что не идти. Тут топ, конники до меня,— сгинь!.. Я же ни с места. Ткнули они меня — я хоть бы что. Даже как бы легче стало, когда кровью сошел.

Я, говорит, с-под Москвы, всю войну под звездою красной воюю, а вы из рук в руки. Тут один вышел и все рассказал. Не из рук, говорит, мы в руки, из мук в муки. Ты, говорит, разве своей стране воин? Да ты, говорит, и войны-то не видывал. А мы вот как: немцы на нас сели — сброшено; атаманы разврату учили — скинуто; добровольцы нас в навоз головою — скончено; а если ты, товарищ, нас изменой попрекать вздумаешь,— и товарищу тютю дадено будет.

Вот идем мы, идем сколько-то тысяч верст — и ни одного дома крестьянского в целых не видим: кто подбит, кто летает, кто и следу не кинул, а старое со слез слепнет.

На той войне я все дом поминал. Дом да семейство. Теперь же и дому-то почти не осталося, семейство развеяло,— кто на каком свете, неизвестно. Я теперь вольный, вперед гляжу.

Мне дома не усидеть. Пошло дело к тому — либо тебе жить, либо ему. Такого сиднем не добиться.

Бывало, с войны приедешь — всего слезьми умоют, сластями угобзя́т [1]. А теперь никакой нам радости. За вами, говорят, война на нас навалилась,— и ружья, и пушки, да и немцы показалися.

Вернулся я в место, встретили меня родители сурово. Ждали, говорят, бажа́ли [2] миру, а вы с войны ушли да здесь войной балуетесь, а хозяйство как?..

Признаюсь я тебе не по-крестьянски, пока времени не видно, я и земли не хочу. Вся наша будет — тогда людям заживется.

---

[1] Угобзи́ть — одарить, наделить *(обл.)*.
[2] Бажать — желать, хотеть что-либо *(обл.)*.

От нас дома нос воротят с того, что вперед им не видать, от темноты. А умаяны сильно, вот и бурчит деревня.

Гнезда поразорили — новые совьем. Деток пораскидали — новых выведем. Только бы воли из рук не отдать,— всё приложится.

Уж если невесть за что мы ту войну веки-веченские терпели, так уж за самую жизнь стойко теперь своюем.

Требую я теперь простых слов. Чтобы за словом навыверт клятой какой правды не подсунули. У нас правда своя, имя же ей простое — воля.

Какими хочешь словами говори, только бы толк добрать. Я мало обучен, почти грамоты не знаю, а хоть какими словами про толк скажи — сразу раскушу.

Стал его спрашивать, стоит ли, мол, за это дело воевать и что за дело такое? Ничего не понять,— будет то, что все решат. А что решать, если все от нас решено. Взял я свою винтовочку да за околицу — своих дожидать.

С чужими странами можно мириться. Чужое войско после мира уйдет, радо, что до дому доберется. Ушли — и нет их. А как ты с нашим врагом мир заключишь, если враг в каждой губернии особый, в каждой почти деревне засел. Тут до конца довоевывать, до полного истребления.

Я здесь вот как различаю: один дома делов натворил — да и сюда, для безнаказанности. Эти больше в бандитах ходят. Другие же, перемученные той войной, каждая косточка, может, отдыха просит, всему цену знают. А идут на эту войну безо всякой корысти, для людей.

Хотя клянися-крестися, что не так, а знаю я — правда наша.

За самого себя такой войны не своюешь, надоест, отвалишься, уж очень тяжка. А тут знаешь, что людям легче.

Ты не канючь, не жалоби нас. Сами знаем, каково эту войну довоевывать. А твердо видим, что надобно,— потом людям легче будет.

Как вспомню я свое военное ранение, так и зверею. Нежили меня в лазарете, а я добра не помню. А теперь вот бездомовыми псами бродим да как-то спокойней мучимся,— людям легче будет.

Та война проклята от века, без пользы всякой для людей, за дурницу. Это вот грех. А нашу войну знаешь, что за людей терпишь, людям легче станет.

Эта война веселая, для себя, отчаянная. Чего хочет человек? Чтобы над тобой не бариновали? Это самое, за то и воюем.

Тоска горькая, версты дальние, жизнь зверья, а всё за людей.

Хотел бы утечь, до того наша эта война тяжелая, а как о людях вспомнится, так и ноги камнями. Стойвоюй, людям будет легче.

Я над семьей крыл не разведу, не наседка. Мне крылья для лёту. Лёту хватит — людям лучше станет.

До того к войне привык, до того места мирного не вижу для остановки,— всё с весельем принимаю. Мо-

жет, как увижу — встать-врасти хорошо,— остановлюсь. Это при самом конце станется, а пока — ходу!

На то и кровь в человеке, чтоб за дело лить, а не жирок растить.

В лихую ночь кровь страшная. А может, мы через кровь свет казать собирались.

Я только на этой войне выправился здоровьем. Дома хилел и сох я. Бедность в обиду, когда сосед сыто жрет. И попреки тоже. Здесь же общая судьба, работа веселая, боевая, и все без грошика медного, и не нуждаемся в таком.

Без головы война как щенячья драка, только крови больше. Там шерсти клок, там шкуры шматок. А знать, как и за что,— будет война как лекарство.

Сколько ж людей у нас живет, сколько ж хороших разных, сколько ж товарищей! Все нам война показала, а ты про мир твердишь.

Удивляюсь я, братцы, почему это у нас шкура не в шерсти, а мы на волчьем положении ходим? И волк воюет, и мы воюем, а за что он в зверях, мы же — в людях, не пойму!

Ненавижу, если вымудровывают. Все просто: к старому нас паровозом не поворотить, к новому — враг не пускает; значит, войну воевать до полной победы.

Навыдумывали враги сказок про ту войну. Про эту же войну сказок не видно. Эта война, как ясный день видать,— за шкуру собственную гибнем.

Конники — люди особые. Под ним четыре ноги как пружина. Пригнись, свистни — истаешь как дым.

Четыре ноги в левой руке зажмет — и ни с места.

Мы всегда победим, мы барахла паучьего не бережем, вокруг ног оно не липнет, не тягчит.

Теперь всё впору. Разоряй, спали́, а время придет — все наше будет, не уменьшится.

На той войне — из-под палки, да против немца, на чужую выгоду. А как за себя, да против кровного врага, тут с удовольствием воюешь.

Сижу вроздых, думку думаю, чтобы не зря все это вышло, чтоб мимо не пробить, злого семени за ногою не кинуть.

Перед нами не задашься. Если мы за дело взялися — сделаем. В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого.

Видел я вчера Ахмеда такого, узкоглазенького. У себя он, вот как и мы, тоже крестьянин-бедняк. Так ведь и по сие время, и без царя, у него, в далеких его землях, чуть верхом на бедноте не ездят. Теперь вот и воевать опять погнали. А слова-то какие говорили?

Не по нраву мы и новому начальству, не по характеру, так скажем. Винтовочек не отдаем, свою правду в уме держим. Расформировали. Ну-к, что ж? Вот я и вольный, и ту же свою правду знаю, и винтовочка, вот она, со мной, своего часу дожидается.

Батюшки! Барин наш в коляске, на нем шелковый пиджачок, заместо его кормной барыни обок сидит самый их полковник, весь в газырях. Оба, чисто кочеты, задрали головы, вот-вот закукарекают. За ними воинство пылит. Я сейчас на задворки, за мной Спиридон, за Спиридоном мужики. А за нами баринов дворец горит-дымит, крылечка не оставляя. Где господа суд свой устроили, как судили, кого казнили, так и неизвестно мне. Я как ушел, так и не вернулся.

Выучиться бы, как это люди Новый год встречают? Я уже насмотрелся на той войне, а не пойму, что к чему. Кабы еще знатье было, какую ты жизнь в том году поведешь, а то у нас, на той войне, не в твоих руках твоя жизнь жила. Как тебе ее повернут, так и живешь. Теперь-то, может, и я Новые года запраздную, может, и я снова жизнь на будущие годы наметкой намечу.

Да что говорить, поманили из Питера правдой, а где она? Мир — а в окопах вшей кормим. Взяли мы землю — работать нечем. Взяли лошадок, взяли машины — тут приказы какие-то, не хуже царских. До конца обижены. Главное ведь — в надежде были. И пошел я пройдисвитом,— как-нибудь, а уж правду добуду.

Что скажу про эту войну? Говорить-то я не мастер. Но однако думаю крепко: все одно, что сейчас, что потом, а этой войны не миновать было. Труд непосильный, обиды горькие, последняя нужда, хвори ребячьи, необразование, впереди ни зги, ни щелочки. А там роскошь. Дотерпелись до точки.

Я ничего насчет, что прежде, не знаю, некому меня учить было. Только что теперь, и знал я. То теперь, что и вытерпеть нельзя. До каких же пор, спрошу? Вот и война.

Как скажет кто хорошо про бедный народ, про трудящегося простого человека, так и станет подозрительный, работы лишится, семью в голод кинет, станет

без крова над головой. Что ж, нам на это так и глядеть, да от стыда глаза прятать? Нет, в самую пору война эта.

Если бы царь с немцем не передрался, не быть бы и нашей войне. А то так вышло: оружию выучили и в руки нам дали, с нужными людьми нас передружили, до толку нас довели и бояться отучили. Спасибо царю-батюшке, поторопил он нас!

Ты вот что скажи: ну мы в беде, в нищете, в голоде, в самом несчастье от колыски и до могилы. А те жили дай бог всякому, образование получили. Так сказать, садись бедному на шею — и вскачь! Так нет, в каторгу за нас шли! Как я такому не поверю, слов его не послушаю? Разбирать надо.

Наша война по-своему воюется, по своим правилам. В окопах не сидим. Встал в рост, голову ввысь и так иди — не сдавая до победы либо до смерти. Нам прятаться не к лицу, мы справедливого хотим.

Уж так интересно на всех людей глядеть, со всеми людьми дни и ночи проводить. У каждого своя судьба, и дума своя, и путь свой. А дорога та же, от рождения и до смерти. Но разные у всех на этой дороге происшествия. Только на войне я и разглядел это все.

Ты просишь про самое интересное, про самое наинужное тебе рассказать. А я вот посмотрю-посмотрю на тебя, подумаю-подумаю: что, мол, тебе интересней всего покажется? А так, мало ли в моей жизни интересного было. И вот расскажу я тебе самое интересное: как я на том бережку всю свою старую жизнь бросил и новую начал, да не один, а со всем народом.

Разве это война? А я вот так думаю: забрался к нам, ну в самое жилье, враг. Все ограбил, над нами, хозяевами, измывается, за труд наш кнутом благодарит.

Так вот мы и решили — дать ему по шеям да изничтожить его раз и навсегда. Это вроде как по мирскому приговору, со смыслом, за свое. А война, она без толку.

Та война, немецкая, без толку. А эта война, гражданская, она не начальством заведена, она нами заведена, для жизни.

Ты не смотри, что все как перемешалось, перепуталось — и баре, и небаре против нас. А ты знай свое дело да свое место. А уж путаницу пусть враг распутывает. Эти самые небаре-то его скоро разделают, не задержатся.

Часть вторая
ВРАГИ

III
НЕМЦЫ

> Как на наших на хлебах
> Немцы сыты стали страх,
> Стали сыты-гладки,
> А у нас нехватки.

Собрали нас, говорят, гетман. Ладно, живем. Опять сбор,— говорят не разобрать как. Ладно и так, живем. Вдруг ранénько: гук-гук, гук-гук. Глянули мы — иностранцы-немцы! Серые, толстые, на головах железное, и не смотрят. Идут же так ровно, что заводные. Щемит сердце, зовут,— веди к себе в хату немецкого кавалера. Всю хату в чистоту вогнали, бабу к начальству увели, мамашу полы мыть поставили, детей от шуму — в поле. Пожили с неделю, изнищили, бумажку дали и ушли.

Они в хороших хатках сами стали, а по бедным лошадей поставили. Баб — в хлев, мужиков — в лес.

Жена рожала, как пришли они. Зашли в хату, глянули — грязь, вонища, не понравилось, да и баба во-

пит. Однако всю снедь забрали, молчки. Так я ни с чем и стал дитяти дожидать. Да разве в испуге дородишь? Померла жена.

А я кашля не удержу. С детства больной кашлем. Обиделся он, что ли, да как крикнет. И всё на меня кричать, и чем громче, тем я кашленее,— повели за хату и в зад мне противу кашля прописали.

Приказом немцы приказали — забратые вещи воротить. Стали было объяснять, что не осталось вещей,— «деньги тогда платите». А если нет и денег? «Вещей нет, денег нет, зато спина есть, расплачивайтесь».

По-русскому спрашивают: солдатом был? Был. Когда домой вернулся? Сказал. А экономию жег? Не было меня в те часы. А кабы был?

Ох ты, мать честная, немцы! Такая обида взяла. Да как же это так, думаю, ведь мир у нас! Всякую я веру потерял. Пошел в бандиты, не покорился.

Спасибо немцу, дома сжег, в леса вывел. Теперь перед нами вольная дорога.

Долго мы у мамаши не загостились. Я — в лес, брат — в город. Я от немцев в бандиты ушел, а брат серьезный — фабричных ребят сгрудил.

Идет — да и в петельку ногою. Мы его в ямку, обратали, самого сожгли, оружие взяли, каску же глубоко в землю закопали. Больше всего у нас из-за касок ихних народу пропадало. Такая вещь неудобная, куда ни сунь — все видать.

Они в сарай, а там ребята с войны пулеметик ржавили, до поры. Глянул немец да как усмехнется.

Пропал, думаю. И подпалили дом, еле старуху выволок, а уж худоба и добро все в небо дымком, господу жаловаться.

Кив да морг — они трое в хату. Вина принесли, гостюют, шуткуют, бабу оглаживают. А я на печи ровно дедка, дядя же в каморе. Баба лапалась-лапалась да одного в камору. А я двоих с печи пристрелил. Тут и баба из каморы веселая, и дядька с ней.

Она монисты на шею, а присыпку за пазуху. Привели ее. Он ее вином поит да все хвалит. Она ему винца налила и присыпочку туда. Пей, мол, я согласна. Хватил он вина — да к ней. Да, на грех, не сразу заслабел, не успела она уйти, ее убили немцы.

Бабы их крысьим мором. Трое перекинулись, да хитрый они народ, подпалили деревню и ушли. Только нигде не загостились.

Он к ней под кожух, она как бы ничего. Он к ней за пазуху, она его как в затылок татахнет. Еле с нее сволокли, до того обкорчился.

Холста взял, показывает: рубаху, мол, шить. Смеется, стал вареники кушать да как вскочит, за живот, за дверь, за дом. Там покорчился, подох. Хороши бабьи вареники на иголочках.

Немцы наших баб очень уважают. То ли, что толсты, вроде ихних, то ли что других баб нет. А то им невдогляд, что нашей бабе от них ничего и не нужно. Ей бы родню соблюсти, у ней на врага не улыбка, а убилка.

За икону полез, а там у меня шапочка золотенькая, татарская, вроде как бы с мощей. Брал-то как ее на фольварке, словно чуяло сердце, да принес бабе за

иконы. Взяли они ту шапочку и меня с ней — да на фольварк. А там нашего села людей — скопы. Руки позакручены, шапочки да креслица нежные пред народом грудками, что у кого нашлось. На крыльце немец главный, на диване, по правую его руку барин наш веселится.

На войне он меня, я его. За что — толку не добирали. А как пришел к нам господское добро стеречь, враг он.

Ты немецкий камрад,
Тут никто тебе не рад,
Не лезь в чужу компанию,
Поезжай в Германию.

Наступили на нас немцы. Что ему, дома дела не хватает, что на чужие, бедные земли по приказу начальства пришел?

Сперва немцы противу нас куда порядочнее выглядели. На каждую петлю — крючок, на каждое слово — молчок. А тут и у них время сместилося, стали они пояса отпущать, ходить стали развалистее. Ага, думаем...

По белому свету летит газета, а я не читаю. Только знаю я, что как у нас, так и у них. Кто на чужую шею сел, того в зад коленом, будь хоть немец, хоть русский.

Вернутся они домой, увидят, что без них дома натворили, не пойдут больше чужую волю в хомут совать, свою стеречь станут.

С немцем у нас ладу не быть, пока ему дома хату не запалят.

Начальство по строю идет, немцы в строю строго стоят. Начальство немцам свое говорит. А немцы, ров-

но и мы, бывало, на начальство вылупились. А что у них по-за глазами, того начальству не видать.

Очень глупо, что не было со всем светом сговорено: в один час господ с мест поскидывать. Вот теперь и терпи, пока немец правду доглядит.

Удивительное дело — немец. Ведь все как есть ученые, вещи в чистоте, баловство вокруг любят. А что делают? Да я бы, как был бы учен, так знал бы, по ком палка скучает. А уж к людям никакой бы грубости не смог.

Я немцу его умелость прощаю, я бы у него и поучиться захотеть смог. А не прощаю я ему, что он тебя ну просто и за полено не считает, ну просто как бы и не видит тебя вовсе. Скотину на улице встретит, обойдет кругом, головой покачает, губой почмокает, значит: ай, какая же ваша скотина неухоженная. А человека нашего, хоть ты помирай перед ним, просто не примечает. В избу войдет, плечом тебя сронит, посудой забрезгивает, на бабу слюной зайдется, а губу вешает,— была ли в бане, спрашивает. У меня сынок годоваленький, Петрусёк, у порога ползал, так немец его сапогом сдвинул вроде щепки.

Батьке моему с немцами зимовать пришлось, так говорит, не очень-то они люди, немцы эти, не совсем как люди. Сперва, глядишь, человек всё в порядке, и на нем аккуратность большая. Даже как бы и поучиться нашему брату, простому человеку, можно кой-чему. Потом же, глядишь, пошло его нелюдское поведение. Сперва он у молодицы под глазами гадить орлом усядется. Пройдет денек — прикажет пеленки из колыски вынуть, на портянки. Придет ночка — он то же дитя спеленатое за ножки выхватит и о печь головой, чтоб его нелюдской сон дитя не тревожило.

За кустом стонет, смотрю — немец раненый, и давно уж, верно, лежит, в чем только душа держится.

Меня увидел — замолчал, глаза закрыл. Смотрю на него, решаю взять все же. Думаю, и на нем небось материнские слезы сохнут. Поднял его, руки его вокруг своей шеи налаживаю, чтоб нести ловчей,— не разгибает пальцы на одной руке. Я стал разжимать — он как бы борется. Все ж разжал я ему кулак, а в кулаке кошелек с деньгами. Вот что берег, подумать! Хоть бы старый, а то лет двадцати через силу. Все ж вынес я его из лесу. Навскоре помер он от нашего черного хлеба. Что его с пшеничного на аржаной потянуло, может, комиссар бы и разъяснил, да от беда, комиссара-то у нас и нет.

А по-моему, его нечистая сила к нам послала, за хлебом да салом. Он же с собой всю свою паршу приволок. И выходит, нам же наука: «Гляди на меня, народ русский, какой я, немец, без стыда разбойник, да и на то глаза не закрой, какие мы, немцы, умельцы и аккуратные». Нам, русским, и от беды польза, если с умом глядеть.

Нечестный народ эти немцы самые. Показывает, хвалится, как на нем все прилажено да приглажено. Хлеб так и то машинкой режет, такой он разумный. А все бабьи укладочки взломит, до последнего очипка [1] бабу оберет. Воры и разбойники они и с машинками своими.

Мне на немце все занятно, он же, немец, только на себя самого глаз наводит, ничего ему у нас не интересно. Решил небось, что так, мол, и этак у нас, и вот эдакие мы. У них, верно, и в книжках все про это написано. А по-настоящему-то немец нас узнает, как мы его, эдакого ничего не видящего, в шею вышвырнем. Может, тогда и он смотреть выучится, да поздно.

Хитер, жаден, безжалостен немец. Бывает немец белый, и глаз у него голубой, и морда у него девичья, и молоком душистым вымыт весь. А нет у него интереса никакого, что он в чужой, незнакомой земле

---

[1] Очи́пок — чепец, который носится под платком *(обл.)*.

воюет и какие люди около него. Дерьмо он есть, дерьмом и пахнет, хоть какими он духами ни прыскайся.

Я об немце, когда время есть, думаю. И считаю — роста у него внутри нет, всё на себе, всё вокруг — как теплей, да мягчей, да удобства для одних немцев. А в сердце у немца как есть ничего — ни про несчастье людское, ни как народам по совести жить, ни про плохо да хорошо. И еще что в немце — стыда ни к чему не имеет. И ведь хорошо грамотные! Чему же их учат, знатье бы.

Ходит кровь по моему молодому телу и ровно и шажком. И вдруг пыль на дороге,— может, отара пылит, может, ветром всклубило. Иду туда, как и кровь во мне ходит, ровно и шажком. А там немец нашего парня ломает! Тут и кровь, и я переменились, закипели вместе, и пропал немец безвозвратно.

Немца я на войне в первый раз увидел. Мало и слыхивал про него. Говорили, балуясь, в деревне у нас, что немец будто на беса похож. И ругались, кто побогоязливей: немец тя возьми,— вот и всё. И что же я вижу: пришел, командует, дерется, грабит, ниже пса считает. Может, и бес?

И зря болтаешь, солдат как солдат. Как взят на войну, как наприказован, так он и действует. Был бы он бес, кабы начальства без, а с начальством он вроде и нашего брата — не ответчик. У них, думается, тоже скоро с начальства ответ спросят.

IV
ИНОСТРАНЦЫ

Кабы еще с ними иностранцев не было. А то выхаживают, хвосты распустив, а у нас, может, бедность последняя.

И в старину нас цари чужим на помощь посылали. Турков глушить. Так вот и ихние короли солдатскими ручками чужую войну довоевывают.

По своим скорбям мы к ним не обращались. Без языка мы — первое дело; второе же дело — иностранцу на нашей гуще гадать пришлося, а что ему выходит — еще не видать нам.

На столе такое — и во сне не увидишь: белый хлеб, и масло даже, и цветы. Я вежливо говорю: помираем, говорю, и больше терпеть нечем. Ничего, говорит, поделать не могу. И глядит на меня иностранец невидящим как бы глазом.

Высокий, ладный такой иностранец, лицо здоровое. Набрал голодных ребятишек, всячиной оделил, плачет над ними, как баба. Эх, ты, думаю, свет ты белый,— один на нас пушки возит, другой над нами слезы льет.

Теперь и в других странах такая же заваруха крутая. Теперь страшиться нечего, оттуда нашим злыдням подмоги не будет. А какая и есть, так ненадолго — покуда от ихних народов приказ не придет.

Иностранцам у нас нечего в ногах путаться. Пускай за своими странами смотрят. А то вернутся они от нас домой, а дом-то у них дымком ушел.

Песни у них хуже наших. Как бы в перину дуют: громко, а не звенит. Наши чистей.

Иностранцам легче будет воли добывать. Разве что с больших удобств на кровь зажмурятся — и так, мол, проживем довольно хорошо.

У иностранцев есть для нас нужное. Не зря нас ихним языкам не обучали.

Я ему жука в галифе вшил, да и сбег. Очень жалею — не видал я его удивления.

Француз-большевик повадился в часть. Толкуем ему: тебе, мусью, хорошо, мы доводить на тебя не будем, а наши, как прослышат, нас вчистую расстреляют. Не идет, смеется — привыкли к нему.

Хорошие, веселые ребята, и все вроде как большевики, только полегче будут. «Вы чего же,— спрашиваем,— против большевиков к нам приехали, если вам большевики любы?» — «А у нас,— отвечают,— дисциплина, вы же по доброй воле пошли, дурни».

Иностранные солдаты все как есть коммунисты. А к добровольцам [1] потому поехали, что иначе-то им сюда и дороги бы не показали.

Выспрашивает, выспрашивает,— понял я: «Взяли меня пленного,— говорю,— и никакой я доброволец, и все мы здесь такие, кроме офицеров». Он как ахнет, удивился как бы.

В баню иностранцы с нами не ходили. Только румыны. Они у себя на дому хорошо травленные, вроде нашего. Не брезгают нашего пару.

Мне чужих языков не учить, а все понимаю. Как гляжу — этот офицер, а тот солдат, так и знаю, с кем родня.

Перестал я, братцы, иностранцев, кроме как по языку, отличать. Во всех же делах они, как мы,— у них тоже господа и простой народ.

---

[1] Здесь имеется в виду контрреволюционная, так называемая «добровольческая» армия, действовавшая против войск Советской республики на территории России в годы гражданской войны.

Мы хоть во сне, да все родня. Мы страданья страдаем потому, что куда же денешься со своей родной земли? Так не лезь же ты к нам, чужой ты человек,— ни с ружьем, ни с лаской, не телещись, дела не затягивай.

На весь мир славный город Париж у французов. Очень они подходящий народ. Веселые, озорные, храбрые, петь-плясать мастера, звонкие голоса. Эх, кабы нам язык ихний знать, уговорили бы мы их от белых к нам переметнуться. Мы бы им и Париж отвоевали от ихних дармоедов.

Даже самый простой англичанин на нас совсем не похож. Ты приглядись, как он шагает по улице. Идет — не своротит, как шкап какой! Всяк стороной его обходит, чтоб об угол не зашибиться. Что там у него за душой за такое, неизвестно,— всё в шкапу на замке. Неудобные они какие-то, англичане эти.

Ох, французы до женщин ласые! С мужчинами немые — ни мы их, ни они нас не понимают. А с женщинами сразу забалакает, засмеется, чуть не пляшет. Женщины их хорошо понимают, они веселья ждут, мы ж натруженные, от суровой жизни грубые. Моя Феся от меня много горя за французов приняла. Отговаривалась, что моряк-де он, будто мне не все равно, пехота или матрос мою бабу под крылечком лапает.

Я французов бил из ревности, за девушек. А так они мне всех подходящее из иностранцев: и веселые, и вино не морщась пьют, и песни поют, не кобенятся, не как те, англичане. И нашу беду понимают. Все с нами, все с нами, не брезгают, как те, англичане долгозубые. Одно во французе плохо: к бабам привержены донельзя. Оттого и выходят ошибки разные.

Американцы румяные, пьянюги, драчуны. Это ничего бы, мы тоже по этим грехам ходим. Ну до чего же они на деньги ласые! Вчера зазвал нас пиво пить

и все перед нами золотом об стол звонил: бросит — и в карман, опять о стол бросит... Стол же каменный, золото звенит, так даже пожар у него на лице от радости. А платить — мы же и заплатили, сбежал шельма.

Американец с тобою гуляет-гуляет, а платить не любит. Оскалит зубы, сунет руки в карманы и ждет, чтобы кто заплатил. Он всё больше на привозе[1], по рынкам рыскает, как есть торг-переторг.

Итальянцев я знал некоторых, разобрать же не умел — какие. Красивые, черноглазые, усы хороши. Скучали они, все домой хотели, сразу видно было — силом их привезли.

От тебя пользы как от пустого улья — и пчел нет, и собака не помещается. О чем тебя ни спросишь, ничего-то ты мне разъяснить не умеешь. Сам же я ни разу этих иностранцев не видел, а знать хочется.

Надо нам теперь на этих иностранцев зоркий глаз иметь. Может так статься, разберутся они в делах да и повернут к нам от белых. Так как бы не прозевать.

Когда окончательно победим, надо будет об иностранцах подумать. Что ж мы, заразные какие, так и будем жить без гостей? Только зорко смотреть надо, а то таких гостей приласкаем, что и подметки на ходу срежут.

V
ОФИЦЕРЫ (БЕЛЫЕ)

Он хвастает,
Я роблю,
Я в кусочки,
Он к рублю,
Я весь в дырьях,

[1] Привоз — место на базаре, куда привозят товар *(обл.)*.

Он в окладе,
Я хоть в щелку,
Он в параде,
Я овшивел,
Он в духах,
Я на нарах,
Он в пухах,
Я тощаю,
Он в жиру,
Я скучаю,
Он в пиру,
Всем товарищ,
Ему смерд,
Что мне к росту,
Ему смерть.

Я весело на войну шел. Дома смелости девать было некуда. Потом, на фронте, соскучился я немца бить. А тут полюбились мне умные люди, тут царя сместили, а тут сердце мое противу офицера горит.

Про офицеров нам хорошего говорить не приходится. Если не злодей, так лодырь, дармоед. Чужим хребтом трудится. Нам их уважать не за что.

Всегда я ихнего брата не любил. Бывало, на фронте похвалят какого-нито товарищи, а на поверку выходит: и на том спасибо, что в зубы не бил.

Главное — громом грянуть, раздуматься не дать. Раз было — все местечко до краев врагами налилося, офицеры у попа праздновали-обедали. А мы на конь, через все место скоком, к поповскому окошку, бомбы им на десерт вкатили и вернулись невредимы.

Они думают, мы ничего не замечаем. А у нас такие замечательные есть, всякую бородавку на нем сочтут. Я у своего полковника на грудях приметочку знал, все думалось: дойдет время — под всякою шубкой разгляжу.

Прежде и доброта не на месте, бывало. Как обида, так легче служилось, желчь копили. А как подарил

раз ружье да часы мне, да стал я про него хорошо думать,— так мне служить трудно пришлось, всё в обиду.

Снес я, что велели. В горницу меня не пустили. Стою у притолоки, переминаюся. А нету хуже ихней прислуги, вроде собаки на лохмотье стервится. Стою, жду, молчу. А что у меня в грудях спеет — теперь вот и видать.

Разве ж забудешь, если в денщиках служил? Самая обида. Как и не человек будто. Он в чести, а ты ему сапоги чисти.

Кто, спрашивает, согласен героем со мною? И нашелся парнишка. Одяглися офицерами, на конь — и айда по дороге. Только вдруг из кустов — тах-тах. Герои оземь мертвяками, мы к ним,— что такое? А это наши, не предупрежденные, офицерской амуниции не вынесли.

Ни бомбы, ни пули не боюсь. Ну ничего, кроме офицерского задаванья. Бывало, весь немой стану, так бы и съел его, а ответа не найду.

Мы не по-ихнему от женщины рождалися. Меня мама в поле родила, на жнивье. Недожала, а сынка дождала. Никто и не видал, кроме ржи да серпа. А ихние мамы рожают — все доктора доглядают, под окнами соломку стелют, чтоб паничик не напугался да назад в мамку не влез.

Многого от них не спрашивали, да и малого не видали. Были вежливые,— так разве ж это в сравнение, до чего мы у них в руках.

Подобрали сестричку одну геройскую: молодая, а замордована до того — даже паралич у нее. Сейчас ей

ордена там, слова всякие, под стаканчик. А она настраданная, ни рукой, ни ногой, сидит молчки, как воробышек примерзлый. Они — то, они — сё, пьют и пьют — и до того допилися, выскочил генерал, кричит: «Хочу в честь сестры геройской джигитовку сделать». Да на конь, да через стол сигать. Как брызнут из-за стола — только паралична сестра сидит белая вся. И почел генерал через тую геройскую сестру на коне скакать — раз туда, раз назад, раз туда, раз назад.

На море от тесноты темно. Посадились они кое-как. А сигналу в море идти — нету и нету. Как выскочат к морю красные, как почнут красные стрелять по пароходам. Как почнут чертями по бережку носиться, как завоют на пароходах люди, как загорится на пароходах. А углю им кочегарики не насыпали, а воды им не дадено, теснота, скарб, ребятишки. Иностранцы сигнала не подают, с берега стрельба, и на берег выпуску не будет.

И вот вступили мы в его родной город, и к ему на квартиру. Там мама его, важная дама, сейчас меня на кухню выслала и как бы в денщики. Он-то выговаривал ей: не то, мол, маманя, времечко. А что люди не те, так не сказывал.

Мы ушли с войны, и с нами три наших офицера. До первого поезда с нами дошли, в вагончик порхнули, ручкой машут. «Куда?» — кричим.— «Скоро увидимся,— отвечают,— за родней слетаем да и обратно». Тут поезд двинул. Да они ни врагу на прибыль, ни нам на убыль.

У денщика житье особое. Спал я у него в прихожей, под вешалкой. Целую ночку к нему гости, в карты играли. Одень-раздень, одень-раздень, подай того, подай другого, то-се — всю ночь! Днем ушлют в часть, чтобы я ему за харчи ничего не стоил. В части свой труд. Так вот из суток в сутки.

———

Просидели вы, говорит, задницы мужицкие на наших на золоченых стульчиках, вот мы вам шкуру-то с задов и спускаем, как бы в облегчение.

Лежал с нами один корниловец, рукавом всё хвалился: мертвая голова у него на рукаве нашита была, беды не чуял. Все храбрость рассказывал, зверства, веселился. А тут красные, а тут к нам опрос. Нас не трогают, офицеров волочат куда-то. К этой мертвой голове с опросом,— нижний чин, говорит, такого-то простого полка. Про рукавчик ни гугу, и мы молчим до поры. Как от окошечка писарек такой рыженький, рябовatенький. «Докладаю,— говорит,— что он корниловец с мертвой головой, и потому,— говорит,— докладаю, что всю,— говорит,— он мою кровь насмешками распалил».

Сижу я и думаю: ладно, будет все наше. Всё приберем к рукам. А вот выйдет ли у нас такая во всем аккуратность — и наряд, и все, как у ихних благородий? Вот он мимо меня ступает индюком, да ненадолго.

Привели в волость, сидит вроде черкеса, через грудь газыри. Мужиков — вправо, баб — влево, детей — в клеть. У него кнутик-нагаечка по сапожку щелк да щелк, у него в глазах — все, можно сказать, наши аграрные пожары горят.

По всем хатам бурею, стон стоит. К учительнице старой: «Ты сколько,— спрашивают,— годов здесь учительствовала?» А она больше тридцати годов здеся. Сказала. «Значит,— говорят,— ты и коммунистов здешних обучила, на ж тебе пенсию за то»,— и через лицо ее нагайкой.

Вот фамилии того генерала не припомню, а тоже на Питер с войском шел. Шел-шел с войском, а пришел да оглянулся — батюшки? Ни солдатика! Один-одинешенек. Только лампасы и осталися при нем.

Корнилова-генерала я сколько раз видел. Он будто русской крови, по лицу же так выходит — калмык он, что ли. Смелый генерал, но солдата не переносит, ему солдат божья котлетка, изрубил — скушал. Он сам в плен ушел, а солдат бросил. Хорошего ждать от него не приходится, хоть и самый он главный у нас.

Где у генерала Корнилова сердца искать, не знаем мы, не доктора. Нас до генеральской груди с трубкой не допускают, как бы мы, его сердечко разыскавши, из груди его не вынули.

Сам на Питер идет, нас с собою ведет. Как бы ему наш Питер бока не вытер! Тоже вояка! К немцам в плен ушел, солдат на убой бросил. Недолго мы с ним в попутчиках побаловались.

Казачков к домам, как щучку в речку, чтоб маштачки[1] на фронте не изголодались. А нас, пехоту, к немцу на охоту. Мы и голодом живы. Генерал думает: довольно пехоте моих верных казачков развращать. Да только куда генералу пехоту перехитрить. И двух дней мы на фронте не побыли, как снялись и перешли к мирным делам. Не знаю, какова генеральская удача на Дону-дому, только, думается, и там не засидится.

Матросня, та змей разных себе на груди травит порохом и похабщину, для баловства. А обо мне, пехоте, их благородия порадели, разукрасили. Вот гляньте — на грудях звезда ножиком резана, солью посыпана; а на задницах у меня герб наш начатый, серп есть на правой, а молотка не поспели сделать, наши подошли.

Привели его в черную горенку. Сидят они за столом, а в сторонке у них эдакий чубатый казачина, от дикости глаз в нем не видать, здоровенный, в палачах как бы. Молчи, говорят, не молчи, а пустим мы

[1] Маштáк, маштачóк — малорослая лошаденка *(обл.)*.

тебя к товарищам, вроде как бы недоноском. И сейчас ему бороду и все волосья выжгли и на дощечке все ногти оттолкли.

Я-то знаю, кому наша доля не мила. Кто смеху нашего, так и то не переносит. Кто при хорошей жизни от нас за духи-запахи бежит.

Вот уж что не просто — это офицеры белые. Ведь они наши командиры были, одну войну воевали. А по войне, как по родне,— всякий брат. Надо ж было им так заслужить, что, кроме желчи, ничего для них у солдата не осталось.

Были и хорошие, да где они теперь, как им веру дать? Чай, хорошие-то с плохими под одной командой Россию продают.

Они думают: мы дурни петые, ничего не видим. Жалованье у офицера невеликое, а как он теперь живет? С коляски не сходит, в шампанском по горло, крашеных девиц на каждую руку по паре. На чьи деньги? На наши.

Иззяб я, синий хожу. Я тепло люблю, да и тощ я в дырки одеваться. Жиру мало, не греет. И видел я шубку на одном поручике, ох! И за что им такое счастье? А за то, что пользу народу наработали — жрут круглые сутки, полные нужники золотом набили.

И газет не надо, и бреши сколько влезет, и все видать! Идешь мимо, не козыряешь, а он не орет. Идешь навстречу, не сворачиваешь, а он не орет. Яблоки он рассыпал, так сам и подобрал. Завтра драпать будут, увидишь.

Жены у них красивые бывают, но плохие очень, злые какие-то. Говорит так, как змея шипит, смеется,

будто ее щекочет кто. Шипит на нас, смеется с хахалями, делать же ничего не делает. Рожу выкрасит, духами зальется, взялась под ручку и пошла задом крутить. Тьфу!

Есть и меж нас ихней сестры любители. Ясно, от такого всего ждать можно — еще перебежит под чью-нибудь юбку.

Генерал — это уж вроде бога Саваофа, самый главный. На нас он, бывало, и не глядел поодиночке, целыми частями только и замечал нас. Мы ж к нему хорошо присмотрелись.

VI
ВРАГИ

Противу немца, что велено, геройствовали. А своего врага сам выбрал, тут баловаться некогда.

Это хорошо, да и то, мол, неплохо. Эдак и глаза раскосить можно. А знай твердо, кто враг,— тогда и путь виден.

Доброволец нам не родня. Он те и крест, и часы дает, и землю сулит. А ты ему веры не даешь: чужое семя.

Стоим мы двое на часах, охраняем. Только и солнышко еще на всходе, шасть господин полковник и с ним еще какие-то два. И прямо к кассе. «Никак,— говорим,— нельзя»,— и винтовочки навели. А они: «Ма-алчать, в порядке эвакуации!» Мы бровёй друг дружку: «Эге, мол, коли эвакуация, так нашим тоже казна пригодится, а коли нет — так за грабеж». И всех пристрелили. И вправду была эвакуация.

Снес я его чемодан, он приказывает: «Сядь на чемодан, жди, никому места не уступай». Только он от меня, как генерал ко мне и «вон!» кричит. Я ему доложил: чемодан, мол, полковника. А он — «вон!», да и все. Выдрал у меня чемодан и свою генеральшу на него усадил. Ну, думаю, тут дожидаться не приходится. Пусть сами разберутся. Да и утек на берег. Не привелось по Европам прокататься.

А тут иностранцы всех сортов оружия со всей Европы. Смешалися языки — к офицерам приехали, а к нам ходят. Тут эвакуация, тут нам местечка не достало, на берегу осталися мы, и стали каждый себя проявлять по-своему. Всё видать стало. Иван себе с барынь до дюжины колечек дорогих насобирал — за необиду, за вещи ихние, что пропускал, а то и сдерет кольцо-то. А другой наш так из гостиницы генеральшу к мужу на пароход не пустил. Так и осталась она на берегу с нами. А я не пользовался, рот на интересное раззявил.

Раскрыл рубаху, кажет грудь: «Привел,— кричит,— я вас на худое дело, на плохое место! Какие мы добровольцы, не могу я теперь живым быть, пробью,— кричит,— грудь свою!» И застрелился. А застрелился — и нас освободил, ушли мы.

Держит он меня за руку, вежливо говорит. А меня ажно тошнит, до того я на немецкой войне офицеров невзлюбил. Мне от них и хорошее плохо.

Скажу правду: все звери теперь, все лютые. Да только и зверь в своем гнезде теплом дышит, гнезда же у нас с ними разные.

Глянул я на беляков — одни начальствующие. Сам себя в бой посылает, сам от себя дезертирует. Чего там навоюешь?

Может, не все богатые враги, а почти что. Головка у богатого, может, и по-нашему думает, а сердечко по жирному куску тоскует.

Мы в скирде. «Гори,— кричат,— краснее, на то вы и красные».

У меня отец бомбы начинял, так мне ли эту белую моль жалеть?

Я скажу: белые хуже всéх били. Били-били, в четырех местах левая моя нога перебита. Правая заплесневела. Просил смерти — не дали, время у них не хватило, наши подошли.

Думаю, ошибется, к матери забежит. Стерегу. Забежал-таки! Я за ним, в охапку сгреб, в отопление, завязал всего. Ну и натешился я над врагом!..

Сидят кружком, посередине бочечка с вином. Здо-о-ровый мужчина, усатый, в шпорах, всем из бочки наливает. Тут меня приводят. И пошло! Сперва напоили меня, потом плясать заставили, потом петь велели. Я им «шинкарочку» спел робким голосом, непохожим. Потом усатый спрашивает своих: «Убить его, что ли?» Это меня-то! А я ж не очень пьян и двадцать годков только, и ажно пот по мне. Тут наши подошли.

С нами один дворянин был, даже и товарищ как будто. А знал я, что дворянин,— не верил ему.

На стене офицеры нарисованы. Наши же и рисовали для смеху. Брюхаты, усаты, растопыры. Видно, что для смеху. А я не смеюсь, а я так бы и убил, а я видеть просто их не могу — до того старое болит.

Я-то его признал, а он всех разве упомнит. Мы в солдатах, что волны, все на одно лицо. «Подойди»,— говорит. Подошел. Он хрясь меня в зубы, и раз, и два, и сколько-то. Зашелся я кровью, сплюнуть хочу. «Глотай»,— приказывает. Глотнул я со всеми зубами. А он меня в глаз, а я в землю, он пальнул, а тут как бабахнет! Он со стульчика — кувырк. Наши подошли.

Жили да были, провождали время. Тут революция одна другую сменила. Та — ихняя, эта — наша. Всё житье-бытье переменилось. И хоть напополам они разорвись, а по старому времени им не провождать.

Хороша работа, когда сам в ней хозяин, тогда хоть нужники чистить, всякий труд мил. А для врага, да под его глазом, да для его выгоды — перышко с земли поднять тяжело.

Вот, думаю, я ему работаю, зато сыто ем. День так думаю, два так думаю, на третий обижусь до последней кровинки чего-то. Все свои нехватки, все его лишки пересчитаю, ничего ему не прощу, работа омерзеет. А что делать?

Им кто по плечу похлопал — они и рот до ушей. Нас на такое не купишь, мы на овес не ржем.

За шинель его споймал, он треплется, не дается. Ни у него, ни у меня оружия, а ни чайной ложечки. Оба раненые, а пустить друг друга не в силах, до того врага знаем.

И не выходит, что как бы противу своего народу мы воюем. Сперва, может, и было, а как я-то попал — одни там офицеры.

Теперь другое, теперь и приказы, и дисциплина. А в прошлом годе куда проще воевалось. Знай одно — кто враг. А уж как того врага доходишь, то твое дело.

Мы за хаткой прилегли, напротив они перебегают, так, с угла. Я одного подстрелил. А он шкандыб-шкандыб — в хату. За ним кровь ручеечком. Я удержать себя не в силах, не на немецкой войне,— в хату за ним. Тут и он меня подстрелил.

Я одно хочу узнать начисто. Кто это такое различие в людях пустил, что одни господа, а другие — голые-босые?

Ты думаешь: хлоп! — и готово, сразу разделились. Нет, брат, это еще при древних людях вышло, что одному привалило, в хозяйстве как бы удача. А сосед ни колоса не нажал. Один силы набрал, другой к нему за кусок в кабалу. И стал этот один, того — другого — в кабале держать, не отпуская. Чем другому отбиться было? Своего ничегошеньки. И так на долгие годы.

Заработал волк зайчатины, а мышь голодает. Лег волк вверх брюхом. «Чеши,— говорит,— мышь, мне пузо, а я тебя за это содержать стану». Содержал, содержал, пока ему мышь пузо не прогрызла.

Бедные да богатые — вот тебе и всё. А добрые да злые — это только по своим людям идет, бедные до бедных, богатые до богатых. А чтоб эти тем — одни разговоры.

К нам добры, значит, нужны мы, не иначе. Я в денщиках чесоткой заболел, так мой-то при мне врача спрашивал, долго ли я болеть буду, и другого в денщики взял.

Теперь наш ход. У них в глазу ласка, а ты не верь. Где нам место, им пожар. Теперь у нас под ногами ихняя жизнь былинкой приникла.

А мы их любили? Ненавидели. Оттого и грубы мы, что желчь в нас кипит. При хорошей жизни, я думаю, грубых не будет.

Держит сынка на коленях, картинки ему разъясняет, читает сынку. Думаю, счастливые вы, рассчастливые, нежены, учены, с детства никакой обиды не знаете. Отчего ж, думаю, такими вы зверями на нашего брата сделались?

Они нас жечь, погреб толстенный, только дыму напустили. Они водой заливать, погреб не ведерко, не зальешь доверху, только штаны намочили, утопить не вышло. Тогда нас землей завалили и топ-топ — ускакали бариночки. Откопались, я первый свет увидел, вышли.

Я заметил: где много хороших домов в местечке, и вещей, и роялей,— там особенно бедно есть живущие, в нужнике просто. Как бы на весах отвесили: нате вам столько-то на место, а делили не поровну.

Мне кухарочка тут одна говорила, что ищут деревенских баб господа на работу. Да чтоб баба победней да потемней. Чтобы всё ей с непривычки хорошим представлялось.

Отца на германской войне убило, мать в город ушла, в кухарки. И я при ней. Вскоре господа меня не захотели, объел я их что ли. Мать меня к свояку в пастухи. А я ушел на нашу войну. Ух, господам не забываю.

И кой-какие господа без мяса живут, от святости такой. Зато уж молока хлещут да масла жрут, ажно салом заплыли.

Устали до чего: чем встать, лучше помереть, до того на печках нам хорошо лежалось. Вдруг известие! В соседнем сельце барин вернулся с отрядом каким-то, ста-

рую власть ставит, крестьян пересуживает. Мигом на конь, кто как — и туда. В самое время мы порядки навели. Вот-вот всех бы пожгли бесы!

Как я ихнего брата не люблю, аж в грудях холодеет. Может, образованный и разъяснил бы, а я ненавижу — и все.

Смех у них нехорош. То вроде издевки, то как хвастает; то сыты очень на наших продуктах.

Притаился, смотрю. Вытолкали двоих каких-то, бежать. Сколько-то пробежали — хлоп в землю, без выстрела. Что такое? А паничики хохочут в дверях, ажно с ног валятся. Что же еще вижу? Волокут назад этих бежавших. Волокут, с места не сходя, как бы мешки. На веревках их бежать пустили.

Как непонятно говорит, веры не давай. Не свой. В отличие от простого обучен не нашему языку.

Мне выбирать не приходилось — кто запряг, тот и вел. Да стал я чего-то через шлею ноги перекидывать, своих зачуял.

Кабы не знал я про татар, что они хорошие люди, подумал бы я так: наши господа от татарских вельмож остаточки. Те триста лет наш народ катовали.

Взяли меня, ладно,— чего здорового не взять. А удержать не удержали,— где здорового удержать.

Без слов слыхать, кто брат родной, кто враг кровный.

Бывало, глянешь на пленного: ох ты, думаешь, батюшки-матушки, за что ты разные народы на такие мы-

тарства послала? А теперь увидишь врага — напополам бы! До того от него чужим духом в нос бьет, хоть бы и русской он крови.

Бредит сквозь жар: «молчать» да «молчать». Просила дама внимания не обращать, из ума, говорит, выжил. Так-то так, да на таком выжил, что и жить ему ненадобно.

Белому поляку, раз еврей... одним словом, увели еврея, да и хозяйку с ним, и как не было, как пар, как сгинул. А еврей этот к ней в панике забег, она спрятала, жалея.

Стоит, не смотрит. «Кто тебе бумажку дал?» Молчит. Били, били, всего перебили, в яму бросили гнить.

Кабы я в плен попал, тотчас бы удавился, чтоб врагам моя силушка не поработала.

Белые вошли, я в лазарете выздоравливал, слабый, как моль. Впорхнуло трое офицеров, по сапожкам хлыстиками пощелкали, по всем палатам шпорами прозвенели, упорхнули. А нас заперли и подожгли. Хорошо, что власти сменилися, лазаретные горящие двери открыли.

Подожгли, ушли, нам двери заколотили. Наши вошли, двери открыли, ходячие лежачих выволокли, только не всех, конечно. Я же ползком ушел, подо всеми ногами путался, истолкли всего.

Ох и не люблю я нежных: ляжет — кряхтит, ходит — стонет, ранят — вопит, жрет — губу вешает, без мыла — брезгает. За леденец продаст, халва паршивая.

Мой молоденький паничек сидит, с собакой занимается. Собака ему вещи носит, то — то, то — это.

Спички там и папиросы, туфли какие, что велит. И я при нем, в денщиках, то же самое делаю. Только и разницы, что собакой он перед приятелями хвалится, а я не в счет.

У нас говорят, будто Питера и нет давно, будто в болото ушел, или будто немцы взорвали, или будто генерал какой-то сжег Питер за революцию.

По-белому-то оно, может, и так, а вот как по-красному выходит?

Все мы беднота, только в том разница, какая кому жизнь пришлась. Одни вольно летают, другие порядок устраивают, а враг у нас один. Это после своей войны увидят, что беднота вся одинаковая.

Постой, говорим, сукин сын, станем к твоему гнезду ближе, посмотрим, какой у тебя на дому флажок висит. Как к его округе подошли, не стал он геройские слова говорить, насчет отца-матери поругания. Ан и вышло: кулачили его родственнички. Сняли мы у них сливочки и юшки не оставили.

Говорят, генерал, фамилии не знаю, а русский, послан был от немцев Питер брать. Да отбили наши, выпороли лампасики.

Они, бывало, соберутся на простом бережку и давай ахать: «Ах, красиво! Ах, вид! Ах, деревья! Ах, зеленая трава! Ах, то! Ах, это!» Я вокруг них хожу, удивляюсь на них просто.

Златоуст в старину был, златые слова говорил, для золота, для богатых.

Как грянул гром, никто концов не схоронил. Всюду враг, всюду вещи. Все голыми руками бери. Куда я вва-

лился, там муж-офицер у жены ночевал. Он последние петельки застегивает, а жена в белой сорочке ему шашку подает. Тут я. Она — ах! Он — бабах! Я на него, жена за него, и закурилась сладкая ночка дымком пороховым.

Тут революция, тут я воевать за свое дело. А какое свое, не знаю, одно твердо знаю — кто враг.

«Деды мои,— кричит,— вашего брата на сук выменивали, кобелей за вас отдавать жалели, а вы надо мной командовать собрались. Шкуру сдеру!» И содрал.

Ненавижу я их до чего! Строить хочешь, ан рушить надо, все из-за них, врагов.

Всему народу видать, а он нос в пухи-перья сунул, солнца не примечает. Хай дохнет.

Простых мы у них в плен возьмем, так наших же красноармейцев. А так — все офицеры да юнкера. Как бы дворяне противу нас, простых, а не то что красные или какие,— народов там не видать.

Скорей бы к морю пробиться. Первое — врагов в море скинуть. А еще на море очень поглядеть хочется. Песни знаю про синее море и сказки знаю, сам же не видал моря.

Господа прежде всего за море отдыхать ездили, вот пускай и теперь прокатятся, мы им и дорожку покажем.

Господа за море подадутся, да как бы приказчиков у нас не оставили, доходы ихние беречь. Без доходов заграница их не больно обласкает.

Господ под каблук, а слуг господских как? Слуги, бывало, для нашего брата хуже господ лютовали.

Всех собрать, перед трудом поставить, по крестьянскому ли, по мастерству ли. И глядеть, кто как возьмется. Тут сразу белые руки в нос шибанут. По виду же теперь не различить, а бумаги все сожжены.

Когда войну кончим, пойду золото искать. Разбогатею, по заграницам покатаюсь, на разных языках забалакаю, всему обучусь, вас разыщу, всех вас за большие деньги найму... нужники чистить.

«Ты не больно командуй. Мы,— говорит,— командиров-то пораскомандирили. Я,— говорит,— от всей округи слова свои говорю». Позеленел, как задрожит, как затрусится, как заприказывает,— всех рабочих распулеметил.

У тебя земли сколько? А были такие землевладельцы, по 75 тысяч десятин под себя засовывали. Да еще и с нас пухи-перья щипали.

Благодетелей не стало — от лихо! Некому под крылышко голову сунуть — от горе! Надо вольно летать, дождей не бояться — от беда!

Кто ты такой, что руки у тебя белые, сам же ты, как и мы? Кто ты такой, что как говорить, так язык красным знаменем распускаешь, а как бой — приказы писать? Кто ты такой, что как жрать, так все с колена лижут, а тебе ножик, вилочка, тарелочка? Я тебе скажу, кто ты такой,— враг!

Враг виден. Звездой сияет, не утаится. Первое — от достали лоснится; второе — не любит даже глядеть на нашего брата; а третье — сердце мое его просто не переносит.

Думаю, что был бы я на богатой жизни, незадразненный, неизволченный, я бы никого словом не обидел. Так мне сердце обогреть охота, что аж тоска бывает.

В кого ты такой, может, тебя в мужичью семью подкинули, может, ты кукушонок какой, байстря барское? Нежности мечтаешь. А ты за кулак топором плати, так тебе и к образованию ближе будет.

Это бывает, что сердце стоскуется. Тогда же еще лютее к врагу, что из-за него, из-за крученого-верченого, ненасытного, житья устроить настоящего нельзя, в семье своей голову на отдых приклонить нельзя.

Ничего я врагу не прощу! Воюю я с ним еще недолго, а в счет ему все несчастья свои ставлю. И отцово пьянство, и материну злую чахотку, и братьев-сестер темноту, и свое сорванное в злобе сердце.

Красивого паничка я вчера убитым видел. Как девица, красный просто. Волос кольцами, зубки белые, и лет ему мало, видать, маменькин мизинчик. Вот и думаю: может, его еще и переучить на наш лад возможно было, кто знает...

Я знаю. Я волчонка переучивал. Допереучивал так, что, почитай, всех соседей обесптичил. И били же меня за того волчонка! Так я его и не переучил. Убег он в лес, на прощанье телку зарезал. А тоже красивенький был, и зубки белые, да еще и с хвостом.

Не пойму я богатых, до того обучены всему, всех чужеземцев понимают, на всех языках говорят. С нами же слова совместного не найдут. Как бы не с одной родины.

VII
ПЛЕННЫЕ

Меня как взяли, не чуял жив быть. Но неудачно меня расстреляли, легкое продырявили. И все как раз в самую пору, и силы осталося из ровчика выползти.

Я в плену счастливо был, не до меня им пришлося, ушли вскоре. А некоторые прежде взяты были, так все чисто без зубов и руки-ноги покалеченные, кишки же отбитые, пищи не принимают.

Подшибли мне ногу, я сел. Прошу тряпку, дыру заткнуть в ноге. «Не просыплешься,— отвечают,— до смерти недолго!» Ни пить, ни есть, швырнули в яму, в лужу просто. Трое суток гнил. Вот это так плен. Наши выручили. А ноги нету.

Бой не в счет, только на теле вражие руки кандалами горят, до того в плену замнут-захватают. А что одежу сдерут, а тут ногою в зад, а тут велят тебе после этакой смертной устали с коньми вровень перебежку до места делать. А если плен не из важных, живого не доведут.

Я боюся, а тот как бы смеется. «Что ты,— шуткует,— раненько так себе смерти ждешь? Ступай поперед». Иду, а он нарочно за спиной оружием пощелкивает. И повисли на мне ноги мои пудами.

Заглянул в яму, велел пленных выволочь, на волю выпустить. «Тикайте до лесу,— говорит,— а я стрелять по вас буду, кто целый в лес, тому воля». Только всех перестрелял. Где уж им, мореным, зайцами через кочки сигать.

И нисколько я вас не боюся, за кажным моим волосом товарищ.

С пленными разговоры запрещаются. А у нас кроме этого что интересного-то? Ни книжки, ни разговоров. Бывало, дорвешься до разумного человека, так хоть в петлю головой, а в своей части не гнездится.

Стойкий был, били — хоть бы охнул. А как вели мы его потом, так откуда только слова нашел,— такие слова крепкие, что переглянулись мы, да с ним в кусты.

Самое в плену худое — не голод да неудобства и не обида, а вот то, что противу своих посылают.

Пошлют, а мы уйти норовим, не воюем. Бьют и стреляют нас, пленных, за это. А что поделаешь, не идти ж.

В бандитах плена не берут. Дома ихние летучие, под колесом каталажки не скрепить. Кого возьмут, того и забьют.

В бандитах пленных на часок заберут. Кого за деньги, кого за грехи какие. А больше забьют.

И жаль, да что сделаешь? Ни тебе времени не дадено, ни тебе толку не видать. Как плен, так и враг. А разве они все одинаковые?

Мы так никого не доводили. Время горячее, враги кругом, торопко живешь. Прикончишь его на пути — для времени сбережения.

Опять-таки и беречь некогда было. Я было одного припокровил, ан в ту же ночь ихние надошли, все равно пристрелить пришлося.

И вины нет. Братва голая, перемороженная, а тут топчись по снегам для вражьего сбережения.

Эка «ты бы не так»,— а в штаб семь верст, глина выше головы. А тут они нежные, плюнуть гадко, плетью плетутся. Ну, сперва-то гонишь его чем попало, терпишь. А вспомнишь, кого семь-то верст пасти, так до того скушно станет, и убьешь.

Может, и сберегли бы каких нужных в обмен, да этот, как за околицу, так сейчас: «Бежить,— кажет,— ягнятки, мы вам не пастухи». Поробеют маленько и бежать, а их — словно зайчиков.

Троих поважнее велел вести до места. И приказывал беречь нужных людей в обмен.

Сколько заложников перевели из-за шитья разного. Вздумали их для верности нагими гонять, так кабы не зима.

Ткнешь его ногою тихонько — он те в землю, словно неустойчивый какой. Не под ручки же его вести. Так всю дорогу и кунял носом в грунт, просто без лица доставили, до того рожа о камни вытерлась.

Куда уж ему бежать, берешь битого, стреляного, почитай, и добивать в нем нечего.

Как нужники чистить, так нас назначают. А как в тюрьму вести кого, так ни за мильон не пошлют. В бой нас не водили, перебежать можем. В денщики нас брать брезгали. Так за что нас и кормить-то было?

Сбили в кучу, с месяц под дождем на дворе держали, спать на мокрущей земле, есть воду толченую. Ученья никакого, кроме матерщинить. А потом, как псов каких, на голоту выпустили.

Вел я его один. Одному несподручно убить, неловко как-то глаз на глаз, не приходится. Как много нас, хоть покозыряешься для смеху. А тут молчки идем, ажно взненавидел.

«Ты,— говорит,— не трудися за сапожки заряда гнать, и так сыму». Ну прямо мне в душу глядел, до того мне сапожки полюбилися.

У него при дороге кума в окошке светится, а ему верст сколько-то волков пасти велят. Тут как за околицу — так и к дьяволу в штаб, да до кумы тепла набираться.

У него в кармашке письмо нашли, взяли, читают. Побои — терпел; ругню — терпел; раздели — терпел; взяли — терпел. А как стали письмецо читать — заплакал.

Ночью на нас навалилися, да у нас лихие ребята, спят вполглаза, отбились. Еще ихних перехватали, друг со дружкой скрутили, в часть. Ну тут Онисим кажет: «А нуте, братики, спытаемся у врагов, может, они в часть-то не хотят?» Те как бы не отвечают — молчат. Онисим и кажет: «Значит, не хотят,— пустить же их на волю пташечками».

Связали натуго, левую руку особенно жжет, веревка по ране пришлась. Аж мутит меня от боли, сплюнуть же боюсь, за все бьют.

Держали нас плохо, всё содрали, голые, босые, без портков не убежишь. Потом обмундировали. В баню сводили и послали против своих воевать... Не поспоришься, как по частям развели, один ты на сто. А я все же сбег.

Заслуженный такой унтер-офицер был, самый сверхсрочный, усатый, весь в медалях. И просит он, сверх-

срочного этого, при церкви его определить. Дед в похвалу принял, определил. Церковь при тюрьме, наш при церкви служкой — ковры чистил, кадило раздувал, угольки готовил. Красота! Сейчас он кадило теплит, сейчас с арестантами языком треплет. Не знаю, как до бога,— до своих дошел.

Помню я, на той войне немцев пленных конвоировал. Прикурить давал, разговаривал. А немцы суровые — не курнет, не ответит. Так такая жаль берет, думаешь: вот сирота, серчает. Так бы и объяснил ему. А теперь дадут тебе пленного, так такой он тебе враг — как с ним говорить?

Не я плен, меня плен увел. Был я тогда белый и так скучал, так не по мне, ажно изжога. Тут взяли мы плен, я плену уши открыл, а он мне глаза. Вот я и здесь.

Привели меня. Судят погоны золотые, все полковники. На столе водочка, папиросы насыпаны. Они хлоп стакашку, хвать папироску — неспокойные судьи. Допрашивают какого-то, всего избитого. Старый полковник говорит: «Вот вы кончили всякое высшее образование, а между тем вы такой дурак, что верите немецкому шпиону, Ленину. Ведь верите?» — «Верю».— «А в бога веруете?» — «Нет,— отвечает,— и больше я ни слова не скажу». Забили его, за ноги уж выволокли. И за меня принялись...

Гляжу — Спирька! А мы его в покойниках числили, а он живехонек и одного за другим нашего брата из подвала перед их благородные глазки предоставляет. В подвале темно, не разглядел он меня со свету, за ворот ухватил и волочет. «Не задерживайся,— кричит,— а то еще не поспеешь, до тебя твои товарищи сук обломают, висевши». Тут и узнал он меня, под моими синячищами таки разглядел. Аж пожелтел, аж дрогнул, аж споткнулся. И шипом таким мне на ухо: «Тикай! Не попадись!»

«Мы сейчас,— говорят,— на столбе тебя повесим, в столбовые дворяне и произведем». Потащили, ох, неохотно я шел! А тут еще и раненый, я еще и кровью сильно сошел. Так ведь бабушка наворожила! По пути они к куме завернули, меня в избе у порога кинули, за стол — пьют, жрут, песни горланят. А меня, для удобства не вставая с праздника, ногой пнут. «Жив ли?» — крикнут. Я молчу. Разгостевались они до грому просто. Я под тот гром через порог кой-как перевалился — как быть? Я ведь как мышь слаб. И тут ихняя же кума ко мне выпорхнула, увела и до поры прикрыла. Все за нас.

«Служи нам верой и правдой, заслужишь жизнь».— «А сколько времени служить?» — «Тебе что, некогда?» — «Боюсь, не успею заслужить, наши вам живо дух вышибут».

Старушка одна, говорят, там много наших из плена выручила. Славна она была на всю округу крепким самогоном. Напоит их на пути, нас украдет, укроет где кого. Они как прочухаются — нет плена! Искать же боялись и старушку самогонную под беду не хотели подводить. Объявят по начальству — убили при попытке, и все.

Взяли его в плен, служил он им, очень он смерти боялся. Только вышел такой случай: мальчонку им приволокли небольшого, какого-то красного командира сынка. И забили они его насмерть. А этот увидел такое, как заорет-завопит, как ощерится! «Изверги,— кричит,— да кругом вас по воздуху кровавая злоба дышит, сколько есть глаз вокруг, все на вас глядят-грозят! Псы от вас в леса ушли, волками вернутся!» Схватил со стола револьвер чей-то — бах в полковника, а потом в себя.

Не знаю, как и думать про плен. Кабы еще плен вроде от боя спасал, так нет. Гонят, сволочи, под пули, против своих.

Кто это тебе свои, такому? Ты вот и плену рад, лишь бы от бою увильнуть, тебе Иуда свой, а мы тебе не товарищи!

Нас в хлев швырнули, в навоз, мы же круто связанные. Клянусь и обещаюсь: и я так с ихними пленными обходиться стану. Однако, как привелось мне к своим вернуться, я честь свою держал. Убить убью пленного при нужном случае, а не измывался.

В очень хорошую квартиру нас привели, и велел он нас развязать. Теперь беда, думаем, что-то такое готовят небывалое! Еще и вежливый такой. Ждем. Вежливо все спросил, что положено: имена, откуда,— все записал. Потом велел конвойным уйти, сидит, молчит, на нас глядит, и не сердито. Ох, беда, думаем. И вдруг он нам тихо: «Оба вы сидите тихо вон там в углу, ждите. Ночью я вас возьму отсюда — и ведите меня на волю, дожился я здесь выше всякой меры».

Да, бывали чудеса! Я раз, охмелевши, к чужой подушке прилип, и сплю, и сплю, бери меня в плен голыми руками! И ничего. Ни белые не прибыли, ни хозяева не убили. Вот так-то и живем.

Этот болтался от них к нам, от нас к ним. Раз пять в плену побывал,— слаб, думаем, не увертлив, попадается. И вот раз узнали мы его на самом его деле. Захватили нас беляки, в сарай сунули, а на страже у дверей — Прокошка! Свой вроде, родня им, га-га-га с псами этими! И чуба отрастил! И одет чисто! Шепчет мне дядя Петр: пусть убьюсь на этом деле, а ему жить не дам! Да как вскочит, да на Прокошку! Тот верезжит, все ополумели, рук-ног не разберут. Пока опомянулись, мы мимо них на волю, Прокошку в дверях им падалью оставили.

Плен душу портит — вот всего хуже. Как-то и себе не веришь, как-то вроде и делать тебе нечего, как-то тебе все ни к чему, как-то тебе по своим товарищам смертельная тоска.

Из плена у них только чудом уходят. А я не так! Меня беляки в сарае забыли, очень уж спешили нашим перинки уступить.

Ночь месячная, все видно. Где мы заперты, и то все видать. Солома наворочена, из нее босые мертвые ноги торчат, в углу кто-то убитый искрутился на земле, а над головой двое удавленных под ветром на веревках колышутся. И всего этого распорядители какие-то, пацаны-недоростки, рядом в избе под граммофон визжат и гогочут.

Не знаю, как считать этот плен. То ли винен я в нем сам, судить же меня как будто и не за что, а сам себя сужу. Кабы еще обе ноги были прострелены, а то одна-то оставалась?

Перебили ястребу крыло, так он на одном улететь рвался, до самой смерти бился! Так вот и надо.

Э, нет. Не согласен я так. Куда для дела лучше выжить живым да поискать со сноровкой, со смекалкой случая, смести с пути своего белый сор да к товарищам вернуться. Помереть-то и ворона может, а ястреб, он за жизнь бьется.

Он меня на себя тянет, а я его на себя тяну. Оба раненые, оба голодные, оба голые. Шипим друг на друга как гуси. «Сукин ты сын,— говорю,— своего же бедолагу-крестьянина к белякам в плен тянешь!» Ослаб он, и я тоже. Я его до нас привел,— вон он там зубы скалит.

Я в плен не дамся ни за какие силы. Пусть убьют, а с ними я соседствовать только в бою согласен.

Все-то он в этих местах крутился, все в этих местах. Люди с боя рады спать до одури, а он глаз не заведет.

Где-то тут поблизу женка его молоденькая осталася. И бродит, и бродит, и бродит, и до плену добродился.

Старики говорили: плен смерти страшней, мордуют и мордуют, на своих посылают, и стыд ест днем и ночью без всякой остановки.

Я в плену изокрался весь. Как где снедь, не могу себя удержать, у малого ребятенка украду,— оголодал до потери совести.

Часть третья
С ЦЕПИ СОРВАВШИЕСЯ

VIII
БАНДИТЫ

Мне тогда превыше всего воля вольная показалася. Какого это черта волом на немца пахать, да еще и землю свою, не чужую. Ушел я в бандиты.

Будто и до нас идут немцы,— не ждать же. Спалили добро и в лес. К ночи надошли в лес какие-то, собрали мужиков помоложе и увели. Шли охотно, чего беречь-то.

С фронта денег привез, лошадь хорошую. Тут не знай что сталося. А тут немцы в хату. Я до соседа, у того в хате немец. Сосед на коня, я на кобылу, да так второй год пройдисвитами и летаем.

«За тии гроши,— кричит,— я со всем семейством жилы свои тяг, не быть же тому, чтобы казать вам где, лучше я языка лишуся!» Вот ему язык и вырвали.

«Чей ты?» — «Крестьянин».— «Богатый?» — «Голый я».— «На же тебе,— говорит,— голый, кошель и обрез, ступай с нами в лес. Каким хочешь богам молися, только одного не забывай: голоты не обижай. Вся на свете голота одного рода. Что красная, что белая, что робкая, что смелая».

———

У нас из господ ходил в бандитах. Зверей всех. Особенно в городах баловал, по рынкам, по лавочкам, по еврейским семействам. Тут мы атамана сменили, тут ему допрос: «С чего и для каких причин так зверствуешь?» — «Чтобы грому на все Европы наделать, аж до Америки»,— говорит.

Дополз я до опушки, и лесу-то всего на три пополздня. А у самой опушки четверо как бы спят. Один к другому как бы щекой приникли, не по-мужескому. И ни движка, ни дышка! Я к ним,— костер заглушенный, в золе восьмеро ног обгорелых, разутых, связанных пристроено. Чья ж это штука?

Мы больше топили врага, болото кругом, «белая русь» звалася. Тоже русский народ, да мелок и бел — от голоду и вечной обиды. А леса, а болота, а ни пашни просто. Одно слово — царю охота, мужику болото. Царь там для охоты всё зверям скармливал, народ же тощал с голоду.

Визгу я бабьего смерть не люблю. Настращаешь для вещей каких-нибудь, неважных, неособенных,— так не хуже свиньи резаной баба заверезжит. Бросишь и ее и полушубок ейный.

Я подошел. «Давайте узел,— говорю,— помогу». Она мне узел еще и через плечо подала. Встряхнул я узел спиною, оттянуло аж до пояса. И твердо так давит. Думаю: «Никак, сапоги», а разве спиной прощупаешь? Ну, долго ли, коротко ли, сшиб я старушечку в неглубокую канавку. Сам сел на обочине, босые мои ножки ажно ноют по сапогам. Раскинул я узел, тряпки да шляпки. И одна твердыня в мякоти — труба самоварная! Ну, что ты с такой старушкой сделать должен?

Оттого мы баб одариваем, что и бандитам отдых нужен. Ну уж сама себя береги после нас, мы-то этим бабам цену знали. Пока нужна — по шею в баловстве держим: наряды, пить-есть и золотые вещи даже. А ухо-

дить соберемся — вида не подадим, чтобы не продала. Пусть уж сама как знает потом изворачивается.

Толстый, важный, усы в нос лезут. «Не кончилась,— говорит,— война. Увезу вас в Киев с большевиками воевать». Повезли, а мы с железной дороги да на лесные тропочки.

Дома я только печку облеживал, ажно бока залоснились, до того я весь извоевался. А тут ни тебе покою, ни тебе печки. Пошел в бандиты.

Как посидели мы в бандитах и месяц, и год, стали на людей непохожие, обросли, дикого виду. С мохнатинкой и зверинка обуяла.

Сошлись мы с одной улицы, идем купно и песни спеваем. Тут вышли к нам из кустов. «Куда вы, молодые ребята?» — спрашивают. «Работу искать, головы рубать».— «А кому вы головы рубать собираетесь и есть ли у вас рубила?» — «Головы рубать будем заносчивые, а рубила от вас дожидаемся».— «Идите ж,— ответ нам,— до нас, и будет вам рубня и рубила».

Вышел он за нуждой, ворочается смертного цвета. Чего такое? Из колодца, говорит, черти лезут. Тьфу ты, взяли сору, тряпья в мешок, мешок на цепь, подпалили да и опустили в колодезь. И завопили в колодце черти. Высунется который — дрючком его. Замолчали невдолге. Мы слазили, сбочку выемка, пища, амуниция. А люди на дне. Испортился колодезь.

Уж какой я смелый, а как рыл я свою могилу — не идет заступ ни на нос комариный! Круть заступ в руках, верть — словно проволока. А сзади для скорости прикладом меня.

Семейство такое чистенькое, мать да дочка-барышня, вроде как бы машинистка или учительница. Голодная,

а к руке не идет — крепится. Вваливается он, аж дымит самогоном, да к барышне: «Айда в баню!» Волочет. Мать лбом по полу, молит, зашлась вся. Барышня молчки не дается. «Не пойдешь,— говорит,— мать каблуком раздавлю».

Ты до войны в школе учился, на войне книги читал, с товарищами рассуждал. Я же деревенский, одна у меня учеба — земля. Теперь кругом добра всякого понакидано, кто мне его добудет, ты? То-то... С дисциплиной укладки не набьешь.

Шутка ли, чужое добро поровну деля, себя за троих счесть! До чего же умен! Удивляюсь, как тебя в главковерхи не выбрали.

Я на вещи не обижался. Делят, обделят, еще случай будет — мое не уйдет. Абы мне весело.

Я добрей всех был, молодой, не обижался, вещей не брал, кроме часов. Часы я любил.

Были отряды честные, служебные; были и грабители. Эти различья не делали, где много, где мало. Им бы взять, а у кого — меж собой жители разберутся.

Квартира — дворец. Мягкости, недотрожки, картинки, перинки. У меня мамка, бывало, над глечиком [1] плачет-разливается: разбить — не купить. Я и перебил им все. «Привыкайте»,— говорю.

А в укладочке в одной серебряного на роту, а в укладочке другой белья на больницу. И всё на одно кубло [2] семейное, а еще люди. Ночью стук — что такое? Старая самая у укладочки, здравствуйте! «Не отдам!» Да иди ты

---

[1] Г л е ч и к — глиняный горшок, кувшин *(укр.)*.
[2] К ý б л о — гнездо; здесь — дом, хозяйство *(обл.)*.

к ляду, спать людям, а не казни казнить. Не послушалась, до чего к укладочкам привыкла. Пропала за укладочки, а может, ей бы еще с полгодика прожить.

«Мне,— говорит,— восемьдесят годов». А нам разбирать некогда: лошади же хорошие и бричка. Документы кажет,— смотреть не стали и поехали с ним. Ночью слышим — перхает. Утром ехать, а он скончился.

Зимой мы почти не воевали, нам нельзя, не такое мы войско. У нас военные квартиры в лесу, под крышей нас долго не терпят. Бандитов всякий гонит, если осилит. Зимой мы не военные, в своих родных хатах стоим. Придет весна, кинем домы, геройствуем.

Зимой в лесных землянках ютились, над кострами коптились дочерна.

Шуб мы к зиме наберем, на каждую спину две-три. А толк-то какой? В землянке костер, жарко, шуба коптится-вялится. У меня веселая лисья шуба до того черна стала — все за козла считали.

Теперь ловит власть за бандитизм, прежде вольней воевалось. Летом, бывало, людей да вещи когтишь, зимой на печке кряхтишь.

Надоели мне бандиты. Глядишь — ничему не веришь. Эдак-то и прежде разбойнички воевали. Даже и в сказках так. А толк?

Я франтить люблю, не в стыд это никому. Я особенно насчет галифе разборчив. Вот на мне хорошие синие галифе, а в мешке еще есть бархатные, зеленые. Из хорошей занавески мне хозяйка их пошила.

Я люблю особо часы и кольца. У нас так бывало: добудешь — тебе третья часть. Да третья часть атаману. Остальную же часть на всех, как бы в казну отдаем.

Одним духом все версты отмахал, чтобы думок не думать, не вовремя не сробеть. Приехал, в его дедовском кабинете сел. Привели его. У меня аж сердце в глотке, гужу протодьяконом. Глаза на нем желтые, сам ни гугу. «Давайте,— говорю,— бумаги и деньги, и пожалуйте к стенке».

Шел я верстов сколько-то, к человеку не соседился, всякий враг. Из каждой щели гроза, на погибель, скажу прямо, шел. И пришел в то место, на тую улицу, до той хаты. В окошечке свет. Я дробненько стучу, как сговорено. Выскочил детина, сшиб, сгреб, в хату сволок. Чего было! Я же все молчу: бейте, больше смерти не выбьете, а я на своих не доводчик.

Все жил и жил, все как следует. А тут ему нового помощника, а тут глянули они один на другого, а тут наш отвернулся, да и застрелись под френчиком.

Как-то я золотые деньги отнял. По правде говоря, ограбил у дядька одного. Владелец нажаловался, пришлось по счету сдать. Одно я упросил, чтоб не владельцу вернули, а в казну нашу.

Не везло мне в регулярных войсках служить, не встретились. В прошлом году думал я, что хорошо попал. Хоть и атаман, а больше тысячи с ним ходило, и по родам оружия: артиллерия, пехота, конница — как следует. А пришлось уйти из-за непонятия. То белых атаман глушил, то красных. Кого встретит, того воюет.

Теперь вот срам, а в прошлом году и ходов людям других не было, как в бандиты. Терпеть нельзя, в дому трепет, бабы заиндевелые ходят, даже ласки не прини-

мают, до того залапаны-замордованы. А тут вдруг братва, своя — не чужая.

Встал он перед нами и говорит: «Предлагаю я себя как бы в начальники. Теперь мы осталися без всякой власти, а жители кругом разбойнички, еще и иностранцы есть. Соединимся и пробьемся куда-нито на волю». Мы согласилися.

Всем скитом пришли, атаман сперва и брать-то не хотел. Тут белые надходят, монахи винтовочки получили и хорошо себя повели. Приняли их. Одно не подходило, сильно маливались. «Вы,— говорят,— обрезанные стали, а мы православные». А так — мужичью правду хранили.

Цельную ночь звенело да лязгало, обрезы обрезали. Спасибо войне, наготовила.

Никакие ему и прежние законы не нравились. «Не про нас писаны»,— говорил. А сорвало старый закон, он ушел в бандиты, нового закону по-своему добывать.

Как я бандитом стал, и не скажу тебе точно. Думается, так дело было: пришел с войны самовольно, дома все в окошко поглядывал — не идут ли за мной назад на войну силком тащить, сомневался все. Тут у нас в селе замитинговали, и какой-то кричит: «Берите оружье, идите свободы людям добывать!» Покричал, ушел. Я рад идти, а куда идти — и спросить было некого. Тут этот покликал, восемь мужиков нас с ним ушли. «Будем,— говорит,— как кто горазд свою жизнь делать». А что делали, ох!

А мне в бандитах куда веселей. Никто тобой не командует, один Витька план делает — куда грянуть. А не хочешь, и не иди с ним,— только что выгоды лишишься.

———

Какой я бандит? Опасаюсь я, как бы, в толковую компанию попавши, за дезертирство не пострадать. А меня в хомут теперь не сунешь добром. Пить же, есть нужно.

Вот ты с шумом таким налетел на местечко, оружие у нас громкое, ошарашит всех. Лет же мне немного, и удал я очень характером, люблю попугать. А убивать я бы не убивал, да беда шабры-разбойнички. Откажись-ка! Ты, скажут, святей нас жить хочешь? А убьешь раз и еще убьешь без счета.

Убивать я не убивал, а грабил крепко. Я приладился баб грабить, тут тебя на грех не толкнет. Баба визгнет и отдаст барахлишко, убивать не для чего.

Мы если в богатый дом попадем, добра от нас не жди. Очень мы богатых не переносили. Откуда богатство? Как добыли? Для кого берег? Каким богам кланяешься? Как такой от нас уцелеет?

Богатых не переносили, а себе его богатство забираем. Только мы с того богатства не богатеем, мы на бегу, на скаку, негде с богатством расположиться, только и есть минутка — выпить всласть.

Ни разу мне мать и пригорнуться к своей печке не дала, как я в бандиты пошел. А я ж ее как уважал. Уж я ей и подарочки, и все наинужное. «Геть из дома,— кричит,— и с добром своим грабежным». Ни еды, ни одежи, ни золотых даже вещей — ничего не хочет: «Геть от меня, бандюга, и все тут!» Я ж ее до того люблю-жалею, что выкачусь из ейной хатки и аж хлюпаю, как пацан.

У нас на столе гуси-поросята, пироги-галушки, самогону кадушки. Царь так не пировал, а уж на что бандит был! Тут дверь — скрип! Моя маманя входит! Я как увидел — обомлел просто, и хлопцы все замолчали. Схвати-

ла она меня за рукав: «Пошел домой, бандюга! А то я тебя батогом!» Я, ей-же-богу, штаны подтянул, из-за стола лезу, за ней домой идти! Тут как грохнут наши, регочут жеребцами, я к лавке прилип. И мать не послушать боязно, и перед нашими бандюгами стыдно. Посмотрела мать молча, плюнула и ушла.

Теперь я из бандитов навсегда ушел. И смех и грех с ними. Стали мы как-то правила становить, чтобы как у людей: как что делать да как что не делать — так просто животики надорвали. Ну, виданное ли дело — по правилам народ грабить.

Дверь она забыла запереть, мы с Петькой в избу, оружье в руках. А с печи нас двое маленьких мальчат увидели, перестращились, на нас вытаращились, не моргнут. «Где мать?» Молчат. «Застрелим!» Молчат. Осмотрелись, пустая хата, взять нечего, да и мальцы какие-то неудобные.

Нам собака хорошая тайнички разыскивала. Вломимся, что поверху всё порядком приберем, а собачка верная за то время принюхалась и в полу лапой царапает. «Здесь ищите»,— говорит. Половицу подымем, а там клад божий. Хозяева, бывало, на Дамку очень удивлялись.

В домах теперь дети, да деды, да бабы еще. Мужики воюют. Вошел, глянул, перестрашились — бери всё без окрика. Я вот и гармонь эту хорошую так же взял.

На какую бабу налетишь! Я как-то вошел ночью, дверь не заперта, за столом баба молодая, красивая, на локотки опершись, сумует. Я к ней: где муж? А она спокойным голосом: «Сам знаешь, что убит муж, потому и полез ко мне. Вон из хаты, застрелю»,— и в руке у нее вдруг револьвер.

Мы глубоко в лес ушли, оттуда и налетали. Только очень нам зеленые мешали. Добудешь всего, запразднуешь, а они навалятся, всё у нас заграбастуют — и нет их! Мы им уже на сосне прокламацию клеили, чтобы шли они в бандиты и работали совместно. Ответили они письменно: «Нет, мы зеленые, а бандитов брезгаем».

Хорошая баба никогда бандиту не доверится, знает, на чье зернышко кудахчет. Что такая баба бандитская, что сам бандит — одно зелье.

Вот так-то мы в той большой деревне и жили не тужили. И до того дожились, что вся как есть большая деревня от нас одной ночкой в лес ушла.

Такая твоя бандитская жизнь позорная, что как ты свою удаль нам ни показывай, а от тебя воняет, рукой тебя тронуть скверно. Ты бы удаль на настоящее дело двинул, тут тебе и хвастаться бы не пришлось, сразу бы мы признали.

Их трое, а они ворвутся куда хочешь, окна вдрызг, дверь топором, через трубу лезут, в хлеву скотину рубят, в закутке птицу давят и кота с собакой вешают. И все они только трое, во! Любуйтесь!

Куда хорошо, куда геройство! Но в том отказать нельзя, что по молодости даже от тебя, дурака, о таком послушать занимательно. Надо бы трех этих обористых бандитов разыскать, пообразумивать. Они бы по своей лихости и нам пригодились.

У нас старуха в стряпках ходила, знаменитые нам кушанья готовила. Я, говорит, по хорошим господам прежде поварила, так мне теперь только при бандитах и не обидно, провизии вдосталь. А то кругом картошкины очистки жарят, разве мне это к лицу?

IX
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Под одной рукой мешок,
Под другою бочка,
Подсажу, красавица,
За жаркую ночку.

До того полно, до того людно,— сто лет думай, а так не разместишься. Стойкою люди стоят. Приспичит за нуждой — так хоть на головы. На нужничке крышка поприкрытая, и на той крышке удачливые мужички кипяток с сахаром лакают. Доберется какой-нито до нужника по головам, кричат ему мужики: «Что ты за барин, люди чай пьют, а ты к ним с... лезешь».

Мы на крыше, а внизу думают, мол: баре.

А мы возьми да покойников на площадку и выставь. Никто и не полез.

Мы только поездом и кормилися. С городов бабы да ловчилы на все капиталы провизию в деревне соберут да мимо нас на поезде и вертаются. А мы поезда застопорим да всю провизию на дрючка и перекупим.

Сейчас мы старую телегу поперек путей, паровозишки слабые, стула не свернут. А сами мешков напасем, вооружимся и ждем. Идет наш-то кормилец! На крыше бабы с провизией. Споткнется машина о тележку, постреляют маленько, если есть кому, бабы поверезжат. Ну, забьем кое-кого, а дело наше больше насчет провианту было.

Влетели на кониках. «С чего,— спрашивают,— такое запустение?» Разъяснили. «А если у вас взято,— говорят,— так и вы берите. Ходим с нами до путей!» Рельсики развели, поезда дождались, они постреляли, мы забрали на поезде всего. Деньги коннички за помощь увезли. А мы покормились на малое время.

Шли мы осторожно, ползком ползли,— вот путь разобран, стали. И полезли на нас дикие люди какие-то, овчиною вверх, рожи позамотаны — чистые звери. А в руках у них все, можно сказать, трудовые снаряды: и вилы, и грабли, и топоры, и ножи, и серпы, и косы. Одной бороны не хватало. До чего мужик доведенный был.

Мирные, мирные бабы, дети. Так не лезь по путям в этакую завируху крутую. Тут нам время шкуру спасать, а не цацкаться.

Поезд за поездом и цугом и шагом. Вещей и вещичек. От большевиков спасаются, опухлые с голоду, а в заду бриллианты.

А этот станет с бочку́, острым глазом глянет, две минуточки подумает — и сразу: «Порите, товарищи, крахмальный его воротничок».

Насильничали мы с поездными не хуже бандитов. Он тебе толком разъясняет, а ты весь, словно бомба на разрыве, аж шкварчишь. Да еще и скопы нас тут. Конечно, убьем всякого. А уж кто в поезду — те просто сапогам слякоть.

А машинист: «Права,— говорит,— не имею». Ему револьвер к лобу. «Что ж,— говорит,— едем, только далеко на таком не уедем». А нам выбирать не с чего. «Вези,— говорим,— довезешь — жив будешь, а не довезешь — пропала твоя голова».

А машинист молчки отцепил да на паровозе и втикать. Осталися мы, вагончики решетчатые, теснота — винтовки осадить некуда, с крыш все полезли, а враг стреляет, а потом с дрючком пошел. Которые из нас целы, так чудом, может.

Подскочили мы, минутки на роздых нету. Душит просто, до того наиспешно. А машинист сбег. А никто на машиниста тута не учился. Мы станции начальника за шкуру, на паровоз его. А тот почти что старый, обомлел. Эх, гнилье! Как вдарили — дух из него вон. Давай сами орудовать, крутили, крутили — рвануло. Ну, недалечко прошли, как крушилися.

Слякотище, а с него и обувь ползет, в поисках подошва оторванная. И лепится он по грязи непролазной и без денег, и без подошв.

Мыто жито, терто,
Да не вытерто,
Бито нас, изорвано,
Да не выбито.

В роте на крепком клею бриллиантики к щеке приклеила, так шепелявая и провезла.

«Ах-ах», а сама хуже вора, вся захованная. Места на ней порожнего нет, до чего вещей упхано; одно с ней дело — грушей трясти,— сыпанет с нее на землю золотце.

«У меня,— говорит,— конечно, спрятанные вещи. Я вас за это полюблю, а вы пропустите». Тот как бы с удовольствием, а потом все и отнял.

Не то еду, не то ползу поездом. Лесок, зовут нас дрова рубить, паровоз топить. Не до работы. Стрелочникову хату разобрали, несем сухое это топливо к паровозу,— что такое? Нет машиниста, и когда сбег, никто не приметил! Пошукали его недолго и пошли.

Столь я вез, думалось: вот забогатею. Да не вышло, сперва как бы по закону отняли да еще сверх закону шею намяли. Вот я и обандител до дикости.

Мы из вагонов всё поскидывали. «Езжай!» — кричим. Отвалил поездок кое-как, застукал и за лес подался. Слышим — дитячий плач! Глядим — девчушка малая. Мы ее второпях с мешками из вагона вышвырнули, думаю. Так как быть, не брать же ее с собой?

Говорят старые люди: теперь последнее время, скоро конец света. Может, оттого и в поездах такая бестолочь? Ни свистка, ни звонка, ни билетика. Есть ли машинист, нет ли его — не знаем. Кто топит, тот и едет.

X
ТАНЦЫ

День первый — страх кругом, и ты, и житель — все боятся. На другие сутки заторопимся вокруг себя: жилье там, барышню, насчет театра и где — что. На третий день все как бы в полном порядке, вольное тело танцев просит.

Гул, топ, пыль, гремит музыка. Девицы, будто и не голодные, к руке идут, только держи крепче. При устроенных танцах служба наша нестрашная, выскочишь с арестов разных, дамочку под груди, отдыхаешь-крутишься.

Если музыка хороша да на руке ласковая барышня — все горе заверчу.

Машинистка у меня была хорошенькая, только скучная какая-то, даже глаза на меня не наведет. Пытаюсь я у ней: что такая? Виляет, не говорит. Приглашаю на танцы — не приходит. Спрашиваю,— ноги болят. Что такая за гордая, думаю,— дай погляжу, может, подозрительная? Перед вечером зашел я к ней на квартиру, и оказалися она да мать в параличе и просто без куска; не запляшешь.

Мы даже как в деревне, так и то танцы ежевечерне. А уж в местечке — так не под одну гармонь. И что

за удивление? Почитай, в каждой семье горе, а пляшет весь молодняк отчаянно.

Крутимся, она и говорит: «Где ваш товарищ Петя?» — «А на что?» — «Обещался он мне на обыск сегодня с танцев сводить,— зонтик мне очень нужен».

Никогда я и не думал, что танцы хороши. В деревне ли, в части ли мы больше плясали под гармошку, а насчет танцев издевались. Теперь же большая перемена в нас, мне теперь пляска груба сдается, а на танцы — и не нагляжусь. Просто с чего эти нежности?

С того пляска груба сдается, что обгрохотала нас война, а тут еще плясать станешь, копытом затопаешь. А танец, он уставшему уху не в боль,— шиши-ши, все шепотком. Ну, кой-где притопнешь по старой привычке, а грому нет.

Я у них уж вторую неделю в жильцах состоял и очень в нее влюбился. Стал хозяйку спрашивать. «Не родня нам она,— отвечает,— а привел ее какой-то полковник, и я приняла». Влюбился я и стал ежевечерне с ней на танцы ходить. Спрашиваю: чем занимается, с чего живет? «Занимаюсь танцами,— смеется.— Танцую,— смеется,— хорошим кавалерам со мной танцевать радость, с того и живу, с того и забота у них обо мне. Вот и вы стали так же обходиться».

Танцы хороши. Барышня под рукой теплая, с тобой наравне, куда ты ступишь, туда и она за тобой. Я высокий, глянешь на нее сверху — ну жаль даже станет, даже добреть можно.

Плох я насчет танцев. Я как пень-обрубок, мне силы девать некуда, а тут: не прижми, не наступи, не толкни, не крути шибко, не руганись. Не по мне танцы.

У меня характер вежливый, я начальство уважать люблю. А вон оно, начальство, рядом с тобой дамочку вальсом крутит. Хорошо.

На танцах только то и плохо, что и начальство здесь. Напрасно они к нам соседятся. Ошибочку делают. Они думают, честь нам великая, а мы их просто переносить не можем. Куда бы лучше было, что им, что нам, друг на дружку пореже любоваться.

Я прежде хорошо танцевал. Бывало, зайдусь, пляшу, ничего не помню. Теперь бы вот так, да не выходит. Только закрутишься, ан шум-пальба. О враге вспомнишь.

Пляшут и пляшут, как слышно — ба-бах! Как огонь, как дым, как со сцены мохнатые шапищи. И танцоров на штык, на нож, под бомбу.

Подхватили мы барышень и ну крутить. Как тарахнет по крыше, и потек на нас потолок кусками да пылью. Электричество потухло, барышни визжат. Командую: «Музыка, продолжай!» Еще веселее стало.

Он песни играет, а мы пляшем. Дам у нас не водилося. Друг с дружкой да кто как. Потопчется-попляшется, в куренек сунешься,— как-то и спать веселей.

Протанцует разка два — стрелять в потолок. Взял эту моду. «Так,— говорит,— веселее и чтоб войны не забыть».

Крутись дзыгой [1], а головы не скручивай: может, сейчас замест трубы пушка заиграет.

---

[1] Д з ы́ г а — волчок (*укр.*).

Вот я тебя танцевать научу. Вот обхватил я тебя. Теперь топай, топай со мной враз и не противься: топай-крутись,— куда я тебя кручу, в ту сторону и топай. Вот так. Да на ноги мне не наступай, старайся мимо топать. И с дамой танцевать так же будешь. Только сам ты ее крути, куда хочешь. Ей особенно старайся на ноги не ступить. Я-то еще от твоих копыт оживу, а дама насовсем из танцев выбудет.

Глядь, одна, ну просто моя жена покойная, до чего похожа. Нигде столько женщин не перевстретишь, как на танце,— на всякую судьбу есть.

Мне танцы для чего нужны теперь? Первое: женщину без обиды обнимай; второе: передышка как бы, дело над головой не виснет; третье, найглавное: музыка и смех кругом. А где это теперь сыщешь?

На танцах у нас самая с женщиной дружба. Жмешь ее до крику, ничего, смеется. А без музыки облапь — заплачет.

Чем бы и сердце греть, кабы не танцем. Все вежливые, весело, и женщины нарядные рядом тут.

Ступает, ногою заворачивает, чисто медведь на цепи. А в танце — пером лебяжьим летает. Всю, бывало, тяжесть под музыку терял.

Такая танцорка была, пройдется, ручкой манит, платочком машет,— всякую войну забывали коло ней.

Покрутишься с девицею, аж пот с тебя. Пять минут с ней покрутишься, словно тебя в церкви оглашали, с самого конца начало.

Невоенные у нас не танцевали, однако дамочки всякие бывали, даже и офицерские. Эти к танцам привычны

и ловки, только нежны очень, как что — визжит. Я, бывало, так нарочно на ножки ихние ступаю.

Нас на танцах офицеры всякого веселья лишали. Придут, как с честью, самых красивеньких позаберут, любезничают с ними, ажно те дурные вовсе станут. А что делать?

Устроили все, музыку приказали, всех известили и барышне на квартире сказываем, чтобы приходила. Она губкой эдак — брезгивает. Ладно, думаем. Написали бумагу, вечером приношу: «Ввиду недоброжелательного отношения, как подозрительный элемент». Струсилась. «Что такое?» — спрашивает. Я разъяснил. Она иссиня улыбается. «Это,— говорит,— у меня голова болела».

Не пускали ее к танцам родители,— мы их и арестуй. Однако она нейдет. В чем дело сталося? Плачет, говорят.

Все наши головы на танцах поскрутили. Я у них на квартире стал и просто всякие опасности отвращал. Но вдруг просит моя блондиночка билет на проезд, ненадолго. Достал я ей разрешение — укатила. Через недельку сестра ейная просит. Эге, думаю, да и придержал птичку под арестом и вызнал: моя-то на Дон к жениху укатила, и вторая было туда же билетика себе вытанцовывала.

Плясать — пляши, а глаз с нее не своди. Три-та-та, а под кружевцем женишок белеется, погончиком встряхивает.

XI
АТАМАНЫ

Стонет волк, просит зверь
На дворе:
«Ты открой мне дверь
На заре.

У меня, атамана,
Сила есть,
Что добра наломано,
И не счесть!

У меня волчаки
Молчат,
У меня молчаки
Волчат.

У меня родня
Бьет-жжет,
Не дождаться мне дня
Хорошо.

Всё в огне, в дыму
На селе,
Мне в твоем дому
Веселей.

У тебя соснов
Потолок,
Чтоб никто основ
Не протолок.

У тебя дубовый
Накат,
Чтоб ничья не прогнула
Нога.

У тебя голубые
Глаза,
Не пойду, атаман, я
Назад.

Ох, попал я, волк,
Атаман,
Скоро сядет ночь
За туман.

Мне на солнце головы
Не сберечь,
Так открой ты мне дверь
На заре!»

«Что ты стонешь, что ты воешь
Под окном,
Что ты просишь, что ты молишь
О таком?

Пусть придут, пусть увидят,
Найдут,
Пусть узнают, убьют
Тебя тут.

Пусть ослепнет мой глаз
Голубой,
Если сжалюсь я над волком,
Над тобой!»

Не стыди меня, маманя,
Заделался атаманом,
Атаман я, воевода
Для простого для народа.

Свел у тебя немец худобу? На, за каждую голову столько. Сжег у тебя офицер хату? На, столько-то на стройку, строй. Убили у тебя враги родных-кровных? На, вот тебе обрез да коня, становись за меня, да не для себя, для всех. Вот он какой!

«Коммунист?» — «Таков я»,— говорит. «Есть у тебя гроши?» — «Нету»,— говорит. «А что у тебя есть?» — «Билет,— говорит,— да револьвер».— «Будь же ты,— говорит,— коммунист, с нами в друзьях, и с билетом своим и с револьвером, противу общего врага». Вот он какой!

Лицом до того ужасен — чистый Петр Великий, и рост такой. Одно не по-петровски было — борода по колени. Так то уж вроде Пугачева. Все страхи на нас намешал.

Как вот в курень, шасть дядя в сажень; да папаха для страха, бородище по пуп, да ножик с пуд; один глаз дерьмо, на другом бельмо; зубы гнутые, губы дутые. Приснится — под себя сходишь!

«Видывали,— спрашивает,— вы царя?» — «Видали»,— говорим. «Глядите,— говорит,— на меня, такой он молодец живал, и может ли он противу меня?» Стал он перед нами, есаулы его под руки держат, они здоровые, а он словно осокорь [1]. В плечах у него сажень, кафтан на нем парчовый, усы вьются, зубы белые, глаза огонь, румяный — красота. Вот это атаман был.

---

[1] Осокорь — один из видов тополя.

Что за атаман — ни росту, ни силы. А потом поглядел, как он под пули грудь оголил, думаю: за смелость держать следует.

Я всех почти атаманов знаю, ну такого серьезного не встречал. Первое — не по-атамански в очках. Второе дело — не русский и никакой,— может, цыган какой-нито. И третье, перенести невозможно, как взлютует, завыкает на «вы», словом доходит. Этак-то разве воля?

Тот атаман был ученый человек. Книги с собой возил иностранные. Бывало, тревога — так он неспешно носа из книжки вывязит, да и на конь.

Тот атаман не просто рожден был. Отец будто у него раввин, а мать будто монашенка была. Вот он и вышел такой сумной, и думка в нем повсегда, и крови хочется, и молитву любит. Кто его знает, шалый.

«Вот я вам,— говорит,— всю казну на руки, все вино на руки, всю провизию на руки. За то уж руки мои. На что топора дам, то и рубите, не умствуйте».

У нашего имя крещеное не песенное больно было. Поп атаманову отцу назло скрестил. Так наш до того попов взненавидел — из-за ихнего семени и атаманил.

Как в место, сейчас попа перед очи, допрос: как жил, как пил, чего с амвона брехал, чего за требы бирал? А народ на поповском деле плохой свидетель.

Попа нет — сам служит. А мы чтоб стояли. Терпели мы, терпели — да и ушли. Мы его вожжами взяли, а он нас под богов. Он-то из попов, да мы ему не прихожане.

У нас расстрига атаманил. Иноверцев не принимал, все мужиков православных. И чтобы при нем кресты

сняли, и пяткой наступили,— это у него вроде как присяга была.

Привели ему попика молоденького, горячий попик, стал грехами корить. Отчитывал,— грехи, мол. Атамана того видно не было, только сподручные слушали попика, и ничего. Как хватит попика пуля не знай откуда. Сгиб попик, а атаманова и палатка не раскрылась. Кто говорил, что баба он, а кто — что нет его совсем. Никто не видал. А может, он князь великий был, кто его знает.

Мы себе атамана за голос взяли. Вроде запевалы. Бывало, самое заячье сердечко на бой песней подымает.

Знавал я Петлюру, невидный дядя, ничего особенного. Кто его знает, с чего он носа крутил, а сильно задавался.

На той войне был у меня соратничек, как бы дружок, звали его Васильком. За тяжким ранением отправили его, я скучал. А вестей не знали мы друг о дружке. Я думал, сгиб он от болячек разных. А я отвоевался, домой. Тут завируха эта. Я путей выбирал, зря время провождал. А тут к нам подошли чьи-то братишки атаманские. Кто их знает. Кармана мне зацепили, и пошел я к ихнему атаману перед лицо правды допросить. Привели меня в ту хату. Сидит под иконами дядя, весь от ран перекрученный, ажно глаз у него один. А нарядный, а гордый — шапка козырем. Глянул я на того ледащего, да тихесенько так: «Здорово,— кажу,— Василек». Аж червонною кровью морду ему залило, до того признал. Сам же остатним глазом кругом зырк-зырк, да вдруг прямым голосом ко мне: «Какое,— говорит,— у тебя, мужик, дело до меня, кажи швыдче». Как услышал я про мужика, как стал я его матерно срамить, как стали они меня бить — не чуял и в живых остаться.

Никогда б я прежде не поверил, что каждый человек убивать может. У меня сосед был Сережа, тихий и как

бы святой. И кличка ему была «Сережа Дух». Так этот «Дух» теперь атаманом зверствует.

Привели ему одного, ан тот кровный его сынок оказался. Глядят друг на дружку, снял отец шапку, в землю кинул. «Не могу,— кричит,— свое семя судить, какой я вам атаман». Однако простили ему, оставили сына как бы вестовым.

Как в местечко пришли, сейчас велел он народам пианолу заводную доставить. «Тогда,— говорит,— никого не обижу. Давно,— говорит,— кортит мне та музыка». Изловчились народы как-то, достали ему. А он еврейчика молоденького в придачу взял, к инструменту. Да так и ездил с музыкой, немалое время под музыку атаманил.

Превыше всего он лошадь свою любил. Бесценный такой конь под ним играл. Сказывал атаман: за каждую такого коня кровинку по врагу забью, если придется. До того кровный конь был.

Атаману первое удовольствие было — птица певчая. Зимой при нем скворец ездил в клетке. А канареечки у его бабенки у одной зимовали. По тем канарейкам его и выследили.

Видали Деникина генерала? И приказывает своему какому-то Деникина представить. Тот представлять стал, ну чисто тебе обезьяна, а не генерал. И Николая Николаевича рассказал, вроде Кощей. А атаман как заголится: вот же я какой, на тех непохожий. Здоровый, чисто жеребец, с таким не пропадешь.

Привели к нему всех коней и все коляски. Ходил-ходил — выбрал. Теперь, говорит, давайте мне барыню до коляски. Привели ему — выбрал себе соколиху, сел с нею в коляску, поперед нас едет, а мы песни поем.

За ту самую соколиху сколько он народу перешиб! И муж-то ейный кругом волком рыщет. Как кто отобьется — убьет. Да и атаман от красоты зазверел, чтобы на нее не залицались. Бывало, ты на нее глазом облизнешься, а он — бить. Перепортила соколиха дружбу.

Женщина атаманов любит. В самую черную минутку спрячет — побоями из нее не вытянуть, смерти не побоится. А за то, что смелые да счастливые.

Очень женщины атаманов любят. Лестно, что ли. Да и денег вволю, да и вещей-нарядов,— царицей водит, до поры.

Запретил баб атаман: коли вы, говорит, товарищи, так и служите друг дружке, а бабьим теплом не грейтесь — продаст.

Дисциплина у него какая, бывало. Курить — так и то по приказу. В лесу, говорит, баловство лешим на руку. Строго живите. Пленного до того, бывало, вывернет — за человека не признать. К селу нас не водил, утечете, говорит. А мы и так утекли, а его в кожух обкрутили, да и зажгли в костре. Ревел бугаем.

«Стань,— говорит,— сынок, и смотри в мои очи не сморгнувши. Выдержишь — жив будешь, не выдержишь — пропала твоя головушка». Так себе войско насбирал, наиверных людей.

Коло него были верные во всем, за атамана насмерть. Он себе из вражьих петелек дружков добыл. Вот и служили так.

Есть одна у нас поговорочка — с атамана проку мало. А интересно! С тебя работы и смелости требуют, за то и воли во враге не снимают. Что ты хочешь, то с ним и делай,— хоть ешь его.

«Вот,— говорит,— тебе сумма немалая, вези домой, а сам к утру вертайся,— не все еще слезы сосчитаны, не все еще гнезда змеиные повыжжены».

«Чией сундук?» — спрашивает. «Мой»,— говорят. «Петро, тащи сундук у тачанку».— «Чия шуба?» — «Моя»,— говорят. «Петро, тащи шубу у тачанку». Сперва узнает чья, уж потом тащит.

Подпалит жилье, побьет житье, крови нанюхается — да в спирт головою.

Атаманова близнеца за брата забрали, а как дознались, что не тот, так перекроили ему все лицо за сходство.

И говорит им атаман: «Братики, до того похожие вы, нельзя такое как бы чудо целиком по свету пустить. Кидайте жребий, кому из вас жить, а кому помереть».

И сразу всех вешать. А подо мной ветла и посмякла, до земли. Я ведь вон какой, здоровый. И до того они смеялись, ажно в живых оставили.

Мы с немца в большевики желали, да некуда податься было. Надо — шел тут чужой человек с Дону. Смелый такой, косоглазый весь. «Идите,— говорит,— за мною, не хуже большевиков врага выкрошим». А тогда растолковать некому было, да и терпеть некогда. Так и пошли. Да что-то до толку не доводил: сегодня офицеров глушит, а завтра над мастеровщиной тешится. Абы разбой. Ну, окружили нас какие-то солдатики, он в болоте и утопись,— самая ему смерть.

Уж на что монахи-схимники головой тупы, а тоже кой-чего понабрались. Из них один у нашего атамана неплохо геройствовал, а так что не по правде, так он сейчас и вступится: «Не так, мол, нас учили, например». Атаман же сразу от таких его слов и затоскует, и запьет.

Привычка у атамана большая к разбою была, с другой же стороны, и монашек агитировал.

Копытко, тот в атаманшу влюбился и сгиб, как в сушь гриб. Паром вышел! Ушел от белой мобилизации и прямо в лес. Там тогда вроде как контора по найму была. Враз он хозяина нашел, чужими руками головы рубить. Взял его атаманчик, маленький такой, красивый, горячий. Как что против, так атаман подпрыгнет и в зубы. А воины от атаманова кулака в смех. Что такое? Баба! И влюбился, и влюбился. Атаманша же никаких с мужчинами забав не водила, да и воины до нее живым не пустят. И сох, и сох, и сох.

Это хозяин был. Вошли в место, всем распорядится: кого на тот свет, кого на выкуп придержать, кого с собою на писаря взять, бабу свежую и верного человека на охрану, может, и родню, чтоб к нему никого не пускал бы. А сам спать. И спит, хоть бы трое суток, сколько на том месте постоится. В походе же глаз не смыкал, хоть месяц ходит.

Генерал этот белых вел куда-то, черт-те знает куда, за границу, что ли, вел он белых. Через реки, через горы, мимо Каменца. А там атаман задорный атаманил. Вся округа в дружках, как в своей хате. Нашлет молдаванке стравы, велит всего наготовить. А молдаванка на генеральском пути. Из трубы дым, ажно розой пахнет, до того смачно. Жарят, парят, не в голодной же хате становиться. Генерал к молдаванке. Жрут, пьют, барствуют. Спать лягут. Тут атаман, как кречет, как с неба падет, только пух взовьется.

Тот атаман чисто монах какой был. Оттого с ним больше месяца не ходили. К нему за волей, за раздольем, за гульбой, хоть бы и под смерть. А он вещи запретил, жидов запретил, баб чужих запретил, самогон не позволил. «За свое воюете,— говорит,— так не балуйтесь». Как что — порет. Кому охота...

Наш атаман, сказывают, четвертое войско переменил. Первым походом ушли с ним двенадцать, из его же

родной деревни. И всех двенадцатеро он под Мережной потерял. Кого побито станишниками, кого повешено, кого как. Вторым походом пошел он сам-четверт, с родней своей. Всех их белые на сучках вывесили, ворон кормить. Атамана же будто голодная ворона с веревки склюнула впопыхах. Очнулся — пошел третьим походом, сам-один. Тут пришлось ему важного какого-то из кадетских рук выгрести, взяли его большевики в дружки. Теперь он с нами воюет.

Он на конь, гармошка вместо бинокля под затылком болтается. Сколько ему этих гармошек пулей передырявило!.. Торчит рожном, на прицел. Черт его охоронял! Гармонь сменит и жарит польки под пулемет.

Ночью самой до нас посол прибыл. Сговорено было ничем его не потревожить, как бы и не в лесу. Ну-к, что ж. Он на машине, мы на тачанках, он гудеть, мы тарахтеть. Тут он с машины сошел, седоватый такой полковник, подстарочек. Наш же с коня спорхнул, как с картины,— красота. Они шу-шу-шу-шу, мы ждем. И дождались через время. «Сынки,— наш говорит,— мы с этим полковником союз заключили против красных, кричите «ура». Мы же шапки оземь, полковника в лоб, машину в лом, атаману пулю, да в лес и махнули.

Снял атаман шапку. «Швец,— кричит,— пори в шапке подкладку, да не порви, усы оторву!» Под подкладкой коробочка, в коробочке часы. Надавил пружинку: ди-ди-динь-динь сколько надобно по часам. Так что ты думаешь, из-за этой штучки все наше дело распалось. Сперва у атамана скрали — нашел, выпорол, выгнал. Второй раз украли — не нашел, всех выгнал. Придется атамана искать, а часы-то у меня!

Нажмешь — птичка крохотная выскочит, крылышками встрепещет, завертится и зальется песенкой. Да такой песенкой, что меня аж слеза прошибла! Я-то, с нашим атаманом зверствуя, думал, что и сердца у меня больше нет. А на птичий щебет отозвалось.

Это каков же атаман жить должен, это как же он для нас геройствовать должен, ни соринки в нем для нас неудобной чтоб не нашлось? Вот такой был этот атаман, что мы ему ночных его слез в счет не ставили, плакивал ночами тихо и не скрывался от нас.

К лету всего накопили мы вдосталь, привел нам атаман учителя из местечка, приказал нам учиться. Сам же от нас отделился, в особой избе весточки от жены ждал, посланного выглядывал. Прискакал посланный, поговорили они, выскочил атаман из избы, глаза кровью налилися, чуб торчком, зубами скрипит, голоса не узнать. Нас забрал, налетели мы на его семейное селенье, натворили беды. Он жену застрелил и сгинул куда-то. Учитель же наш сбег куда-то. Так и не выучились, не судьба.

На что мне атамана нового искать? Не надобно. Первое — я отгулялся досыта, удаль стихомирил, силы накопил, поспокойнел так-то. Второе — с людьми умными словами перекинулся, иду к ним, по правилам стану с врагом воевать. И врага себе определю до точки.

Велел себя «товарищ атаман» называть. Я, объясняет, коммунист, а потому отдельно воюю, что вольно летать хочу. Вернусь к ним, говорит, когда лёт кончим, мирно жить примусь. Тогда я на ихнем деле хорошо себя оправдаю.

С нашим атаманом мамаша жила, все с нами терпела, только бы с сынком не разлучаться. Я как-то заболел, чуть не помер, так мамаша эта у меня в головах черным вороном села и просит: «Не вели ты себе батюшку для покаянья звать, помри так, чтобы на тебя сынковы грехи пали. Уж я же за тебя так молиться стану — лоб отобью!» Разобрал меня, болящего, смех, обещал я ей, да вот и не помер.

Атаман как в сказке. Гикнет — гром! Свистнет — деревья гнутся, плясать пойдет — изба ходуном!

Наш атаман образованный был, а в атаманы подался потому, что командовать любит. Чина же он не имел, любой унтер над ним бариновать мог.

«Зачем атаманы живут? Чем,— спрашивает,— атаман не бандит?» Отвечаю: «Атаманы живут затем, чтоб было кому отставших и безначальных нераспоряженных людей собрать и на врага водить. А не бандит атаман потому, что ответ как бы на себя одного принимает, как вы свое имечко всем нашим делам дает. Мои, мол, это дела, коршуновы, или как там еще атамана кличут. Бандит же как ответ, так его и нет, все за него ответчики».

Атаман этот мне дядя приходится. Прямо послал за мной парнишку, приказал к нему идти, оружие с собой и барахлишко кой-какое принести. Я к нему и отбыл из родного дома, да уж на всю эту заварушку.

Удобная была жизнь в лесу, близ нашего села. Атаман свой, сосед, грабил мало, разве налетим на богатое место, всего наберем, и нам и родне надолго хватит. А в случае каком — нас по избам разберут, переодягнут, пожалуйте!

А как ты думаешь, зазря атаманили? Что кругом? Пучит жизнь, как кашу пузырями. Вот такой-то пузырь выскочит из котла, закричит до конца доведенным голосом: «За мной!» Разве усидишь?

Если атаман хорош, так чтó, что атаман? Не в сравнении с белым командиром. Атаман с тобой одного корня, все понимает, ничем не брезгивает, смелости отчаянной, белых бьет-крушит, обхождение щедрое, и всего вволю. Чего еще-то? И честь тоже.

Вот это так честь! На всю округу первые насильники, обидчики, беспомощных людей мучители, пьянюги, самогонщики! Это вот и честь.

Великое ж это дело — атаман. От него мы всего набираемся. Он вроде как нам на пример дан. Гляди, учись, любуйся, действуй. Мразь не наатаманствует у нас.

Просто если говорить, так атаман как есть разбойничий староста, а я с него пример брать? Наш был с виду очень хорош — высок, ладен, одет по-княжески. И голос как у протодьякона. Слова же его глупые были, дела его пакостные, душа у него бабья, характер как у индюка. Трус он и фуфыра. Ходим же с ним за то, что удачлив, с ним не попадемся.

Часть четвертая
ГОРЕ ГОРЬКОЕ

XII
ГОЛОД

На голоде мы всех жалели. Мы не в избытках, да как глянешь настоящего голодающего: как по нем водяные желтые подушки опухлые, из десны гной, как он глух-слеп, недвижим,— последним поделишься.

А тут сытые, а тут замест того, чтобы дать, ищи, говорят. А чем искать, коли ни силы в тебе, ни терпения? И убьешь неосмотрительно.

Голод самое страшное. Через голодное брюхо, иссохшее, никакого впереди свету не видать, понятие пропадает, с чего ты терпеть захотел. Наихудшее. А ведь ты в голоду только через брюхо и смотришь. Потому и страшно.

Шли без куска. И видели, как кто к земле припадать начнет, этот сейчас ему откуда-то кроху, подкормит маленько. А сам все тает, все болеет. Слушки, однако, пошли, что пищи приберег. Уж было отнимать задумали, как свалился он. Спросы пошли, а он приказывает.

«Есть,— говорит,— имущество, берите из шапки». Глянули — галеты пол! Ему давать — не взял, помер.

Легли спать до того голодные, хозяева сбежали. Протягся я на печи, гул в брюхе и боль, а крошки никакой. И куда-то протянул я руку, и куда ж попал, ангелы небесные! Попал в отдушину, на корочку на хлебную.

Ничего во мне разума не стало, волк я волком. Привели — бить стали, а я на полу корочку губами доторкнул и лижу с кровью.

Средних лет человек, при нем мальчик лет двенадцати. Эти лечились тут, что ли, да и сели сиднем на годы. Ни денег, ни одежи зимней. Тихие какие-то, особенно мальчонок. Даже плешивенький такой и не усмехнется. Голодом жили. Отец вечером попрошает где-нибудь объедков неважных — всё сыну, а сам колелый просто.

Стал я им ворон бить. На бутылочное стекло приманивал. Воронье же мясо белое, полезное. А старого с вороны рвать, ученый он какой-то, непривычный у него вкус был. Раз я его крысой накормил, думал, все не ворона, а он, как дознался, обомлел и чахнуть стал. Пище не верит, а другого, кроме воды, не найти. Хлеба просил, а что я, бог, что ли?

Все продовольствие как сгорело, один сахарин. То ли вся наша Россия воюет, ничего не заготовляет, то ли вывезли иностранцы, то ли прячет население,— а ничего нет, идем почти голодные.

Мать по кускам ходила, так и питала нас, Христа ради. И вот пришло для бедного люда время. И вот какие-то злыдни голод на нас учинили. Какая тут божья воля, толкуй! Тут наихудшие люди руку приложили. Только напрасно, мы притерпелые, мы не помрем, мы выживем и по-своему повернем, посмотришь.

Вся семья с голода померла — старики, жена, двое деток. Никого родни. Так что? Я этот голод за богом числить стану? Нет, брат, я виновных и под землей бы нашел, а они куда поближе, рассчитаемся аккуратно!

Я к ней нагнулся. «Аннушка, Аннушка»,— шепчу. Она же руками дрогнула, а поднять их не в силах. Так же и на слова у нее губы силы не нашли. И была она другая, не та, как я на войну уходил. Была она цветом серая, и даже волос у ней как бы серый стал. Голод.

Голод всех съел — и меня, и тебя, еще и разных людей. Мы-то голодные ходим, голод сыт теперь.

Одного царя сбросили, так и голод-царь у нас не засидится. Уж такая наша порода, бесцаревая.

После голода своего настоящего, что боль и скрежет, а не то, что тебе до смерти жрать охота,— стал я совсем не прежний. Жалость я потерял, в людях одну пакость вижу, даже и семью хоть бы за дверь. Да и сам себе не мил.

А я, так напротив того, на все как бы глаза открыл, всего мне как бы мало. Да не снеди, я уж обсытел. А там дружков, что ли, там веселья, там картинок, что ли,— теперь на все мой голод опрокинулся.

Ох, и чего ты меня о таком спрашиваешь! Я и слово-то это позабыть хочу. Одно во мне тогда оставалось — делай со мной что хочешь, только дай ты мне попитаться. Это сперва, а потом — оставь ты меня подышать, утишь ты боль мою, нутро мое боль разрывает. А потом — глаза вылезли, зубы выкрошились, волосья пересохли и попадали. Видишь, каков! И спрашивать нечего.

За голод судить, за голод казнить, за голод смерти подходящей не подберешь. А кто винен? Царь? А где его

достанешь? Беляк? А как его изведешь, если все иноземные войска его берегут? Образованные люди? Так как ты их ущемишь, если все законы знают, увертливые, умны, и все против нас, неграмотных? Жди времени.

Обернуться мы не успели, как они всё разграбили, всё сожгли, увезли, немцу продали. Вот голод откуда, вот кто в нем винен.

У нас в эти дни всего продовольствия — сахарин да кокаин. Оттого и здоровые мы такие, как мышь.

Даем ему, а он, ну совсем как щеня слепая, мимо рота тычет, до того от еды отвык.

Я все новые чаи знаю. Самый хороший чай — весенний, на березовой свежей почке. Второй хороший чай — попозже, на липовом цвете. Осенью самый хороший — корка яблочная. А вот зимой, хоть ты на мозолях настаивай,— все плохо.

Соли нет, беда. Соль-то дешевка, а без соли неловко. Без соли день, без соли два, травы пустили в ход, рвет нас всех, до того живот без соли не любит пищи.

Просто от ветра валились, до чего сголодали за четверо суток. А кругом ни кощенки, ни собачонки, от скота и навозу не видать. Ничего не осталося. Одни бабочки-мотыльки стаями летают, над пустыми полями тучей носятся, шум от тучи той вроде дождя проливного. Даже страшно.

Я все ел, тем и спасен. Ей-богу, землю ел, был такой разок. Уж очень дошло, заслабел, набрал в рот глинки с водой, глотнул. Ничего, стерпел, только что рвота.

Чисто ящик каменный. Кинули и забыли. Голодал. Так вот, на пятые сутки ничего есть не хотелось. А стало как бы кирпичи друг о дружку тереть в брюхе. Шуршит, по нутру сыплется, и тяжелый такой стал.

Есть такие — с голоду к костям присыхают, помирают, так моща мощей. А другие так: с голоду горой раздует и за смертью смердят скоренько.

Пришли мы в деревнюшку, ан живут-то в ней одни покойники. Как мощи сухие, не смердят даже, выветрены и псами обглоданы.

От голода был я толстый, пухлый, как бы сырой. И как воск литой, желтый. Бывало, и спать-то боишься. Как бы во сне челюстями не заскрипеть, до того толст, подозрительный. Жру, подумают, навалятся, приспят, как котенка.

Что такое у горла? Рука. Держу я руку нашего тихого Селиверсты и руки его не пускаю. Он же молча вьется и плачет слезами. «Гаденыш,— говорю,— неужели убить хотел?» Поволок я его к ребятам, как бы на суд. И ничего-то мы ему не сделали. От голода слабый, не в себе, послышалось ему, что жую,— опомниться он не успел, как хорем мне на горло.

В голодные самые места пришли, добыть же провианту нужно. Хоть крысью тушу.

Присохли у ней ребра к бокам, зубы к губам, глаза пустые. Бросил ей галету. Как задрожит, как захрумтит, как забьется.

До того жрать хочу — слов никаких не понимаю. Он мне что-то кричит, а я жратвы шарю, по всем усюдам ищу. В столе крошек горстка, я ее в рот, а в ней кнопка, в язык впилась. А кабы заглотнул?

Снится, будто неголодный я и должен еловое полено со смолой съесть. По-нужному должен, обязательно. Я ем, и смаку нет, а остановить себя нельзя мне. И от пищи той огнем горит нутро и глотка.

Снится, до того будто оголодал — люди какие-то зажалели. Я лежу, а они будто стол ко мне, на столе такое смачное, чего и не расскажешь. И все они копошатся, всё для меня будто, все копошатся, а я в страхе и ужасе, что сроки они прокопошат и есть мне случая не будет; и будто так и вышло.

Будто порося у меня в руках, и вдруг снаряд в хату, и порося вдребезги.

С голоду сон такой, одно видение: будто летит на тебя кус здоровый и все в нем — и хлебушко, и говядина, да еще и от жиру блеск ажно. Летит на тебя эдакое объедение и... мимо. В смертном поту просыпаешься.

Накормили, замер сном на часок. Встал как воробушек — смеюся-радуюсь, что молодой, одужею, до дела доведу.

XIII
СНЫ

Снится мне: война кончена, все наше, у меня на руках всего множество. А я будто оробел, что мое,— не верю и кругом дрожу-стережуся, чтоб не отняли. И вдруг всего лишаюся.

Еще снится мне жена моя живая, испоганили ее будто, а не убили. И будто все она допрашивает, все допрашивает: «Ты скажи-скажи мне, муж, что ты со мною рассудишь, как я тебе байстря немецкое принесу? Тяжелая я». И будто хуже мне это ейной смерти, а ведь как в яви-то я по ней убивался.

Снится мне: я мальчонок и с товарищами в школу пришел. А в школе немец учит по-иностранному. И что мы не так, все он в книжку записывает, а за школой пулеметом наказывают за ошибочки. И во всем сне словечка русского не слыхать — только речь его немецкая, да за школою та-та-та-та.

Приснилося, будто вы меня атаманом назначили, а я нагляделся будто на ихние дела и от красных идти не согласен. А вы меня срамите, что боюсь. И вдруг мне коня и орден, и я повел вас.

Снится мне, будто налетел батька, будто деть мне себя некуда и будто я под батькову тачанку прицепился, с испугу приник. А тачанка будто скоком, а на меня через днище кап да кап то кровинка, то деньга золотая. И громом тачанка по земле гуркотит, и земля под тачанкой поет, вроде как бы выговаривает: кропи меня кровью, золотом мости.

Снится мне моя мамаша покойная. Веселая стоит над нашей хатою. А хата горит дотла. Мамаша же тушить не допускает да и тужить не велит. Гори, говорит, гнездышко, птицам летать вольнее.

Я тоже теперь не весь целый. Сон у меня всегда с одним началом и до единого конца: начало — будто падаю, ору тогда; конец же — будто душит меня веревочка, и тогда ору тоже.

Снится: поставили меня враги, всего посвязанного, носом в плетень, а сами оружием последнюю мою минутку вызванивают. А я к щели глазом приник и вижу: и реку, и лес, и поле колосом золотое, и солнце горит, сияет, и вольные люди ходят, меня дожидаются.

Снится: веду я дитя за руку, а куда веду — не знаю. А дитя не боится, оружием моим играет, а поперек пути вдруг части вражеские на дитя пулемет навели, а дитя смеется.

Снится мне: лазоревое сукно разостлано, вот как бабы холсты белят. На сукне в порядке золотая-серебряная посуда расставлена, на солнце горит. И нас подводят к этому сукну и вежливо предлагают выбрать и взять себе какое кто хочет. И задрожу, и сна нет.

Я в прошлом месяце считать вздумал, какую ночь спим. И вышло, что без выстрела только три ночки ночевали. Хорошо, что снам много времени не нужно, в минутку до старости присниться может. А то бы скучно без снов.

Снится мне: я во фраке с хвостом и в белых перчатках. Я легонько так танцую, как перышко. Я танцую, веселюсь, а сам нет-нет да взгляну на дверь. Вас, чертей, боюся, что засмеете насмерть. И вдруг вы ввалились...

Сон мой такой: поле колосится, ни облака. Как вдруг, не по времени, черная туча грачей саранчою на колос села, до самой земли взялась, и заместо поля золотого — черная грачья сила.

Снится: коршун ширяет великий, ширяет и низится. И чем коршун ниже, тем росту в нем больше. И станет коршун как туча, и вдруг коршун небо все застит, на крылах замрет — и камнем на меня.

Снится: река кровью плывет, берега костьми сложены, а моста нету. За тою же рекою солнце всходит ясное, и пышные хлеба растут, луга цветут, леса стоят богатые. И снится: жизнь там светлая. Стал броду искать.

Такой сон: будто я по краешкам каким-то ступаю и не ведаю, по каким. А кругом вопят и стреляют. А я, будто слепой, и пальчиками скрозь портянки-то вправо, то влево, и нигде ничего твердой земли, только что краешек подо мною.

———

Я, правду сказать, настоящего дерева до четырнадцати лет не видал. А во сне видывал деревья постоянно. Откуда и что, не пойму и за чудо считаю.

Чуда нет, брат, и рад бы тебя побаловать, но уж что нет, то нет. А ты книги читал? Картинки смотрел? Вот тебе и чудо!

Сон он тебе все наново предоставит, что было.

Снов я прежде и не видывал, думал — это женское такое свойство. И вот, с голодом стал я вроде бабы, сны и сны, один другого смачней, один другого завистней для голодного человека.

Спанье великое теперь дело, отдых. А вот сон, да для нас,— да вред явный. И так кругом еще все хорошей промывки ждет. А тут сон, да как бы явь какая. За что взяться, не знаешь, с толку сбивает сон.

Сон что звон, а на что звонит, на что зовет — не знаю. Выходит, мало нам яви, не хватает на полсуток. А сон зазвонит, канет явь, как не было ее. Ослабели мы, что ли, не знаю. Команда нужна.

Враг наступает, дышать некогда, жилы натянутые дрожью дрожат, а ты, срамец, сны видишь?

Сон золото, сон доброе дело. Вот совсем ты себя потерял в жизни этой жесткой. И вдруг тебе детское твое житье приснится, как ты, к мамане прижавшись, на печке лежишь,— сердце и проснется.

На том и спасибо! Спи, спи у мамаши под бочком. А это кто же к твоей пустой голове револьвера приставил и баю-бай тебе поет, не белячок в погончиках?

Снится белый снег, рассыпчатый и глубокий. Ступишь — потонешь. Я ступил и вглубь ухнул, кругом и бело, и льдисто, и до костей морозно. И там судят людей. И меня,— а за что, не пойму, но страшно.

Снится: сменяю я портянки у дороги. Голову наклонил, разматываются. И кто-то будто невидимо руку мне на голову положил холодную и учит глухими словами самому найглавному. Я же за страхом слов тех не пойму, и вода по обочинке журчит, слышать мешает. И оттого тоска, и проснулся.

Снится мне — плачу я, и не знаю о чем, а какой-то ученый человек объясняет: ты не плачь, не плачь, молодой парень, слезы твои от устали, от молодых твоих ног-рук натомленных, а так радость и радость, и вольная воля впереди.

Снится: дорогою гонят нас, кто — неизвестно. Идти же надобно. Ноги же мои липнут до сухой дороги, как до густой смолы. Идти же скоро надобно. И пот по мне, и ужас, а мимо меня товарищи легко ступают и от меня удаляются и удаляются. Я же вот-вот один останусь, а позади страх.

Снится: иду один совсем и пришел в родной свой дом, и все будто мои покойники живы, на столе большой пирог дышит, отец под иконами сидит, огурцы в чашку крошит. И стрельбы не слыхать. А я и забыл про такое.

Я снов не вижу, сплю-отдыхаю. Встану — война! Как еду добывать, как шкуру спасти, как ноги от босых подошв защитить, как ночи живым дождаться,— мало ли дел. И опять спать без снов.

XIV
МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ

Очень нам не нравится
С мирными забавиться,
Ломит косточки с похода,
Не до мирного народа.

Их нет теперь, мирных жителей. Придешь куда — житель дома, в руках у него сковородка, а сыновьими руками в разных армиях тот мирный оружие держит.

Нас только простые привечали, а эти праздника не сделают. Ни яства, ни питья, гроша немае. А те мирные, с цветами да вином,— то ихние, не наши.

К одним попадешь — просто тебе сапоги лижут; к другим — молчки волчатся; а где — словно от чертей шарахаются. И нигде-то нигде просто не приветили. Это мы, а то мирные жители.

Жители хитрый народ, и не всякому впору. Одни нас ютят, другие ихних. Одни при нас нищи и убоги, а при других яства и питья полны столы. Жителя сильно щупать надо, пока не угадаешь.

Очень я прижился. Стали мы уходить, все я вещи у них оставил. Вышли за околицу, вспомнил я револьвер в столе. Вертаться на скорую ногу,— матушки, не узнать! Выряженные, вино на столе, офицериков дожидаются. Схватил револьвер, хотел им грому сделать — не поспел. Не верю мирным.

Все сразу стало видать, будто подпись сделана. На балконах дамочки зацвели, в тех букетами кидаются. И откуда все появилося? Брошечки, сережечки, перчаточки — ничего при нас видать не было. По домам жгут-палят всячинку. Беднота по щелям да в подполье.

Глянешь теперь на мирных — нет хуже ихнего житья. Сами кволые с утайки да с недоедки; дети зачи-

чевелые, словно куры в подполье; вещи вокруг мирных тлеют-портятся; и животное не шумит. Ни собачка не брешет, ни киска не мяучит, ни птица не шебаршит.

Нет теперь в вещи смысла. Разве ж теперь вор вор? Чье он берет? Брошенное. Если кто над добром и расстелет пóлы, так привычка это одна, и ни к чему.

По домам слеглися, словно в бабкиной укладочке старое тканье. Ажно тлеют с недвижности. И никакая-то бабушка их на солнышке не перетряхивает.

В куток забьются, занавесятся барахлом, там и живут. По ночам плачут, до того скулят, крикнешь, бывало, как на собак: цыте!

За голову ухватится, зубами заскрипит, глазами заворочает, до того в сердцах, до того вещиц драных жаль ему, до того он, что к чему, не понимает.

Так же мы не любили мирных за хитрость. Не хочешь версты мерить — сиди дома; только не стережи ж ты дерьмецо разное на стенках. Верите, из-за картинки какой змеей жалит при случае.

У ней разрисованная шкатулочка с карточками. Взял я себе, унес, смотрю. Старые такие женщины в разных нарядах, военные с бакенбардами, дети всякие в панталончиках. А тут она ко мне с претензией: одно, говорит, единственное и то отнимаете. Тю! Шваркнул ей, нате, берите ваших папашенек, нам они чужие и ненавистные.

Всякие финтифлюшки неубедительные. А мирные эти на финтифлюшки кинулися, «память», говорят. Тут мы на этих штучках и сердце свое отвели, и им житье освободили.

Кошку у ней случаем забили, так с квартиры уйти пришлося, до того она кошку слезами поливала, голосила. Сказывали ей: не сын ведь. «А сын,— говорит,— может, раньше убитый».

Тело наше теперь корою покрытое. Мне баня настоящая нужна, а не ванна ихняя. Меня теперь скребницей не соскребешь, а они мне губку тычут. Что я, бабий зад, что ли?

Особенно зеркала кровь портят. Стоит оно чуть не под крышу, и себя в нем походного увидишь всего, до того дикого виду, до того не к зеркальцу, и хватишь по нем, аж гром.

Придешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, сробеют. А разговору не выходит и не выходит. Мы хозяев на пол, сами на пружинах, с вещами не бережемся, грязь там всякая. Не нежничаем. А разговору не выходит и не выходит. Которые из нас в гимназистах хотя были, с теми как бы говорят. А нас боятся.

Мы не очень врачей ненавидели, да и при старом режиме лечили, тут ничего не скажешь. Вот вошел я, сел, а под нами лужа с похода по коврам и лакам. С конфузу мы серчали, и не вина наша.

Не можем мы теперь в целости вещи оставлять. Поглядишь на что-нито, и такая тебя сила за желчь возьмет — пнешь ногой или из револьвера, громче.

Дом барский. Мы стучим. «Кто?» — спрашивает женским голосом. С обыском, говорим. Застучало, зашуршало, заплакало, затопало, дверей же не открыло. Мы дверь высадили. Вещей, вещей, а людей нет. Как лесенка — мы по лесенке. Как дверь — мы в дверь. Вроде чердак, трехног стоит с картинкой, а у трехнога старушка с кистью в руках, и краски размазаны.

Как вошел, комната светлая, на столе самовар, народ какой-то чай пьет. У стены диван. Я на диван и спать. Утром встал, никого людей. Ушел я. На ночь опять на тот диван, около того же стола и самовара, с людьми какими-то. Утром опять ушел. Да так, без словечка единого, почти месяц прожили, не обидевши друг дружку.

Я вещей не брал, даже самых ходовых. Тут барыня одна часы мне совала, чтоб сына из чуланчика не брал. А я сына выволок, часов же не захотел. Мне так куда веселей.

Первый сорт тканье. Тканью совершенные лета, приданое еще. Вынесет тканье старушка, из ридикуля вынет, как младенца, на ручках держит, все ейное сердце в тканье том. Покупатель щупает, щупает, мучки старушке сколько-то горсточек отсыплет, и пошел младенчик по мачехам.

Он университетский, не нам чета, мы его и не взяли. Пешком же вряд ли ему выбраться. Ледоломом народ шел, одни углы, да кровь, да ушибы, да смерти. Не встречались после. А может, и жив, а может, он где-нито на счетах марш играет.

Как-то бегство из Киева было, мы тоже подались. Жена за Днепр, до родни, я в леса, где знакомые воевали. Охапкой меха дорогие барыни разные на себе волокли, жена мехов на мешки наменяла, мешки брали для пищи и от дождей закрываться. А я аж четыре самовара добыл. Два жене отдал, два в лес унес, куренёк уютить.

Белые вот-вот тут, и мы еще сидим, а те и перекреститься не смеют. Так просто миллион из города побежал. Через камни, через мост, через пески. Шли старые старики, шли малые дети, шли барышни на тоненьких каблучках. Вой, плач, верезжанье.

Наш кашевар обидчивый. Наш кашевар в хорошем ресторане поваром работал: как что, я, говорит, на

княжьи вкусы угодить мог, а на голоштанников никак вкуса не доберу.

Нам полковница стирала, царский повар кашу нам варил, профессор нам бумажки писал, печи нотариус топил и еще многие служили.

Мы по пустой лестнице с грохотом идем, как в купол гром. В квартире молоденькая дамочка встречает, сытенькая такая. По всей квартире повела, все показала, чайком напоила. Мы у ней ничего не взяли, даже мучки ей в банку отсыпали. За то, что не как все, не волчилась с нами.

Сколько добра от врага отвоевали, всё почти. А ведь мы только по деревням да местечкам. Настоящие же армии города берут, там заводы дымят, дворцы светятся, все наше.

Мирные — трудный народ. Если ты не очень строгий, не умеешь с ними страхом обращаться,— запутают. И жалеть станешь, и душу скривишь. Лучше мягкому у мирных не становиться.

Тут одна она дома, навела порядки. Винцо да паничики. Тут он через город, суд ей и расправа. Тут отступление, она его и выдала.

Где ихние воюют, от отца-матери не вызнаешь. Зато жены, те сейчас переметнутся. Неверный народ.

Хорошенькая бабочка такая, веселая. Не боится. Эта и белым и красным по нраву, никто не обижал. А она и цвета не отличает, до того мирная.

«А вы,— кажет,— выберите себе хозяина да и ступайте за его стопами. На месте же сидя, мира не добыть.

Одна эта слава, что вы мирные, на деле же вы самый вредный элемент».

На месте сидя, за нас думать не приходится. Нам такая дума не подойдет. Ты наши версты меряй, тогда и дума твоя с нами будет.

Застят себе света выдумками, вот и мордуются. А мы за людей, чтобы им лучше зажилось.

Для этого, говорит, мы воюем, а вы мирные терпите.

Эх, мирные,
Больно жирные,
А от наших щей
Станет тощий как Кощей.

А война для всех них самое ненавистное, и те тоже ненавистные люди, кто ихнее барахло барахтает.

Как отступали, голота с нами ушла. А за речкой вдарили враги, мы жителей с повозок да и тикать в лесок, до поры. Так и жители к вечеру доползли. С бабами, со спеленышами,— что с ними делать, всех не прокормить. Однако бабы пошли, побирались, еще и нас питали.

Всё нам прислуга перенесла. Ящиками макароны да консервы на горище [1]. Махнули мы темною ночкой, дворничек открыл, связали мы его для видимости и горничных девушек, господ позаперли — и на чердак. Ящики до того тяжелы, еле сволокли. У себя смотреть, а там патроны, а там обоймы, а там револьверы. Закопали и стали своего часу ждать.

Зажился я с недельку, тут белые надошли. Мои-то добродетели, гостеприимцы: «Вот,— говорят,— он, на-

---

[1] Горище — верх избы, чердак *(обл.)*.

те!» Шкуру спустили, душу вымордовали. У меня теперь стратегия: как в дом, так гром.

«Кто,— спрашивает,— в вашем дому из товарищей зажился?» Председатель и наведи в наше помещение, а мы там еще до войны поселились, и помещение незавидное, темно, сыро. Ходить из сараюшки. Меня в разведку, бить, гноить. Только ушли невдолге. Вернулся я,— ни семьи, ни добра, да и председатель утек,— взыскать не с кого.

Ходил я, ходил, наменял на спички сколько-то масла. Стомился. А тут ночь, поездов нету. На последний коробок попросился ночевать. Пустили. Лег я как убитый, с устали. Как вот меня хозяин будит. «Тикай,— шепчет,— атаман неизвестный в место пришел». Я из хаты, конные меня споймали, привели, давай документы. Дал я, и масло дал, и сапоги дал, и всю одежонку. Еще и спасибовать велели, что за спекуляцию не расстреляли.

«Лазь,— говорит,— в рундук под овес». Влез я, они у меня под ребрышками штыком маленько пошукали и ушли. Ничего, справился.

Притаился я, ищут, а ходу-то до горы — на руках притянуться. Вдруг кто-то: «У них,— говорит,— горище есть».— «Есть кто на горище?» Молчу. «Лазь»,— приказывает кому-то. А всего-то моего оружия — лемех ржавый. Вот я им и стал воевать. Верите, все воинство до того перешиб — за подкреплением побегли, я и утек. Думаю, хозяевам хуже моего пришлося.

Так я у той кухарочки на печи и пребывал до времени, днем за родственника, ночью в полюбовничках.

Струсился, говорит: «Сами ховайтеся, а я чтобы и не знал». Мы по лесенке забрели в закуток такой. Живем день и другой — ни корочки. На третий день слез племянник до дяденьки. «Давай,— говорит,— хлеба».—

«А я,— отвечает,— и не знаю, кто у меня в закутке живет, а как,— говорит,— знать стану, так довести [1] придется...» И не дал хлеба.

А то свалят больных на извозчика да прямо в часть: «Берите, это от красных осталися, а мы комнатой стеснены».

Берешь не для себя — для всех, на нужное дело. И слов объяснить нету, а тут хитрость, непонятие. Вот и обижаемся мы с мирными друг на дружку.

«Мы,— говорю,— вам теперь за старое не плательщики, Иван Иванович. И не попрекайте. Вы думали, что нам добро делали, а мы так считаем, что только что наше отдаете. Давайте новые счеты заводить».

Нужда у нас во всем, а других промыслов не видно, как у мирных брать. А они, словно ягнятки, до того не обижаются, до того обтерпелые, ажно жаль.

Не могу видеть мирных, до того жаль. Укрылися от смерти зонтичком, ажно смех. А что сделаешь — знает лук, за что слезы льют.

Был я тогда главный, и приходит ко мне бакенбардист седоватый. Шепчет: «У меня,— говорит,— мой прежний барин, заводчик, скрывается. Объел, обпил, заберите,— говорит,— вы этого эксплоататора». Пришли мы с темнотой,— верно, есть такой. Только он на бакенбардиста. «Я,— говорит,— ему за свою сохранность на миллион отдал». Мы в бакенбардистову укладочку, а там золотые деньги.

Квартира разоренная, на окне большущая клетка. В клетке сколько-то канареечек вверх лапками на полу

[1] Довести — донести, сделать донос *(обл.)*.

валяется, подохли. А одна лысенькая канарейка живая по клетке порхает. К нам через решетку бьется. Пищи просит. Мы ей семечка насыпали, на полке нашли, воды чистой в черепок налили, клетку почистили, издохших выкинули. И ушли.

Знаешь ты таких вредных людей, которые всё обсуждают, дела же не делают? «Это для того, это для этого... Это хорошее, то плохое». Им на деланье и времени нет; пока мозги поворотят, вражий и след простыл. Эти пусть дома сидят, под нашими ногами не путаются.

Стали за тем домом следить и вечерочком одним запопали хозяина. Как той же ночью ломится до них кто-то. Входит — ну как есть тот арестованный. «Это,— говорит,— я вам надобен, а не брат». Вот она, кровь-то, а знал ведь, на что идет.

Хозяев мы на кухню. Кухня у них хорошая, однако не горница все же. Им бы обидеться, а они боятся, мышами шмыгают. Мы их ни к чему не допускали. Просилися на нас готовить, за прикорм,— не дозволили. При пище чего бы не изделали.

Он нам вроде кашевара был, чистый такой старичок, подозрительный. Спросит, бывало, чего, да сразу: «Да вы не подумайте...» А нам чего думать, живи, коли мы такого-то к котлам приставили.

Хорошо у татар здешних хозяйство. Сразу дом, небольшой, ладненький, с галерееечкой такой. Горница в доме невысокая, в стене печь не печь, врод шкаф такой,— это баня ихняя домашняя. По стенам лавки крытые пестрыми коврами и с подушками мягкими. На потолке, по веревочкам, вышивки развешаны. Посуда вся медная, как золото горит. Хорошо так в доме кофеем пахнет. Жена ходит на тихих туфлях, вся в кисею замотана, только глаза черные видать, и думается — красавица она. А за домом, сразу, ручеек журчит, для тени виноградный огромный куст разведен по решеточкам, и ки-

сти тяжелые, синие висят, зреют, сами в рот просятся. И над всем садом, и над всем домом орех стоит — до того велик, до того зелен и развесист — столетнего дуба краше. И выгляни за низенький такой заборчик — и весь тебе белый свет налицо, и без края синее море перед тобою.

Богатых евреев в наших местах не видать было, а голый голому всегда брат, какой он ни есть по народу. Я хорошо к ним привык.

Что без царя, так то господа благодаря, а вот в голове-то царя б не мешало иметь! Ведь что творят-то? Тут кровь лей, а в городах шампанскими винами глотки себе заливают, из рук в ручки золото перепархивает, картишки, дамочки, смердят города духами-пухами.

Тоже пристал к нам интеллигент. Обещал по всем заграницам о нашей правде печатать. А сам как на подводу попал, так и спит. Жрет, пьет, не воюет. А с писанья его толку что-то не приходило. Дали мы ему по шее, отстал где-то.

Шли местами мирными,
Все народы вымерли,
Кто от тифа, от холеры,
Кто от белых офицеров.

XV
БОЛЕЗНИ

Вот напечатать бы дружок про дружка, как мы всякие страдания страдали, как мы, не хуже волков, голодом выли, как мы и тело, и судьбу свою калечили. Чтобы знали люди, что не сладко через свою землю войну воевать, что прибыли нам не положено, что ради всех, а не для себя.

Вот семеро нас тута, а хоть бы семь тысяч и больше. Каждый знает, терпел, скорбел, боль всякая, и голод,

и холод. Даже и нечеловеком бывали, разума портили. Знает же каждый твердо: по своей пути идет, для себя воюет.

Смутить меня теперь не легко. Это в ту войну я на боли да на недостатки сердце имел. А теперь всё за себя, всякая ноша плеч не гнет. А и согнет, так потом выпрямлю.

Жилы тянет боль тугая, жила в тифу перетянутая; голова играет трубой: не видят глаза чего есть, только видят глаза чего нету — колеса катят в глаза огненные, сполохи играют. Глотка щеткой, сухая. Сила далеко за плечи позакинута, нету ее при тебе, слабей ты галчонка бесперого, а идешь и идешь, а идешь, потому что сладко лечь, да не на этой дороге.

На самом на лету я в тиф свалился. До того я ничего не боялся, до того я на старый строй облютел — всего мне мало. Осталося мне только грамоте как следует выучиться, а тут тиф. Выздоровел я, ан глупой какой-то стал. Не идет ученье, и воевать скучаю.

Кабы я один, а то все в тифу были, не на кого сердце иметь. Разве что противу врага злее станешь, чтоб скорей войну кончить.

Уговаривают меня товарищи, чтоб не очень горевал, и слепым у нас место найдется, когда победим. А я одно знаю: не человек я теперь. Хорошо еще, что слезы как у людей, а то бы совсем пропал.

Ожгло, я обеспамятел, очнулся здесь — на глазах повязка. Болело, болело, перестало. Прошу: снимите повязку, не болит. «Погоди,— говорят,— повредить можешь». Чего-то страшно мне с тех слов. Я повязку скинул — ночь! Черная ночь! Слеп.

«Не пугайся,— докторша говорит,— сперва ты ничего не будешь видеть, понемножку приучишься». Екнуло сердце, ощупал глаза — дырья! Чем я видеть стану?

На германской войне зрения я лишился, совсем слепой, не воюю, у людей под ногами путаюсь, помеха себе и людям. Теперь эта война, дело серьезное, кому моя музыка нужна? Водили меня за собой казаки какие-то, потом нажал на них, что ли, кто, ушли, меня тут кинули.

Врут про заразу. Мою рану знаешь, а мыл я ее хоть раз? Почитай, всю левую икру с голенищем сорвало, замотал я ее тряпицей потуже, чтоб кровью не сойти, да и шел со всеми. И теперь жив и хром мало. И сапог новый дали, вот!

Наша кровь горячая, красная, она сама лечит. У господ болячки больше из-за синей крови да белой кости, а еще больше — от белых рук, бездельных, неженых.

Зубы у меня болели, ох, ох, проохал я атамана, пришел атаман. А у меня зуб как труба, хоть ты режь меня — гудит зуб страшной болью. Тут меня к атаману, я за щеку держуся, атаман кулачищем — зуба как не было. На свет я родился! Спину мне шомполами. И очень крепко меня драли, до того атаман обиделся, что не ору. Ну разве это с зубом в сравнение?

Снаряд ли загудит, гром ли, может, и бугай где над водой затоскует, а в моем ухе различия нет, надорвалось мое ухо от войны.

Я иду, тишь такая подозрительная, ажно потом теку я. Иду, иду и дошел. И прятаться там негде, и все видать насквозь, и ждешь беды от катышка навозного, до того тишине не веришь.

Не знаю, кто сахарин и без вреда, может быть, ел. А я от него болею. Во рту чистая медь, живот внизу болеет-жалуется, и жжет под сердцем.

Жую, как дедка, зубы мне враги выбили, голыми деснами жую. А мягкой пищи на ходу не достать, воды часто нет корочку размочить, сам же я молодой и до еды здоровый.

Совсем помирал, чуть и теплился, а свое сказывал: я, мол, что за важность, пусть легче людям.

«Видел,— спрашивает,— как женщина плачет? Это и есть нервы, и у тебя тоже». Баба плачет от побою, я же плачу от непонятной скуки и каждую минутку,— какие ж это нервы?

Какой я здоровый, а есть такие слова: как скажет кто их нечаянно, так у меня и сыпанут слезы, на срам просто,— чуть под себя не схожу. И сталось это с недавнего нехорошего случая.

Стал я суматошный и думаю — не вылечусь я. Даже и на мирную работу не гожусь. Одна у меня утеха — за хорошее пострадал, не мне, так людям.

Места живого не осталося. Сразу поранили, рана на ходу не дошла и теперь сырая; потом голод обеззубил; тут тиф, почитай, всю память отшиб; тут и сна не стало — облысел я с того; а уж характер да сердце во мне — только что по военному времени.

Очнулся я — никого, бросили. Я кричать — даже сипу не выходит, до того глотка перехвачена. Подобрал я с земли щепку, лоскутиком обмотал, и стал я тем квачиком себе горло прочищать. Кручу в глотке, кровь идет, а проткнул-таки хода, а не то задохнулся бы насмерть.

Взяли меня с койки, волокут куда-то, а я плачу, силы же противиться нету. Прокинулся я через сколько-то время — лежу я в ванной комнате, а на мне лежит какой-то покойник. И силы во мне и мышиной нету. Пискнул было я — сам себя не услышал. Опять обмер. Прокинулся еще и ночью, от мертвяка холод, наги мы с ним, силы же во мне не прибыло, а пить до того хочу — хоть мертвяка лижи. Так я суток трое силы набирал, пока нашли меня.

Тифу, сказывали, срок две недели. Либо живой, либо скончится. Да потом отдыху две недели... чтобы к делу человек стал. Так взяли мы с пасеки двух дедков, а с ними меду количество. Привезли больных в лес, присадили к ним дедков и велели больных медом кормить, водой поить из ключика. И уехали. Вернулися — все здоровешенькие. Вот это так лазарет — ни один не помер.

Мы его холили, все наисмачное готовили, от себя отрывали,— до того любили товарища, до того жалели. На ходу выходили, вот как старались.

Теперь болезнь чем страшна? Страшно врагу в руки достаться. Беспомощного возьмут, измордуют, надругаются да еще и воевать против своих заставят.

До чего жаль больных бросать. А что ты сделаешь, как у нас у каждого с конем шесть ног, а ни подводы, ни носилок. А кругом враги, и не знаешь, каким санитарам ты своего дружка в избу кладешь — не белым ли, часом.

«Оставайся кто хочет, надо надеяться, не станут они больных мучить». Но никто не согласился, поползли за походом, веру врагу не дали.

Одна думка, один счет — около тифу на ногах проходить. А ходить на ногах в тифу — смертная боль, смертная тягота. А с ног спасть на ходу — мука от врага,

от дорожного человека издевка и грабеж, и смерть в голоде и грязи подножной, без жаления и без помощи.

Только тифом и спасалися мы, простые ребята. Кто с тифу помер, так разве ж это в сравнение, до чего издевку над нами делали? Для тифу в бараки летние поклали, топок нету, одеял нету, и голые совсем. Корму тоже нету. Плакал над нами доктор, плакал слезами.

И в прорубь по пояс. Затянуло меня ледком. И будто сперва грыз кто за ноги, а потом обтерпелся. А вытащили — пришлось отнять те ноги, за негодностью.

Нога моя отмокла и сколько-то раз мороженная. Разве ж это нога? Гиря она мне тяжелая, а не правая нога. Я стойкий товарищ, ход у меня со всеми, а идет народ легкою стопою, я же — по огню. Версты же мои не мною считаны, сколько их еще — неизвестно.

Пальчиков немногих нету, так и без них проживем. Как всё наше станет, так и без них поработается.

Вернусь, не вернусь — калека. Да и куда вернуться: дым да труба, вся худоба.

Рана в ногу серьезная. Боялся без ноги остаться. С культяпкой ходить не хотелось, за стыд считал, такой дурак был. Теперь привык, как и целый: при случае даже воюю, на все годен, только в конницу не гожусь.

Снимай, снимай тряпицу, только гла́за не вырони. Он у меня тряпицей примотан, может, и прирастет еще.

Проснулся — ни рук, ни ног. Кричать — языка нет. Ах ты ж, судьба моя. Одна была думка — и разума потерять. Так и вышло, на сколько-то время.

Пошла холера, да кабы у нас только,— бросали бы в пути, на походе жалеть некогда. А то жители кругом мрут и мрут. И пошла нас холера косить. Нагнется человек, за гвоздем хоть к земле,— лицом как земля станет. И выкорчит его в один часок до полной сухости.

Вот и я, говорит, перед смертью красно скажу: все равно смерти не минуть, так уж хоть за людей, чтобы им легче сталося.

Стала сыпь осыпать, стал я какой-то опасливый, по ночам скучаю, от скуки пот, и зуд сна лишил. А тут пошли на ночные казни, и замест развлечения стал я как бы неизлечимо порченный.

Отдых, говорит, и питание. Так. Отдыхать пришлося до следующего часа, когда насели на нас чьи-то бандиты. Питание же было положенное — чужого куска огрызок, да и то силою отбитый. А силы во мне было — мышьих плечиков не перегрузить.

Она как хрястнет меня двома копытами. Товарищи аж со смеху скисли. Я сам сперва посмеялся, а теперь этим местом смерть ко мне пробирается.

Есть у нас теперь одна боль, особая, прежде не бывало. Натрудится место какое от оружия. Пока носишь — ничего, снять — жжет огнем.

С нас теперь, от походных трудов, кожа слазит. Не то с грязи, не то с ветру, не то от солнышка. Лупится кожа, хоть вылезай из нее, ровно змея. Сойдет одна, другая лупится — до дыр просто.

Кусок жизни моей прожран на войне той,— того куска жаль. А что своя война к смерти близит, так есть за что; все людям легче будет.

Мне бояться не приходится. Моя судьба со всеми. Отвоюем — возьмут меня в хорошую больницу, к своим докторам, и стану я здоровую службу служить.

Гражданская война — не клушка на яйцах, клохтать не к чему. Вот на месте сядем, все заплатки заплатаем и на деле, и на теле.

А что, что болезнь? Мы поболеем, а может, многому миллиону здоровья сбережем.

Я вон выболел, выколел, места живого нет, а в главном цел, пойду до конца.

Вон я в прошлом году с ума сходил, измордовался. А теперь опять до конца достараюсь. Может, и сгиб бы, кабы не знатье, что людям легче будет.

Своя боль у нас, ее на чужие люди не выволочишь. Полотошимся, потрепыхаемся, а как кончится шурябуря эта, каждый к делу приложится, и больной, и здоровый.

XVI
ЖЕНЩИНЫ

Спрашивал я свою милу,
Может, любишь через силу,
А она смеется,
В руки не дается.

Я женился в походе, недельку с ней жил, с танцев взял.

Что ж такое, что не венчанная? У меня даже и забота о ней, хоть судьбы нашей вместе трое суток только и было.

Сокол-баба, меня в строгости держала. Как к часу своему не придешь — с другим спит. Берегся я с нею, некогда о другой и подумать было.

Кого лапаешь — это не наиважная, а вот по ком забота в тебе — тут, может, и надолго. Я так и до сего часа одну жалею, а и видел-то ее с неделю. Счастливо, хоть движемся мы беспрестанно, а то и не отлепиться бы никак.

Бывало так: спишь с женщиной — одна хороша, другая лучше, заботы же нету, кроме как деньги платить да здоровым уйти. А то и так бывало: спишь ты с бабой чуть не силом, знать она тебя просто не хочет, а ты бы от нее плеча не отвел, как в клею.

Баб сколько хочешь, и силою, и ласкою, а настоящей что-то не видать.

Очень коло нее время тратилось. «Я,— говорит,— одна своя. Больше,— говорит,— у меня добра нету. Кабы,— говорит,— поберег кто, а так не стану я себя, такую хорошую, всякому отдавать».

Хорошая сама видит — некогда нам. А такая, что крутит, время твое тратит, в руки не дается,— та нам ни к чему. Может, через часок уйду я смерть принять, а она валандается.

Тем люба была — незнакомая какая-то. Не то любит, не то нет. Ходит тенью, только что ласковая. Голова, бывало, от непонятия гудит, даже устану.

До того бледна и худа — видеть я ее просто не хотел сперва. А тут зуб у меня разболелся, просидел я дома целый день, и так легкая ее походка мне полюбилася,— зажалел чего-то.

Девица она была по всем своим свойствам примерная. Даже когда у ней всех семейных перевели, осиротили, так и то она веселостями хлебца не добывала, строго работала.

Все равно мужчине на женщину глаза не дадено. Выбирай не выбирай — одна она есть, другая представляется. А ты перекрестись да и женись. Как пришлось, так и будет. К женщине разума не приложишь.

Каких кто любит, а кто так и никаких. Кто всурьез знает, к чему идет,— тот теперь про женщин-то и снов не видит. Подождать надо.

Пришли мы — по мужу плакала, уходили — по мне слезы лила. Так и пойдет женщина — из слез в слезы, из рук в руки.

Любил я, говорит, единожды женщину, жалел. Ушла от меня к барину одному. Теперь мне женщина что мышь. Вредная вещь. И смотреть мне на нее неприятно.

Решил я жениться только по страстной любови. И встретил чужую барышню, из дворянской семьи, совсем неподходящую. Вышла за меня с голоду, слова со мной, кроме как про деньги, не сказала. Вижу, не по себе брал, тут нас дальше двинули, я ее с собой не взял.

Если хорошая женщина вражья жена, вдвое на врага злобишься. А если еще и в тоске такая по врагу, так просто не знаешь, чем бы ее и улестить, чтобы про меня думала.

На лице у ней шарфик газовый, заплаканная. За мужа просит. Как западет она в душу. «Хорошо,— говорю,— приходите сегодня вечером в свободный часок ко мне на квартиру». Прибрался я, жду. Пришла, опять про мужа поет. «Давайте,— говорю,— напрямки: оста-

нетесь со мною от сего часа тут жить, отпущу вашего мужа». При ней и бумагу дал, отпустил его. А он, замест чтобы утикать, ее искать принялся. На тех поисках и попался вторично. Она о том и не узнала.

Каких только за этот год женщин не переглядели. Одна была до того ловка, словно какие игры играет,— и поет, и щебечет. Однако чуть я живым вышел, как она на меня, сонного, врагов навела.

Есть такие — от всего отрекаются: не муж он мне, коли против народа. И врет, и брешет, и веры такой только на красоту ее дается. А есть такие: «Я,— говорит— сама все делала, письма носила, поступать уговаривала, и должны вы меня вместе с мужем моим расстрелять».

Молоденькая женщина к нему ходила, жена его. И с лица не так что, только верная какая-то. Стала моя судьба при ней на дороге. Раз беседа, и два беседа, и мужа ейного отпустил, и от тех сюда перешел,— всё через бабочку эту верную.

Ох и умна же жизнь эта самая, что нас с бабами бесперечь сводит. Нас вешать, бабы рожать, и опять полна страна народу.

Я жениться не хочу. Я женат у нас в деревне, только я этого в счет не ставлю. Я в счет ставлю волю вольную.

Здесь, если бабу нужно, нет ее добром. Улещивать времени не хватает, за деньги боязно, как бы болячки не начепила, и убить может. Без бабы проживу как-нибудь.

А время обеденное. Гляжу — в моей комнате дочка хозяйская корочку грызет, словно мышонок. Маленькая такая. До того меня растревожила — все для ней делал.

Приходит до нас старуха одна: «Не надо ль, кавалеры, девушки молоденькой, задешево».— «Правда?» — говорим. «Да,— говорит,— до ней идти нужно, она из дому безотлучна». Хорошо, цену сказала, пошли. Барышня — цветок, бела как плат, мать-отец без разуму в тифу лежат,— так она на ихнюю болезнь нам честь продает.

Дама трепаная, вялая такая, обиженная. Ключи дала, сама молчит в своей комнате. А нам досадно. Мы ее в кухню приказали. Однако и там молчит. А мы коло нее вертимся — молчит и молчит, словно не с людьми.

Одни бабы только офицеров и прятали. Да хоть бы молоденькие на погончики прилипали, так нет, старые все бородавки, тетки ихние, что ли.

«Не стану на ваши вопросы отвечать, покуда на мой не ответите». — «Спрашивай»,— разрешаем. «Что вы,— спрашивает,— с мужем моим сделали?» — «Расстреляли»,— отвечаем. Она в лице не меняется, а так, назад отвалилась и нас прокляла.

Те просто ноги суду лижут, а девочка эта и родных гонит, и на них кричать не дает. Весь суд смутила, отпустили ей мамашу с папашенькой. Просто тебе волчонок, а не барышня.

Повадились мы к хозяйке одной, веселая, здоровая, рубахи нам стирала. И стала она нас, как барышень, коммунистам сватать.

Всем распорядилися, а про пункт забыли. Правду сказать, беспокойства от пункта ждать не приходилось, стоял пункт на отлете и на виду. Если спрятали кого, так пустить некуда. Как на рассвете самом влетает сестрица, маленькая такая. И до того на нас серчает, до того кричит, ну просто в пот вогнала. Чего ей охраны ночью не ставили? «Так ведь не обидели же вас»,—

говорим. «Я,— кричит,— вся здесь, не вам меня обидеть, а вот,— кричит,— оберечь, так и то не мастера!» Поставили ей охрану за ее прямой характер.

Стучим — пустила. Маленькая такая сестра, как воробышек. Смотрит же прямо. Мы ей, для страху, срамные места наши показываем; можешь перевязать? «Могу»,— говорит. Ах ты, какая! «И не брезгуешь?» — спрашиваем. «Нисколько»,— отвечает. Ну что с ей скажешь. «Так, может,— говорим,— нам тебя соромно до этих мест допускать?» — «А вы,— говорит,— словно дети мне, чего ж соромно? На помощь я и работница вам». Ах ты, ну что ты с такой сделаешь, если у ней и местечка слабого не видать. Так и покорились. А ведь с чем пришли.

«Нету,— говорит,— никого, кроме нижних чинов». Ушли мы, порядок устраиваем, как набегает за нами сестрица. «Идите,— говорит,— на докторскую квартиру, он там офицеров прячет». Пошли и на чаи-сахары офицерские попали.

Лежат на койках какие-то четверо. Сестра до нас выходит; кто такие, спрашиваем. Если офицеры — гайда с коек да на другое место. А сестра кажет: «Действительно, это офицеры, только больные воспалением легких, и сперва,— говорит,— вы меня убьете, потому что я вас до больных не допущу». Ну что ты с такой сделаешь? Оставили их до поры.

Сама мышонок и махонький, а руки расставила — и припокровила раненых от смерти.

На той войне и сестры больше барыни были. Ты пеший, без ног, в последней усталости грязь на шоссе месишь, а мимо тебя фырк-фырк коляски с сестрицами мелькают.

Написал домой, сестру жду, с нами чтобы ходила. Она у нас жалостливая, будет хорошо за ранеными ходить.

На той войне в лазарете я лежал, так все б сам сделал, до того с ними неловко было, от доброты и гордости ихней.

Тихая такая дама, молоденькая, говорит далеким голосом, от всякого словца в лице меняется. Муж офицер, о нем тоскует, что ли. И стал я чего-то слезы ейные считать, тоску как бы примечать. И до того я к этому делу привык, просто каждую минутку занят.

«Неужто,— спрашиваю,— тот только и мил, кто в пробор?» А она говорит: «Мы очень боимся грубого».— «А я разве грубый, сколько верст пропёр для вас, искал и выручаю, а пробор-то ваш от одной плетки в кусты». Пробыла со мной месяц ради страха и ушла.

Конечно, присыплешься до приятной, а обиды не чиню. Все обещаю, что потом хорошо будет, объясняю, за что терпеть нужно. Только не это у них главное, а что ласковый я.

Под единый слабый часок и я с нею сошелся. И была она офицерская жена. Слюбились же мы с ней — до краю просто. Как мне уходить, состригла она хорошие свои косы, вздела гимнастерку и стала мои версты мерить. Теперь ждет она родить в далеком месте. Письма пишем, ждем не дождемся. А были в разной судьбе рождены.

Какая по-старому верит — та плачет и злобствует; а какая по-новому верит — та сама с нами любую дорогу пройдет, не побоится.

И в женщинах теперь различие видно. Не все они свои скорби сосчитывают. И добра не берегут. Оттого и видать им света больший кусок.

Как прибрала та завирушка накопленное до последнего зернышка, стали и бабы волю любить.

Тихая такая девица, беленькая. Глаза красные, пухкие, а когда плачет, не видали. Есть ей нечего. Стирать на нас стала. Руки малые, слабые, портянки, бывало, никак не отожмет. Мы на то не обижались, жалеючи.

Я даривал — не берет, гордая. Говорит: «Не голодная». Я ж вижу — крохи в доме нет. Тут пошла она в клуб полы мыть. Я и говорю: «Идить за меня, барышня, все лучше жить будет». А она: «Мне,— говорит,— так лучше»,— и не пошла.

«Дайте,— просит,— даром хлеба кусочек, и чтобы не спать мне с вами».

Зашли мы к учительнице. Приветила, товарищами зовет и спрашивает про одного. Мы ей говорим, как и что, как его затомили у врагов и что помер. Она же как бы усмехается и к стенке отваливается. Мы до ней — померла.

Тряпьем закидала, сама сверху легла, дитя кормит. Те в каморку, под кровать лазят, а бабы не тронули. Ушли, вылез он, косточки размял, хлеба забрал, одежду какую,— пошел, не поспасибовал даже.

Глядь, меж городу и лесу барышня маячит в ботичках. Мы до ней, а она усмехается. «Чьи вы?» — спрашиваем. «Я,— говорит,— машинистка, в городе заскучала, буду я вам на машинке печатать». Подошло, машинку ей добыли, стала наши приказы печатать. Сама пишет, сама в город носит, подкидывает. Совсем клад, до того отчаянная. Ушла — да и засыпалась. Тоскуем по ней, до чего верная была машинисточка.

Я на вышку, слышу, ходит лесенка, шагают на смерть мою. И она с ними. Они — ей: «У тебя,— говорят,— здесь коммунист скрывается, признавайся, а то найдем — быть худу». Сорвалось во мне сердце, жду.

А она твердо: «Нету,— говорит,— у меня никого». Полезли. Дрожит моя судьбинушка по лесенке, думаю, лучше самому головой вниз. Хочу упасть — не могу. Вдруг как пукнет орудие, ка-ак сыпанут они с лесенки грушами. «А кабы нашли?» — говорю бабочке. «Да,— говорит,— все едино с вами, чертями, не уцелеть...» Веселая.

Заболел я, сдали меня в хатку. Как на другую ночь слышу я беседу сердечную, под бум, под дзынь — враги пришли. Слышу, приказывает хозяин бабе. «Поди,— приказывает,— покличь их: хай нашего героя заберут, чтобы в хате не смердило». Как завопит баба в голос! «Зарежь,— вопит,— не пойду, не отдам молоденького такого врагу на муку! Вспомни-вспомни про сердечного нашего Андрюшечку, может, и он теперь такие речи слышит». Так и не дала.

Я и в тринадцать лет такой же рослый был. Отец на войне санитарил, дома мать да шесть сестер. Во мне вся сила стояла и вся работа тоже. Тут отец вернулся, тут эта своя война. Мы с отцом бабью семью бросили, оба врагов глушим.

И на кого же загляделся я? На офицерскую одну жену, до того горда, и тиха, и красива. Вот не поверю я, чтоб такая да женщина да такого хлюста любила. Думаю, просто хочет с ним за границу выехать, а там сменит его на какого-нибудь большого человека, миллионера, что ли.

Полюбил я одну девицу честную и красивую, высокого роста, чисто полковница. И она меня полюбила за веселость и хороший характер, за непьянство. Тут меня отправляют, тут я ее к матери в деревню не успел, тут он без меня ее по миниатюрам водить стал, пудру дарить. Я вернулся, она на меня фырчит. Споры-ссоры, а поправлять некогда. Так и разбил нас.

«Что же ты,— говорю,— сидишь как чужая, даже и не плачешь?» — «Плачь не плачь,— отвечает,— все

равно не жить с тобой, заберут тебя. Так на что,— говорит,— я себе глаза слезами портить буду, мне теперь глаза вот как пригодятся».

Я ей признаюсь, что желанная как бы на всю жизнь. Она в том же признается. Теперь как же и что же делать? Ни у меня попа для ейного спокоя. Ни у меня угла для ейного приюта. А не по такому желанна, чтобы на ночь — да и прочь. Теперь чем в любовь, легче в прорубь,— устроенней.

Если девица хороша, так строго живет, шутить с тобой не станет. У ней красота великая сила, с такой силой ничего девица не побоится. К чему тут ей с нами шутить, как мы за ней и без шутки как на привязи ходим.

Невпопад меня расстреляли, плечо пробили, я затылком через мостик, да на меня двое, головами все мне зубы высадили. Подождал я до ночи, до того кровью сошел — голова гудит. Ночкой полз я червем, встать и боюсь, и не в силах. Да свалился в канавку, просвежел и до жилья дополз. А тут канитель,— кто его знает, жителей-то, в этом жилье. Лежу под порожком, да все псст да псст... Тут голос женский, робкий такой: кто, мол. Не знаю, как сказаться,— пропасть можно. «Раненый»,— говорю. А она: «Да ты, может, расстрелянный? Ползи-ползи,— говорит,— сердечный, мы подсобляем».

Правду сказать, в походе не до любви. А где-нибудь станем, отъешься, да тут еще бабьи слезы, робеют женщины. А это для нас самое валкое и есть.

Как вспомню, так сердце и падает, до чего теперь семья тягчит.

Я жену не берег, работа, дети. На войну ушел — совсем отвык. Теперь опять война. Я не скучаю, вольный.

Плачь не плачь, а мне остановки не будет. Поплачем обои, чтобы люди не смеялися, да и прости-прощай, другого привечай. Я под себя перинку не пхаю, моя при людях судьба, чтоб им легче зажилось.

Вот не знаю я, что у меня в душе будет, если она мне дитя принесет. Может, права теперь такого нет — в заваруху народа народить. Может, ждать бы годок-другой.

«Что ж,— говорит,— иди, про меня не поминай. Пока жива — перебуду, а и помру — так не в том теперь важное. А что плачу, так слезы бабьи считать не приходится, не перечесть».

Нас в деревне, как нам на войну идти, всех переженили. Кто не вернулся, а вернулись — наново ушли. Какое нашим бабам житье — и обдумывать не стоит.

Бабья жизнь теперь хуже военной. Что у ней осталось? Ни детей, ни коровы, курочек — и тех перевели. Куда ей жить, теперь не всякая разумеет. Вот и плачут.

Забираем мы у них и прядву, и жратву. Да еще и не спасибуем. Всё, мол, для всех, для мира. А баба домовая, не мирская.

Девки, девки... Нет хуже ихнего житья. От нас хороших дней ждут, а мы почти все охальники.

У нас молоденькая воевала, веселая, здоровая. Так не только приступить руками — словам воли не давала. Сегодня — нет, и завтра — нет. Отвыкли руки мои лапать, тут и приглядываться научился,— хоть и баба, а совсем как человек.

Ни одной женщине не верит и даже из женской руки пищи не возьмет. «Такого,— говорит,— нами женщи-

нам понаделано,— должна женщина нас крысами выморить».

Вот мысли у нас с тобой непохожи. Может, тебя не женщина родила, может, не на твоих глазах мать твоя родная в заботах красу и силу потеряла. А то не стал бы ты на женщинах вроде как навоз ворошить. Я же женщину всегда уважить рад, о матери своей вспоминая.

Федосьюшка, доня,
Жена моя ро́дная,
Разлучен с тобою
Уж который год я.

Может, женки разные —
Черные, раскосые,
Ты ж голубоглазая,
Ты ж русоволосая.

Может, женки разные —
Лихие, отпетые,
Ты же моя ласковая,
Ты же безответная.

Может, женки ихние —
На золото льстивые,
Ты же моя тихая,
От всего счастливая.

XVII
ДЕТИ

Через большие версты катимся мы колесом тяжелым, немазаным. Под нашим колесом и сила гинет, а уж от детей и мокро не останется.

Я детьми не интересовался. У меня на войне одна думка: чтоб на нашей дорожке дитя под ноги не подвернулось.

Перед шкафом восьмилетка, волчонком рычит, не пускает. Рванул я его — он в руку зубами. Открыли мы шкаф, а там матка его больная захований.

Уложили меня в закуток такой. Сплю осторожно, середь ночи слышу — скрипнула дверь. Присел я на полу, вижу отворилася дверь, и старшенький с револьвером ко мне, а за ним девчоночка махонькая, с мешком как бы. Я мальца за руку, револьвер вырвал, дверь запер, допрашиваю. Плачут. «За отца»,— говорят. Ну, надрал я мальцу уши и ушел от греха.

Залетела разок черномазенькая, цидульку занесла — невдолге товарищи прибудут. У нас же самое геройство оповещалося: бито, мол, и отбито, отогнано. Вот-де и отогнано! А цыганочка, словно ласточка, весть принесла.

Прибился до нас мальчонок. Вечерами сказки нам сказывал. А мы сказок не знали. От него слушали.

Девочка у нас была, как бы постирушка. Хорошая девочка, только пуганая. Как ты до нее, хоть и с добром,— до того спугается, аж пена из рота. А как на нее не смотреть — работает всею силою, да еще и песни играет тихесенько.

До чего разумный хлопчик был. Как решили мы его кинуть, так смотреть на него боялися. Так он твой глаз и ловит, так и ловит — чтобы жалости выпросить.

Стали мы к месту подходить, стал чего-то наш мальчонок сумной. Пытаемся. «Да здесь,— говорит,— родная моя мама да семейные. Не сталося ли чего им за звезду мою красную?» Пошли мы с ним. Домик раскрытый, в домике ни души, а в саду на вишенке девчонка висит, сестра. И всю родню мальчонкову сыскали,— кого в нужнике забито, кого в колодезе утоплено.

Родных нету — товарищи кругом; дома нет — любой бери; своих деток не растишь — кругом сиротеют, любого грей.

Так и шли эти дети отца искать. Добровольцев чуралися, до нас прибивалися, износилися, истомилися,— адрес же им, почитай, вся наша земля.

Дошел он до дому, деток зовет. Нет деток! Он по соседям, соседей, почитай, никого не осталося. Одна старая бабушка осталася. Говорит: «Ушли твои детки в город. Взялись за руки и пошли. Может, и живы еще где-нито».

Завелися мы в том яру — круто и сыро. Кругом враги, огонька не разжечь, курить не смели. Да и табаку не было — самое трудное. Как вот на заре к нам мальчонка лет семи с махоркой и бубликами — ровно ангел.

Вон у меня товарищи были близнятки. Бывало, набьют одного за углом, а другой, дома сидючи, учует да и катит с кулаками на помощь.

Мать в тифу, а старшенький мальчик и продай сестру офицеру. На те деньги мать выходил. А мать-то как дозналась о таком деле — померла.

Теперь дети сильные. Пятилеток через всю землю босыми ногами прет, ничего не страшится. Эти выживут богатырями.

Кабы детки мотыльками трехдневными мелькали, а то расти ведь им еще надо, для росту же теперь времени не дано.

Мальчонок годков восьми в углу под барахлом приник. Вытяг спрашивать, а он оголодалый, охолодалый, от страху онемелый. Взросших же — ни души.

Ступени каменные, замшелые. На ступенях дети чьи-то под рогожами дрожат. Мы мимо идем, а они по нас

глазами ищут,— может, кто родной или жалость к детям имеет.

«Как звать?» — спрашиваешь. «Ваня»,— отвечает. «Ах, ты ж хилый ты эдакий, Ванятка. Горькое твое, брат, житье, а житью-то твоему пяти годов не будет. Чего имя беречь, кто тебя понимает».

Словно воробьи в навозе, ворошились ребятки. Помет коний ели. Прикармливали мы как могли, да у самих не избыток. Поганить ребят наша часть не велела, а задаром куска не оторвешь.

Женщина с младенцем. Просит: «Пустите отца, древний он, я за него повезу». Согласился. Пошла она одягаться, вертается — с грудным за кожухом. «Так и поедешь?» — спрашивают. «Так и поеду, пусть при матери помирает».

Взяли лошадей, и баба с нами поехала. Замотана, заверчена — аж смех. Как стали ее домой пускать, приказываем: раздень своих одежек половину, не скупись, мы голые, а она реветь. Вот, думаем, кожуха зажалела, в сердце вошли — аж рвем с нее. Сорвали, ан это на ней девочка порядочная примотана была.

Смотрим, девочка маленькая идет. Кругом же чистая степь. Пытаемся у ней,— мамку, кажет, ищу. И не плачет. Зажалели мы ее, взяли на подводу, нянчились с ней чисто с куклой. Только стал атаман наш на девчонку гнилым глазом смотреть — мы и сбыли ее еврейке одной, и приданое дали — мукой и маслом.

Мы, четверо, детей никогда не обижали, так и сговорились: если ребенок, не обижать, а даже покормить при случае.

Пришли мы вечером, жители все разбежались, пуста деревня. Под одной хатенкой два мальчика, совсем небольших. Мы их спрашивать. Они про жителей сказали. А про себя говорят, что сидели дожидались, кто в деревню войдет. Ихние отцы за коммунизм в ближних лесах скрывались. Мальчонкам этим с жителями не по пути было.

Я стучусь долго, детский голос спрашивает: «Кто?» — «Я к Сергею».— «Помер он»,— говорит. «А мать?» — «Померла»,— говорит. «А братишка Пашка?» — «Помер»,— говорит. «А ты кто?» — «Я сестра»,— говорит. «С кем живешь?» — «Одна»,— говорит.

У нас было такое положение: ничьих, даже вражеских, детей не обижать. При нас дети часто роями роились, которые как бы даже и румянеть начинали.

Бывало, придем куда в город, сейчас всех велит ребяток к нему: работишку даст, что чистить, посуду там, постирушки. Кучею ребятки слетятся, а ни тебе игры, ни тебе смеху.

Часто толковали, как с детьми теперь быть. Только до чего дотолкуешься, если идем и идем без остановки. Встанем, может, и пристроим детей как-нибудь.

Мы еще сами очень молодые, на нас детская судьба-беда не лежит, пускай старики придумывают.

Эти пропащие. А вот как будет вся воля у нас — народим новых, на счастливую, нетеперешнюю жизнь.

Только б в живых дети были, как с войны приду. Возьму детей за руки, на вольную науку выведу: бери, скажу, дети, что вам отцы добыли,— бери-береги, между пальцев не пропусти.

Обещаются, как кончим войну, дадут нам высшее образование. Я домой тогда съезжу, братков приведу. Расти, скажу, братки, к свету тянися.

XVIII
ДЕРЕВНЯ

Сидит ворон высоко,
Смотрит в землю глубоко.
Ох, черна земля под нами.
Да не взята семенами,
Ни колоса, ни половы,
Смолотили всё подковы.

Земля-земля, вдовушка,
Черная, оброшена,
На тебе работали
Пахари непрошены,
Поливали пулями,
Пахали снарядами,
Усевали мертвыми
Не рядами — грядами.

Идет теперь гражданская война, плохо теперь в деревне, и обида, и голод. И всякий враг, кто деревенской работе помеха.

По пустым пашням ходит. Спрашивают: «Чего шукаешь-ждешь?» Глядит лицом серым и голоса не подает. Показали ему револьвера. «Ничего,— говорит,— не жду, не шукаю, на крестьянскую,— говорит,— землю гляжу, как она под конским копытом сиротеет».

Крепкий дом, при доме боковушки и службы стоят. В доме — ни души. Искали-искали — ни душеньки, ни шматочка. А горе какое хозяину — крепкий такой дом кинуть.

Идешь городом — страх виден, а все кругом котлом кипит. Деревня же молчки легла, ни дымку не курит, ни огня не светит.

Прошу я работишки. «Да какая ж,— говорит,— теперь работа, всё сами справляем, да и справлять

нечего. Не пашем, не сеем, не жнем, всё ждем — что-то вырастет».

Пройдет война, пройдет и враг с нею. А земля непаханая, а семя несеяное, а силы где будет взять? Вот и волчится деревня.

Мужику всякий враг. Пришел сукин сын атаман в красных портках, забрал у меня телку, тут и стравил ее разбойничкам своим, псам голодным. Пришел сукин сын драгунский полковник, что ли, до того в обтяжку, все у него грыжей повылезло, и сено и коней позабрал; приходили сукины дети — петлюровцы; эти так крышу соломенную и ту пораскрыли и ни зерна не оставили. Одно, случаем, стуло барское оставили, вроде свиного корытца, так когда немцы пришли, они в том корытце всей деревне задницы повыстирали.

Кто как помирал тогда: кто с голоду, а кто от перееду. Пережирали всякую меру, только бы куска не отдать в продразверстку.

«Шукайте,— кричит,— как найдете, дерите с меня шкуру, жизни я не радый». И стали искать, по кусочку всю хату разнесли. Найти не нашли, а хаты нема.

Коль мужик, так его тайничок повезде-повсюду. Коли баба, далеко не лазь, у ней все дела не дальше подола.

Мужик всю землю истыкает и сам не помнит, что и где. Интеллигент, тот земле не верит, тот все при себе тайнички носит, у него тайничок легкий.

Подождем, говорят, как вы себя проявлять станете. А то мы всяких насмотрелися, а неграбителей не видели что-то.

Плохое в деревне от самой темноты. Деревня думает: все ей завидуют, все на нее зарятся, все ей во врагах. Грязь больно хороша, нигде такой не найти, как в ихней деревне, первый сорт грязь!

Деревню жалею, сердца на нее не держу. Своя, не чужая, разоренная.

Беру я лошадь, а отец как бы перечит. Я ему толком: ни к чему дома лошадь, все равно хозяйствовать не дадут. Конь для войны нужен. А он перечит. Спасибо мамаше, приказала она отцу коня отдать. «Сын-то,— говорит,— с винтовкой, он теперь и добытчик. А мы, старые, дожидаться станем, как он для нас добудет и чего».

Отец смерти ждет, мать слезы льет, сын лётом летает, людям воли добывает.

Тому месяц я тут красным был. Так каждый, бывало, стог капканит. Просто ни шага в сторону, за нуждой так и то хоть взводами ходи. Вот, думалось, сволочь белая. А теперь вот я в белых тута, так не то что не лучше, а еще и срамят. Нашей деревни никакая краска не берет.

Ему все объясняешь, а он: «А кто вас просил воевать?» Ничего не понимает, думает, мы уйдем, он на печке уснет, других врагов не увидит.

«Пока у нас стоите,— говорит,— и нас от других защищаете, жрите хоть до гладка. А с собой не дадим. Придет за вами следующая власть — нечем ее удовлетворить будет».

Пришли туда к ночи. У нас, говорят, сговор такой — по одному в хату пускать. Что ты сделаешь? А пятеро нас только. Согласиться — поодиночке, как баранов, перережут; не согласиться — а может, они все в бандитах служат. Так и ушли мы без ночлега в лес.

Ночку выждали, до клуни. Пригляделись — живы будто. Караульщика осилили без шуму, наших на плечи — двое живых. Сбегали, в стог их до утра заховали и за мертвыми вернулися. Тут запопали нас.

Самая калечь осталась. Кто покрепче — в леса ушли, от обиды разной.

Богатый мужик, дом двухэтажный. Трех коров взяли, мелкого скота, а хлеба не найдемо. Тут до уха драный мужичонок: «Пошукайте в хлеву под навозом». В хлеву навоз до неба, под ним и мука, и крупа, и одежа под паром ждали.

Двор крытый, темно, и чистый навоз, ничего не найти. В углу лежит кабанчик порядочный, и лежит тихо. Мимо бы прошли, да пхнул его один ногою, он и перекинься как неживой. А в нем заместо потрохов — карбованные деньги.

Колыска скрипучая, в ней как бы младенец. Искали, искали — к люльке; матка кинулась, выймает замотанное дитя. В люльке ничего, к дите. Как заголосит бабенка,— стали дитя разматывать. А то не дите, а чурка, а в свивальнике карбованцы.

«Если белых не выведем, замордуют они вас?» — «Замордуют».— «Если белых не прогоним, пропадет все до последней ниточки?» — «Пропадет».— «Мы вас от белых обороняем?» — «Правильно».— «А жрать мы чего-нито должны или нет?» Молчат.

Гусей там водили, река хорошая, пруды, озера. Отряд сколько-то у них гусей добыл, в перелеске гусей посекли, поощипали, на костре смалят. А дух гусиный до хозяев в деревню, носа им обжег. Кинулись хозяева в перелесок гусей отбивать, наново жалко стало.

Были отряды честные, служебные, были и грабители. Эти различья не делали, где много, где мало. Им бы взять, а у кого — меж собой жители разберутся.

Обувь стали брать, а у мужика обувь для праздника. «Отчего обувь,— говорят,— не на ногах?» — «Потому не на ногах, что босые ноги обувь берегут».

Тот только о других заботится, у кого живой худобы не заведено; а замычит коровенка ледащая — сразу на людей косым глазом глядеть станет.

Беднота одно, голота другое. Я теперь за голоту, она вольно летает. Беднота — всякие хозяйства ощупывает да по своим хаткам вещи разносит. Голота же ничего не копит, по щелям не шарит, за всех воюет.

Сказал бы ты дома, что изба тебе не нравится, заплевали бы родные-семейные. У нас хоть бы гной, да родной.

Если нас к бедности насильно не приохотить, кто ее любить станет. Вот родня и приохочивает, чтоб домá не бросали.

Пчелы, пчелы гудят,
На работу летят,
А мы с одной пашни
Винтовками машем.

Пока еще до легкости дотерпелся я, по крестьянству своему, всех до последнего ненавидел — и белых, и красных.

Деревня суровая такая, разоренная. Прежде сады водили, теперь пни торчат. Хозяева насупленные. И у нас к ним веры нет, еженощно к ихним печам товарищи мертвые прилипали.

«Вы,— советует,— лучше в соседнюю хату ступайте, там две нестрогие женщины живут, а у нас скушно». Пошли туда, веселые бабы приютили, то да се, полегли спать. Ночью, будто толкнуло, проснулся: нет ни баб, ни товарища. К двери — заперта. К окну — припертое. Высадил дверь, во дворе тишина, лунно так,— и пал глаз на колодезь. В нем и нашел товарища, бабы скрылися.

Слышат ночью как бы конский топот. Они глядеть: отворяет хозяин, стережась, ворота, в воротах трое конных. Наши стрелять — те сгинули. А кабы сыто спалось, на том бы свете прокинулось.

Встал он случайно у хорошей, ласковой старушки. Ночью старушка его тихонько в бок толкнула. «Сынок,— кажет,— а сынок, выдь ты до утра из хаты моей в клуню. Признаюся, прибудут сейчас из лесов до меня двое сынов моих, бандиты. Перебудь же ты в клуне до утра».

Бывало, в избе голова болит, мутная, а дети верезжат. Сорвешь на них криком сердце, а разве враги тебе? Вот и деревня, плохо с ней, не помощь, и убить готова,— а не враги же.

Вошли мы — ни души. Что такое? — думаем. Как тихонько мальчонок годов семи выполз, на нас круглым глазом уперся да как скочит из хаты. Через часок и хозяйка надошла, соседи показалися. И дымок, и кипяток. Мальчонка доглядел круглым глазом, что мы, а не враг.

Сам я деревенский, всякое деревенское свойство понимаю. Вот и вижу я, с чего сейчас на нас деревня в сердцах и зверствует. В хозяйстве мы не помощник, а родня между тем. Кончим войну, навезем деревне семян на хлеб,— задышит деревня печами, пироги на нас напечет.

Нас цветами не встречают. В городе народ торговый, тот нас не жалует. Зато деревня, если она целая, словно детей приветит. Конечно, разоренная деревня над всеми расправу чинит.

Входим стережася, бабенка нас чем же встречает? Кланяется низко, хлеб у ней в руках, нам передает, слезы на хлеб сеет. Говорит: «Идить-идить, соколики, до моей хаты. Воронье летало, на моей хате отдыхало,— так кровных своих последним добром оделю».

Тоже бывает, что рады нам. Да на таком рады, что войдем вовремя, мучителей каких-нито из деревни выбьем. Так деревня-то только что болячки да раны свои зализывает. Не до баловства, кужéнек [1] не напечешь, хлеба-соли не вынесешь. Понимать нужно.

Я с оглядкою мешок общупал — человек вкочене-лый! Ох ты, думаю, пропал я в той хатке, пропал с потрохами. Почал прицепляться, чтобы втечь. Как доглядел хозяин мои руки на мешке и говорит: «Не бойся,— говорит,— сынок: то ихний, не наш, в нашей деревне отличают».

Кому как. В том месте для нас кров и снедь, а врагу — кровь да смерть. Понимало-то место, кто свой, а кто ихний.

Пошли детки своим путем, нелегким, надобным. Накройте поле полою до поры. Придет время — выпашем, высеем и жатвы дождемся.

Хорошо живете, говорит, с вас побольше. А тут побольше ли, поменьше ли — своего куска всякому жаль.

---

[1] Кýжень, кужéнька *(обл.)* — лепешка с творогом, ватрушка.

Как продразверстка идет, все печи топят, последнюю животину переводят, на год нажирают, топоры острят, косы точат на нас.

У нас, как продразверстка, только и сыты бывали. То всё прячут, до полного голода, а тут в один день на год жрут, только бы не отдать.

Ненавижу деревенскую жизнь. Бьют миром, живут же как пауки, ничем не поделятся. Грязь свою берегут.

Вот глянь — стоит перед тобой деревня... Хаты малы, крыши раскрыты, окна слепые. А вот глянь — хоромина-домина. Крыши высокие, окна широкие, сад, и для псов разных кругом дома понаделаны. Теперь прикинь одно к другому.

Часть пятая
ОЩУПЬЮ

XIX
ЗЕЛЕНЫЕ

Направо ли, налево ли, прямо ли — ни людины. Иду дурницею, думаю: обманули и будут братья мне звери-волки. Как над шапкою — тах-тах! И опять не видко и не чутко. Скоренько я белою тряпицею машу, и тут, с-под земли просто будто, вышел очень приятный человек и меня в зеленые принял.

Как жили-то! Крови не лили, голодом томились, из лесу ни ногой: комарня, мошкарня, совий гук да волчий вой.

В самой глуши курень под землею, да не хуже медведя хворостом закидано. Ни духа, ни солнышка. Болото разведем и спим в нем чередами и сторожко.

Только зубы и светятся, до того в куреньках обкурилися, до того зеленями обросли.

Приказал нам зеленых по лесам не шукать, а строго-настрого, ни с села в лес, ни с леса в село — никовошеньки. И пришелся рецептец тот через неделю,— потянулись до нас из лесов мощи живые, до того тощи, до того неевши — от корочки вдрызг пьяны. Взяли мы их голыми руками. Да безвыгодно для походного дела. И слабы, и воевать отвыкли.

Сразу с факелами высыпало полк-полчище. Чистые богатыри, до того при факелах высоко они темнятся. Один спрашивает: «Что ты за человек, зачем до нас в леса пришел? Коли ищешь ты сна и покою — из лесу ступай; коли счеты нашими руками сводить собираешься — ступай от нас; коли ж ты,— говорит,— войну ненавидишь и через всякое злое от войны уйти готов — полезай, братишка, в наш курень зеленым».

Захватили они нас, не для истребления, а чтобы их-них зеленей не выдали. А нам лесные жители и люди, не в пример добровольцам. Остались мы охотно. Кто из нас покаленее — красных дожидался, а кто позеленее — и по сие время в бору дремлют.

Душою он тихий был и здоровьем хилый. На той войне санитарил да в слабосильной мордовался. Такой туда да сюда, да и залег под ракитовый кусток.

Кабы не зверел я в бою, может, и воевал бы. А то чисто тебе волк, ажно зубами врага брал, ажно сине в глазу. Памяти не станет. Чисто сумасшедший. Оттого и сбег в леса.

А кто и так: вот день, вот ночь — война и война, и краю ей не видать. От последнего устатку в леса.

Все терпел, раны всякие, страх. А то раз вскинулся я под звездами и до того удивился как бы, что спокойно. С тех пор ушел я.

Я и при царе по куткам ховался, не дал шкуры своей. Нет тяжеле дезертирского житья. Я войну до последнего ненавижу. Я рад бы на свое дело силу тратить, да не на войне. А теперь только война и живет.

«Дезертир»,— говорим. «Ан нет,— отвечает,— дезертир сбёг — бабу на печи кутает, а мы не то что бабы, а и печи, почитай, год не видали. От крови далеко, живем во зеленых лесах, и есть мы зеленые».

Думал я, думал: нигде тихого угла не видать. Бушует земля. Что люди, что дела — движутся. И ушел я в леса тишины искать. А в лесах нас-то, тихих,— полк. Так и жили, зеленя поганили.

Эти святые! До того воевать не любят, хучь белый стреляет, хучь красный — бегут святые во места лесные, ажно портки сеют. Зато как выстрелов не слыхать — оберут место до последней корочки, баб угонят и в скитах своих зеленых миролюбием хвалятся.

Зеленое — мирный цвет, без кровинки. А тут и красных и белых — кажного на зелень потянуло. Мобилизации — почем зря. А зеленые до того войны боялись — бесперечь им воевать пришлося. И грабить молодцы стали.

Наши зеленые — те ничего. Пограбят от нужды, всякому впору. И различки не делают, кто красный, кто белый, кто еврей,— абы хлебушка. Те же зеленые геройствовать взяли моду. Налетом налетят, не то что хлеба, а всё берут, более всего — вина и вещи дорогие. Для ужаса евреев перебьют, как бы за коммуну.

———

Двоякие зеленые есть. Бедные и богатые. У бедных в лесу подземный текучий куренек, хлеба корки немае, табачковым делом навоз займается, на собственных ломотных костях спят, родною вонью греются. А есть богатые зеленые. Ковры у них и золото, сигары и вина разные, кони и даже машины. А коло них, на золотце, злыдни из простых людей снабжением ведают и как бы вестовыми служат.

Пой, товарищ дезертир, соловьем. Дерьма зеленым не подкрасишь — воняет. Мы за весь народ воюем да зверствуем, а ты за мягкую постель обиделся.

Не мог я русской крови видеть, не принимал, что ли. И все мне разъясняли,— голова знает, а сердце неймет. Вот я и ушел в лес. А там и того хуже. Скажу — воры просто, для ради себя и шкуры берегут.

А я в лес ушел обдумавши. Месяц-два — кончится война, я целым выйду. А с мертвого калеки какая кому прибыль?..

Кто так, а я прямо скажу: страхом хворать стал. Вот и убег в зеленые. Хорошего мало.

Припал я к сену, сапогов не сымая, на лету. Как торкнулся — подо мною в сене человек. Я и гукнуть не поспел, как шепот его слышу. «Не кличь,— шепчет,— братишка, я зеленый, не бандит. Невинный я, здесь за провиантом был да за девичьей лаской в лес не поспел».

Аэроплан над лесом. Как сыпанет листками, а грамотного — ни одного. Кто нас кличет, друг ли, враг ли, а из лесу выбираться надо.

К нам аэропланы не летают, им в лесу не станция. Пролетит, бывает, над лесом, бросит бомбу или листо-

вок каких — и дальше. А раз головку сыру сбросили, верно нечаянно.

Я мечтал в летчики податься. Да разве из лесу полетишь, если ты не птица? На ангельских крыльях и то нельзя, потому что черти мы зеленые, а не ангелы. Где уж нам летать.

Девки нас любили. Чего может — наготовит, да и жить с нами не отказывались. Хоть и лесные, а знает девка — и сегодня ты с ней, и завтра до ней. А военный — сегодня здесь, завтра бог весть. Лесные покойнее.

Меня бабы за то жалели, что ласковый, что крови не любил. Просто под подолом спрячут, как какая-нито часть в селе.

У нас в лесу и бабы жили. Кто к мужу, кто к хахалю, а кто и от войны отдыхает.

У нас старая баба проповедовала: как война не нужна, да как грех, да как в лесу спасаться. Кто и слушал. А я часу ждал.

Святые угодники и те для людей терпели. Вот и мы так. Кто битвой, кто молитвой, абы людям легче бы стало.

Шла часть ровно и верно, шла местами лесными, середь речек да болот. И стали что ни день люди пропадать, между кочек залегать, на вольные леса заглядевшись.

Вылазьте, братики, с-под кустиков, войной миру добывать.

XX
ШПИОНЫ

Теперь враг такой пройдошный, ружья противу него мало, вот и шпион первый человек.

У нас за деньги не ходят: первое — свое это, кровное; второе — денег у нас нету. Какие из нас шпионы, это у них.

У нас шпион самый верный должен быть, чтоб не за деньги, а сердцем на врага доводил. А разве шпион может так?

В шпионы же не гожусь. На врага сам глаз грозится, не скроешь. Ни сердца, ни слова, ни руки не удержу.

Старший — воин, а младший в шпионах служил очень хорошо. Его вперед зашлют; нежный такой был, до него особенно дамы привыкали, вроде как бы юнкер. До самого семени через дам вызнает, а тут и мы подойдем.

Приходит до нас весточка — служит у врагов на важном месте. Продал, думаем, продал. Продал, да не нас! Как вошли, все нам показал, как и где.

Я в шпионах аж четыре раза был, очень это интересно. Раз присыпался я до кухарочки одной, хозяева вышли, я к барину в стол. Там бумаги стога, хоть вилами действуй. Грамоте не очень знал я, однако понял, что здорово в точку попал, как пошли мои хозяева шептаться и белеть.

Служила она у них при бумагах, от многого нас уберегла. До того нам нравилось, что не боится для нас в шпионах служить. А кабы мужчина, так служи, псина, а в горницу не суйся.

Я б на раз только шпиона пускал. Добыл пользы — ступай. Как-то веры нет.

Кто за деньги, тому веры нет, того купил ты, купит и враг. Того на раз, а потом в зад коленом.

Что скажу про шпионство. Страх один, нету вреднее. Иной, как маманя, теплом греет, а в нужный часок со теплых грудей под муки, под топор.

Нам брезги не разводить. Одно спросишь — на пользу? А как на пользу, так хоть в коросте, не гони.

Мирные шпионов очень боятся. Сами себе веры не дают, вот и сдается глаз со всех сторон.

Парнишка приветливый, гнучкой такой, гавкнешь — смеется, ткнешь — не примечает; не нравится мне. Ночкой прелестной прокинулся я в куреньке с плохой пищи, вышел. Вижу скрозь звезды: ползет парнишка хорем, дырку в земле царап-царап да и в курень. Я в ту норушку, а там и то и это, и у того места, и какая у командировой кобылы масть на хвосте, и число, и знак на нужной бумажке.

С первого дня стала к нему жена ходить. Мы ничего, закуток им отвели, любитеся. А один паренек, гнилой у него глаз был, раз к щелке и приникни. Только замест сласти видит он суровые лица и бумаги попархивают. Ох и было ж им, чтобы сладостей на шпионство не меняли.

Одна женщина взялася ему зубы лечить. Сама лечит, сама спрашивает. А он морду выкривил. «А может, вы в шпионах служите?» — говорит. Так потом, бывало, с леченья всякого добра нанесет, до того она его боялась.

Сумерки густые, как дым. Смотрю: ползет по-за кустом, крадется. И на самом на близком к окну местечке приник. Тут я и подполз, за ворот. Он меня зубами. Любопытный оказался.

Молоденький мальчик и очень чистенький. Всегда газеты читал, разговаривал. И все коло бумаг, все коло бумаг он. Потом и перепорхнул врагу на руку — канареечкой. Счастье наше, что не в бумаге у нас теперь сила. Одно пишем, другое делаем.

XXI
УЧЕНЬЕ И УЧЕНЫЕ

Написано на роду —
Быть на быстром нам ходу.
А кто носом в книжицу,
Тот с войной не движется.

Эх, кабы сто лет нашему житью! А то ведь такого житья и до сорока не догонишь,— воюй и воюй, ни тебе минутки на обдумку.

Вот теперь навязалась на нас болячка эта — учеба. Да дай ты мне отвоеваться как след, всю желчь отвоевать. Прилипли мои ручки до амуниции, не держат пера.

Дрожит во мне каждая жилка, только что винтовка с плеча, а он меня в книжку носом.

Теперь у нас что ни шаг, то учитель. А шагает народ и шагает, на ходу лучше университета обучается.

Шутка ли: голы, наги, безо всякой науки свою волю добыли, да еще и во вражьи руки воли не отдаем.

Не перечь ты нам выдумками. Разве ж можно нас теперь наукам учить, если мы еще в самом бучиле пузыри пускаем? Дай хоть на берег выплыть.

Теперь войну кончим, много в наших руках добра будет. Этому особо учиться надо, как добро между пальцев не пропустить.

Вот не знаю, сдюжею ли я, такой измордованный, настоящую науку принять? А до того охота! Кабы дорваться, знал бы, за что и войну отвоевал.

Думка одна, что упрусь после войны в самую науку, в мирное, для всех интересное.

Как в хате после пожару — и копоть, и воды, прислониться не к чему. Так и мы, пока не отстроимся.

Кто на нас работать захочет? Ученому угол нужен, стол нужен, и чернила, и покой, и чтоб над ухом стрельбы не было, чтоб возможно мозгами шевелить. А у нас где ж такое место?

Нельзя говорить «сидю»... а почему нельзя, никому не известно.

Я бы заставил ученых: наших парней, что поголовастей, всем своим наукам обучить. Обучили — их на покой тогда и до кончины поить-кормить. А уж наши дела пусть головастые парни все и устраивают.

Я бы всех этих ученых по шапке — да на остров. За границу бы не пускал, чтоб на нас чего не наготовили. И к делу бы не допускал, как бы с большого ума чего не натворили, учены больно.

Я бы все как есть науки перевел. Те же люди, те же руки, а как наука у кого в голове, сейчас и различие — то чиж, а то коршун; тот в гору, а тот в болото.

———

Я сколько врагов убил, а объяснить это как следует не могу. Завидую я ученым.

Для этого политика хороша, а не наука. Наука все про далекое, что в земле, что в небе; а политика в самый корень покажет, отчего какая кому жизнь и как эту жизнь переменить.

Ученых собрать, хорошо сговорить, чтоб добром и на совесть.

Вот и мы, бывало, у белых воюем, а разве полной силой? А для своей войны черезо все шагнем, всего довоюемся. Так и ученый — и он тебе из-под палки на весь мозг не наработает.

Так себе человек в очечках, ко всем добрый, ничего не замечает, хоть ты его матерши. А ребята его берегли, на весь мир знаменитый был ученый. Только по какой науке, нам неизвестно было. А ребята берегли его.

Вошли мы в комнату, мороз в ней, как в поле, изо рта у нас иней. По стенам книг, на полках, до верху, на полу книги грудами. Стола нет, забрали, и сидит на книгах старичок, пуховым платочком позамотан. И книга в руках.

Когда всю мебель на дрова перевели, ничего он. Рояль рубить стали, сам еще и помогал. А до книг дошли — лег в стену носом, затосковал.

Мальчиком трудно мне грамота давалась: что и выучу, за игрой забуду. А говорят, как войну окончим, всех неграмотных в науку. Как подумаю такое, ажно в краску бросит. Теперь герой не хуже других, тогда сразу дурак дураком окажусь.

К нам кормный такой гражданин на фронт наезжал. Стихи свои потешные читал, про богов, про господ, про генералов. Стихи очень веселые. Но гражданин не понравился. Так что, что шутит? Он — он, а мы — мы. Мы во всем теснимся, у него жратвы, по лицу видать, сколько: вагон свой, отдельный. Одежда на нем только снаружи простая. У нас и свои шутники найдутся, да под них целых поездов не берут.

Картинок навезли, песни пели и стихи читали. Всё про врагов, очень потешное. Мы к ним в гости ходили. У них вагон свой, не то что наш брат друг на дружке в четыре этажа путешествует. В отдельном вагоне мы бы и не так еще запели, да заиграли, да стишки бы записали.

А ты мне в тифу со мной поваляйся на вшивой подстилке. Вот тогда я стишки прощу.

У меня дружок замечательно портреты рисовал. Чем хочешь рисует: угольком так угольком, хоть навоза куском. Он с меня такой портретик нарисовал, я девице его на память подарил,— так она говорила: лучше меня живого портрет этот был.

Подобрать придется самых хороших землемеров да инженеров, хоть силом, и пусть нам землю устроят, как во всех образованных странах.

Я бы всех ученых собрал, приставил бы к каждому красногвардейца, и пусть нас устраивают. Устроят, хочешь, с нами живи, хочешь, куда хочешь, хоть за границу.

Эти с жиру бесились, по-моему, всего им мало было, только б от дел отлынить. У них институт высший для лесников был, а верно, для неженых самых господ. Наивыдумывают: экое какое дело, дуб от елки отличить. Мы и без высшего образования умеем.

Подводная лодка была бы интересна, если б стеклянная была. А то стальная, воздух в ней дурной, помещенья не хватает, рыб не видать. А порча если, беда последняя. Могила она подводная, а не лодка. Степь куда веселей.

Мне шаг наш, так и то в ушах, вроде как нарочно выговаривает. Пуля мне песню поет, снаряд на трубе играет. Человек от раны воет, так и то я как бы лад какой-то слышу. У меня в слухе особенное.

Нашего брата учить куда выгодней, чем господ. Мы-то уж ухватимся учиться, только допусти. Мы-то уж не баловни.

У нас в деревне ребятки есть, спит и видит до науки дорваться. А кто его к ней допустит, бывало? Вот вернемся, поставим учителей, учись да не переучивайся.

Такие у нас есть — удивляешься. Пасти станет, гуся с лебедем путает, до того ему книжка в голове. Ну и бьют же у нас таких вот.

Сколько мы с этой войной мест перевидали, а кабы всю Россию пройти? Отвоюемся, всё надо будет узнать.

Сказать по правде, чего-то я задумываться стал. Самая это верная примета, что скоро воевать кончим. Значит, скоро мы на места станем, головой работать начнем.

Ты думаешь, воюют без головы? Привык, что за тебя начальники думают. А сами думать не будем, приведут нас под родную деревню да и скажут: «Бей, вот он — враг».

Если все наше будет, я землю брошу. Городские ребята машины пришлют, без меня машиной поле устроят. А я учиться.

Может, по-французски учиться захотел? Ла-ла? Залалакаешь да нам на шею? Видали таких любознательных.

Гляну кругом — всех мы ученых разогнали. Самим учиться придется.

Всех мы распугали, словно ястреб кур. Толковых людей распугали. А что делать, не бросать же войну, пока врага не изведем.

Конечно, и мирные занятия хороши. Только по-новому заниматься надо, а то как бы опять до войны не довести.

Через некоторое время мирного житья не с чего болеть станет. Ни голода, ни обиды, ни надрывного труда. И забота кругом о тебе.

Не станет больных, больницы под старость отведем, доживать на покое людям.

Что с нас, молодых, взять, мы не так образованы, мы только что на своем деле стоим, врага не боимся.

Ни театров, ни кино, ни миниатюров. Скучно здесь мне. Я привык к развлеченьям. Слепил я лото из хлеба, так черти эти слопали.

Своих всюду поставим, и в университеты. Учиться станут, как самим за собой смотреть. Науки после ох как приложатся.

Интересно знать: эти вот богатые рояли, что мы в квартирах видим, у нас делают или за границей? Чтоб мастеров найти заранее. Чтоб музыка нам была.

Я тут как-то автомобиль брошенный по кишочкам перебрал. До чего хорошо прилажено, просто не отошел бы, да пришлось. Отвоюю — машинам учиться стану, а не книжкам этим.

Взял у меня кровинку на стеклышко и под трубку — микроскоп. Покрутил, мне смотреть велел. Что же вижу? В кровинке как бы круглые букашечки бегают, пока кровинка живая. Только станет кровинка умирать, а букашки все тише и тише хлопочут, а потом встали. Смерть.

Нам всё внове, их ничем не удивишь, всё знают. Нам веселей, сколько удивительного.

У меня домой отправлена одна вещь, ну и вещь! Книга! Про все наши дела, чего нам хотеть, чего от врагов дожидаться. Дал один товарищ. Я теперь грамоте учусь, на ту книгу зубы точу.

Кончить эту войну — и за дело. Мы раненые, истоптанные, силы же у нас теперь закаленные, пробованные. Работы непочатый край, на всякий вкус,— образованья же никакого. Первое дело — учиться.

Меж пленных один пожилой, видать, не купец, хоть и с бородой. На нем очки, побитые стеклышки. «Я,— говорит,— университетский профессор». Я профессора сам и в штаб отвел, чтоб ребята с ним чего не набаловали. Я его поберег, еще пригодится.

Когда война кончится, пойду в университет. Не буду хуже других. Я грамотный, хорошо ко всему приглядел-ся, чего не знаю, подучу.

Так и пустят тебя в университет, без всякого образования! Эдак и науку перепортить можно, если в нее всякая немота попрет.

Сперва нас попроще поучат, потом как строже. И будем мы не хуже их всё знать. А работать — так и получше, навык есть.

А, б, в, г — это я выучил, а как складывать, не пойму. Тут стрельба, тут университет в карман — и на конь.

Я на ходу читать выучился. Писать же научусь, когда где-нибудь хоть на неделю задержимся. А когда это будет, никак не сообразишь, кругом зверь рыщет.

Я как теля, почти и не видел ничего, кроме смертей разных и военных дел.

А я так думаю: такое, как мы видели, в прежнее время никто за сто лет не увидел бы.

Конечно, брат, конечно, избяного ничегошеньки наша война не оставит. Ни домового, ни лешего, ни бабьей нечисти, русалок. Насквозь эта война всё нам показала, все тайности. Не хуже университета.

Я так располагаю, что, может, и не всё, что теперь мечтается-бажается, для наших народов сбудется, а таки станут меня, такого, каков я сейчас, по ярмаркам возить, в балаганах людям показывать. Вот же всем вам видимо, воюю всей силой, геройствую не за свою хату, а за людей своего рода, голых и обиженных. Воюю справедливую войну. Сам же никакого понятия не имею! Ни как говорить с нерусскими, ни как там смерть является, ни как Земля держится, ни отчего тучи на небе и что там под землей. Да и насчет чёртей-дьяволов во мне тоже сомнение. Если скоро дела наши повернутся по-новому, не минуть мне идти напоказ, вроде дикого.

XXII
МАТРОСЫ

Что говорить, матросы очень нравятся — смелостью, крепостью и что к врагу жалостью не балуются.

Хилый я был, на море выправился. Кругом вода, не раскинешься. Вот и стали мы всё понимать, от кого зло, куда думкою идти.

Я на берегу болел, на море же никогда. Одно было непереносно — страх такой, вроде как бы у каждого начальства на тебя камень в рукаве и каждую минуточку.

У матроса какая сноровка? На море позамедлишься — от начальства кулаки да от рыбки зубы. Выбирай.

Матросы чем хороши — отчаянные. Под ними домок шаткий, туды да сюды,— на таком домку до своего кубла не прилипнешь, вот они вольно и думают.

Матросу все видно, как у нас, как в других странах. Матрос всюду бывал, весь свет видал. Матросом сговорено, что и как, со всеми народами.

Матрос все страны и людей видел, образованней других, потому он и главный такой.

Как за кого матросня встанет, пушками того не добыть. Дошли мы до одного подозрительного, а у него на диванчике матрос броненосцем сидит, до того вооруженный и не боится. Так мы и ушли. «Беру,— говорит,— на свою ответственность».

Был тот проворовавшийся преступник самый матросский дружок. Они ему фигуры на груди терли, в знак вечной любви. Так не то что арестовать не пришлося — дыхнуть в ту сторону матросня не дала.

«У меня,— кричит,— матросский закон: от буржуйской крови рук не беречь, за товарища крепкой стеной стоять, хоть бы он раскакой был!» Так и не дал.

Грудь его волосатая и с драконом, штаны трубами. Как ему кого приведут, станет он от злости лицом синеть и синеть, и так синеет, пока совсем не зайдется.

Атаманов кругом, бандитов, братвы зеленой — скопы. А ему, с матросскою правдой, те места пройти одному надо, к морю пробиться. И шел он из рук в руки, и всюду ему за храбрость жизнь оставляли. А у белых его всмятку, эти геройства не любят, у них одна думка — какое твое рожденье.

Был он самый сильный и вырыл себе могилку первый. Сел на могильный борт, ноги в могилу спустил, яйцо из кармана вынул, облупил и питается перед смертью. Привычный матросик.

Вот матрос был. Шкуру ему перекраивать, почти что освежевали, а он только кряхтит, ни словечка. Стали расстреливать, к заборчику прислонили, шкура у него с плеча висит, а он кулак сжал да и погрозился. Такого кулака не забудешь.

Зверее всех матросы баловали. Здоровые они как быки, мясные такие, красные, шкура разрисованная, и сила в нем, и не боится. Пить там или кокаин — на все первые ребята. И жалости не имели тоже.

Мы теперь самые легкие. На море порядки непереносные были. Как до краю, до борта дошли,— либо им, либо нам, а уж в море головой.

Из него все болячки рвотой вышли, в первый год. С тех пор здоровый и смелости от тяжелой жизни набрался. А теперь и на земле хорошо воюет.

Нету фанфаронистее матросни. Жйла в нем дерзкая, морская, жалости ни к чему, стыда немае. Он тебе хвастает и хвастает, а ты молчи.

На этих очень-то не надейся. Они хороши, пока геройствуют. А как тихо — задаются очень. Пускай в море плывут. Мы на суше и сами разберемся.

Словно кто не с моря, те и не люди. Просто дерзок он, просто в раздражении мы даже.

За что мне его уважать, коль я окромя речки Волоки, почитай, и морей не встречал. А он у нас, словно на корабле каком, распоряжается.

Матросы всех умнее, до того они ничего не боятся. Только командуют через всякую меру.

Наш брат за хорошую маруху сколько промашек сделает, а матросу баба подолом света не застит, нет. Он ихней сестры на каждом бережку накидал.

И откуда они такие здоровенные стали — не пойму. С морского ветру, что ли? А нас земля сушит.

Смотря по тому, какой матрос. Если матрос молодой, он хоть и горячий, а куда хуже старого революции обучен.

Выбегли мы, оделися во что попало, на бегу петельки застегиваем. А матросы наши в исподнем, наги почти, а патронов да револьверов полны руки. К брюху голому и то бомбы прилипли. Эти со сноровкой.

Как матрос — сейчас оратор. До того у них горло звонкое. За матросом шли охотно. У нас выучки ни к

чему не было. Топчемся на месте. А этот смело на себя принимает, за ним идешь весело.

Ихние матросы совсем как наши. Тоже каленые-соленые. Себя не помнят, воли хотят. Тоже боевые.

XXIII
ОЩУПЬЮ

Вот иду я, иду, а ладно ли это, не знаю. Туда ли я ход взял, в ту ли нужную сторону? И кто научит, кто разъяснит,— как в тумане.

Прежде приказ слушай, на тебе ничего не лежит. А как теперь без приказа сам за собой гляди — трудно с непривычки.

Как это, куда идти не знаешь? Простого проще. Велели тебе высокие люди — идти туда-то. Так ты сбей их с высоты, людей этих, да присмотрись поближе. Не наши — вороти в обратную, непоказанную сторону.

Больно умен, больно учен, ему ни высших, ни приказа не надо, сам себе начальство. Так и ступай на большак разбойником. Нам же приказ вот как нужен, да только от кого приказ тот.

Утка летит, я в нее пальнул на ходу, гдесь-то свалилась она, не видать где, да и без надобности она мне. Так и то аж горечь во рту. А тут ведь люди на мушку летят, так побережнее веди себя, чтоб своим беды не наделать, с безогляду такого.

Анархист ты — вот ты кто, самое худое. Я на них нагляделся, на анархистов. Вроде как чума они, заразительные. Только о себе в них дума трепещет. А для народу, для бедного народу, хоть бы их и не было. Не то воры, не то разбойники, не то актеры какие. Полоумные какие-то.

Анархистов и я видывал, жадности они непомерной. Оттого только бедный народ они не бьют, что взять с бедного нечего. Они же кольца, да духи, да шубы любят.

Всему еще я место в себе подобрать должен, а кто посоветует? Обещали дружки книгами наградить. Так вот я им в лужу и залягу, и книгу читать стану? Нет, иди и иди, воюй и воюй. Некогда.

Что вижу? В кутке по-волчьи страву [1] какую-то уминает. Глазами зыркает, не смотрит ли кто, как он от голодных товарищей страву сберег. Что с такого пользы?

Голод, брат, не тетка, а раз ты человек, так не живи по-волчьи. Раз ты товарищ, так и жизни для товáрища не жалей, а не то что стравы. С такого волчака чего спросишь, гони его.

Все мне любы, все хороши, если из бедноты, свой брат если. Даже красивенькими сдаются. А разве все они равные? Лучше да хуже, а как отберешь в близкие друзья? Вот жду — бой отберет, кто каков.

Верни мне мое, своего у тебя ничего нет, всё мы же тебе пóтом своим добыли.

Надоели мне бандиты. Глядишь — ничему не веришь. Эдак-то и прежде разбойнички воевали. Даже и в сказках так. А толк?

Послали нас против немцев в мокрый окоп, беззарядку в руки сунули, на пузе ремешок, да бляшку. А ты видел, чем немец воюет, какое у него снаряжение? Не ремень полопался на брюхе пустом — терпенье полопалось. Наш же народ, потерявши терпенье, до

[1] Стрáва — пища *(обл.)*.

всего дойдет. Тут и учителя нашлися, и вышло, как бы мы этой самой минуточки да всю свою горькую жизнь ожидали.

Эх, хороша песенка про барышню — голубенький глазок, как она сквозь занавеску с поручиком кокетует! И я иду и ту песню пою, сам по сторонам поглядываю, может быть, и на меня, рядового дурака, кто-нибудь глазок наводит? Только нет. Какая-то у них чужая жизнь, на нашу непохожая, чужие и глазки голубенькие, бог с ними.

Вот, думаю, я ему работаю, зато сыто ем. День так думаю, два так думаю, на третий обижусь до последней кровинки чего-то. Все свои нехватки, все его лишки пересчитаю, ничего ему не прощу, работа омерзеет. А что делать?

Вот тягота, что в настоящем порядке мы не воюем, не тверды мы в том, с кем версты меряем. За всем за тем скажу: выбрать правильно можно, чутье имея. А что грабить пока не отказываемся, так ведь время такое скользкое, не устоишь на нем.

Ты до войны в школе учился, на войне книги читал, с товарищами рассуждал. Я же деревенский, одна у меня учеба — земля. Теперь кругом добра всякого понакидано, кто мне его добудет, ты? То-то... С дисциплиной укладки не набьешь.

Какие мы герои? Лохмотья да простота, мы же неграмотные еще. А честь у нас кровная, не из книги припечатанная. Хоть ты меня на части рви, а товарища не выдам!

Пыль, крик, семечки. Что такое, думаю? Народ веселится? Не затем я, человека нужного ищу. Пробился,— дядя подстаркуватый уж, в очках, и такую же дурость развел — с души воротит. Чему учит! Говорит:

хоть и царя нет, воюйте дальше, тогда и будет все ваше. С кем, спрашиваю, воевать-то? А с немцами, конечно. Нет, уж если я дальше воевать стану, так уж сам себе врага выберу, здесь, поближе.

Вот так-то ищем-ищем — не находим учителя. Все обман, все туман господский. Слова да словечки, а меня за пустым словом воевать не потянешь, отвоевался! Изловчусь, спрячу оружие да при случае пущу его в дорогое дело.

Ищу-ищу партийного хорошего, кто б мою тугу[1] понял, кто б поверил моей несветлой голове и словами незнакомыми не перекидывался бы. Мира бы, бар-измывателей вон — и земли. Вот те и всё.

Часть шестая
НА ХОДУ РАЗГОВОРЫ РАЗНЫЕ

XXIV
СМЕРТЬ

Мы со смертью теперь круглые сутки вместе. Как бы дитя с матерью.

Нисколько смерть не страшна. Страшно раненому от операций, да перевязок, да выздоравливать чтоб понемножку, с болью. От того страшно, что для жизни, а смерть что, пустяк.

Как же не страшна смерть? Старики, те знали, что и как. А мы вот так считаем — песочком присыплют, посмердим, и нет нас. Как в дым кизяк. Хоть бы уже делов каких наделать иль бы детей народить побольше.

---

[1] Т у г á — печаль, тоска, горе *(обл.)*.

А я так никогда про такое не думал. Придет смерть, увидим не хуже других. А я жить думаю, не в смерти дело.

Чай, и лошадь про смерть помнит, ты же человек, не скотина.

Чего про смерть вспоминать, про жизнь интересней.

Что про смерть думать? Смерть теперь сама о нас печалится, из-за каждого куста моргает.

Я ее, смерть эту, и знать не хочу! Ого, сколько я еще годков живым буду, мне об жизни забота, смерть же — тьфу! Я сто лет проживу.

Это как ты жить станешь и для какой такой пользы.

Жил хорь сто зорь, сдох на сто первой, провонял стервой. Так и ты.

Ты что, старуха, на тот свет поглядывать? Да как там, да где там, да кого там, да чем, да в чем? Так у старухи времени свободного до самой смерти ворох. Ты ж военный.

Конечно, очень хорошо, как не боится кто. А как ты не забоишься, если тебе двадцать лет, кровь в жилах гудит, врага тебе раскидать кортит. Забоялся, отбивался, не отбился. Убили меня. Наши еле отлили.

Пусть попы отпускают только при настоящей простой смерти, когда старые люди помирают придомовой смертью. А тут на каждом шагу тебя истребить могут, ты же весь, до последней кровинки, живой. Да чтоб поп рядом? Да лучше хоря за пазуху!

Если бы после смерти жили, так тут бы мертвых больше живых бродило. Убийства каждую минуту, попы не служат, водицей не кропят.

Эх, кабы враг на расстрел вел, а песни бы петь позволял, куда легче шлось бы.

Дух от него тяжелый. «Что ты,— смеемся,— ровно из могилы смердишь».— «А из могилы и есть я,— отвечает,— расстрелянный я, сам и откопался. Сверху же от мертвых запаху набравшись».

Расстрелянные, те оживают. А вот повешенные или того еще хуже — утопленные, те неживые на всю жизнь делаются, то того, то этого в них не хватает, как бы нецелые. Один у нас из воды вытащенный такой стал: блеску страшился. Как видит хоть бы жестянку старую, аж рвет его со страху.

Кот под ноги! Споткнулся я об черта этого и погиб. Взяли. И кот в стороне верезжит, ушиб я его, и меня на осину на ремень. Ох ты, и кто же это об нашем брате смотренье имеет? Не бог ли? Да нет, свои надошли.

Нас к реке прижали, ни шеста, ни моста, кто вплавь, раков кормить, кто как. А меня взяли. Прикладом по темю — тюк. Вот, щупай... Шашкой через плечо — рраз! Щупай... А потом вожжой вокруг шеи, да с таким-то вот темечком, да с таким-то вот плечиком за конем вскачь! Потеха, как меня волокли, а я все жив...

Лес черный как глаз, сам себе не виден. А у меня с сапогом три пальчика оторваты. Просто тебе, нужда лечь! Хоть к мамке под подол, болища, кровища, ажно дрожко. Я и лег, да на вражье изголовье. Они меня вешать, да не поспели — наши надошли.

Подвели меня недалечко на улицу. За мной мальчишки как горох. Поставили меня, что сзади — не знаю. Не то стрелочки, не то столбочки, не то петля, да ямы нет ли... Вдруг: тах-тах-тахи — сивые папахи, красные-кровиночки, голота-сиротиночки, родные братцы, да не по святцам, да не по кресту, а что вместе расту, как бы с одной хаты, да на богатых, да на брюхатых!.. Вот тебе и стишок, не все господам удача.

Они меня в реку бросили, я сразу на дно, нарочно. Они же рады, аж ржут. Я выплыл, пузыри попускал, опять нырнул. Они — рады. Я еще под водой отплыл, опять им пузырики. Они ажно стонут от удовольствия, а того не знают, что я море переплыть могу с подходящей пищей. Я им еще разок в отдалении представление сделал да под водой и поплыл к дальнему бережку. Они ушли, я в кусты.

Навзничь лежим, последние звезды считаем. Как рассвет, мы на тот свет. А враг коней седлает. Что ж за дума у меня в последние мои часочки, спроси? Первое: не верю, что помру. Второе: ажно жаль мне себя, молодого. И третье: кабы не звезды далеки-высоки, и ничего-то понять про них нельзя.

Ждал-то он другого, а дождался пули. Ранили. Он эдак рыбкой по земле дрыг-дрыг. Те по нем еще раз в спину стрельнули и айда. Полежал-полежал, а потом головку поднял, как птенчик, зырк вправо, зырк влево, да как вскочит, да в кусты. А в кустах мы. Тут его под себя, а он здорово боролся, эдакий раненый. Ну, поволокли вешать. А он... вот он — я.

Только не весь я ожил. Я еще ничего пока и не боюся, как бы глупой. Говорят, что страшно, а мне только что слова, а что такое будет — не знаю. После своего повешения я такой стал.

Днем я страх потерял. А вот ночь, да сон, да страх, да пот. Вешали меня враги, закис я в петле, только в боях и лечусь.

Когда меня вешали, я не давался, плакал. И ничего не стыдно под смерть плакать, дело такое.

Меня аж четыре раза к смерти подводило. Первый раз юнкера споймали. С судками я шел, обед своему нес. Застыли юнкера на морозе, отняли у меня обед, сожрали, а ответить боятся. Решили меня пристрелить. Я уж как молился, так нет, пальнули-таки, гаденыши. Ну, подобрали, вылечили. Второй раз поезда нашего пожгли, а я пьяный лежал. Спасибо, вагон под откос да в речку. Отмок я разом, ушел в лес. В лесу же меня зеленые из-за бабы одной повесили, да на гнилом очкуре [1]. Сорвался я, тут тревога, забыли меня в лесу. Очнулся, из лесу вышел и прямо в самосуд угодил. Конокрадом сочли, в землю по шею закопали колонисты, немцы проклятые. Самая худшая смерть. Откопали меня всего неживого.

XXV
ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЕ. РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

Хороша наша сторонка: земля черная, рассыпчатая как пух. Реки рыбны, проходливы, хоть кораблем плыви. Леса — грибов, ягод, птицы, зверя полным-полно. Сады плодовитые, огороды тугие, сочные, луга зеленые — веселые, пчелы некусачие, меда сладкие, цветы — нет душистее.

Такие места на особой, верно, карте где-нибудь? А ты мне вот скажи: как там жители, насчет богатых и бедных — не разделяются?

Зима! Сохнет, остывает, бело-набело постелется, снег ляжет, кости наши припокровит.

Стою на часах, стараюсь зорко сторожить. Место нехорошее такое, лесок, хаты далеко. Ка-ак навалится на меня детина! Колет, режет, кусается, как кошка

---

[1] О ч к у́ р — пояс, опояска *(обл.)*.

бешеная. Бьемся в траве, барахтаемся. Никак я винтовки не освобожу. Верезжим, орем, как псы грыземся. Я его осилил, а и сам ослаб, не задержал, как он от меня в кусты уползал. Чуть кровью не сошел, до того перемят я, искусан. Может, это бешеный человек какой-нибудь был, может, дикий зеленый.

Стою на часах, место открытое, всёшеньки видно, как на блюдечке. Хлоп! Пуля мне в левое плечо вскочила. Хлоп! — вторая сквозь шинель. Еле ружье поднял, уйти же без смены нельзя. Тут — хлоп! — третья пуля, мимо! Тут и наши пули завизжали, меня перевязывать стали.

Лежишь вот с вами, о чем мечтается? Заяц у меня в глазах, охотничий заяц, мой. Я ведь охотник был, я ведь зверя бил, не мордовал я зверя. Я вот лежал у нас тут в подлесочке тише мыши, как следует. Глянул вправо — трава от какая. Глянул влево — еж ступает, как поп в ризах, важный. Навстречу ему заяц серый, пешком как будто идет, не по-заячьи. Тут еж походку испортил — да на зайца! Заяц плакать: уа-уа. Я к ним. Еж вкопался, заиголился в колобок. Зайка было в бег, не вышло, лежит на бочку и очи смежил. Кровь за ним дорожкой. Злыдень какой-то этому зайцу задние лапы подсек. Мне не такой заяц мечтается.

И еще в том перелесочке я в траве лежал, видел: мышка молоденькая то туда, то сюда, то туда, то сюда. Хлопотала, хлопотала мышка, а потом на задние лапки села, передние к грудям поджала и «ох» охнула-вздохнула. Как человек. Чуть я со смеху не помер, весь ей покой перебил.

Ляг в лесу под кустом, не дыши — лежи. Много кой-чего про разные жизни узнаешь. Встанешь из-под куста, как с урока хорошего, не хуже книжки.

Развлекательный народ звери. Не хуже театра. Я бы и на собаку долго смотрел, а уж на что собака привычная, придомовая.

Опомнился — ночь, лежу под стожком раненый, еще и боли не чую. Как вдруг голос женский рядом шепчет: «Ты что ль, Ваня?» Молчу. Приближается, опять то же спрашивает. Молчу опять. Из-за ладошки спичка — чирк. Шарк в кусты, и нет ее. Разглядела, что не Ваня.

Вчера мимо клуни шли — как пальнут. Графчик мой ходу, я на нем как мешок, только бы усидеть. Конь ты мой, конь, не лети на огонь, лети, конь мой, в лес, чтоб я целый слез.

У него долгоухий пес жил, мастью красный. Ральф звали. Тот на крыльце сядет, пленных перед себя поставит, Ральф у его ног неподвижный лежит, уши по полу красные... Тот пленного шпыняет — допрашивает. Ральф лежит, как дохлый. Тот раскалится, на пленного заорет. Ральф встанет, на хозяина взглянет, как плюнет, и в комнаты. Тот: «Ральф, Ральф!» — а Ральф как ушел, так и не вернется, мол, вежливо говори.

Я коров когда пас, бабы все удивлялись, какой я румяный был. А я коров страсть любил. Каждое молоко наизусть знал, отсасывал всех. Одно молоко соленое, другое послаже, то душисто, это с горчинкой. На выбор — какое хочу, то и пью.

Высоченная каменная стена. Мы перемахнули, ни жилья, ни житья не видать. Кругом голый сад, обледенелый. Деревья голые да редкие, за ними не притаишься. Тут стреляют по нас. Тут видим: в земле как бы пещера. Мы туда, оттуда стрельба. Мы сучьев наломали, зажгли да в пещерку их. Кидаем, кидаем, никто не вышел, может, другой ход был, стрельбы же не стало.

Здесь на воде одни печальные случаи. Удочки не закинешь, а закинешь — выловишь человечью требуху. Невод заведешь — как бы кладбище целое не выволочь. А я с младенчества рыболов-охотник.

Раки здесь жирные, мертвыми кормятся. Я их брезгую.

Тут шли мы через мост, тут мост сорвало, тут нас в воду и Томку в воду. Все выплыли, а Томка не выплыл. Все дальше пошли-побежали, а я до ночи в кустах хоронился, всё ждал, не выявится ли пес мой на берегу. Нет, не выявился.

Этот до того цветы любил, как девушка. Заляжет на врага, встанет, в петельке цветок, в цепи лежа сорванный.

Мне цветок много лучше картинки или вещи какой. Я и дома цветы любил. Что же, цветок никому не враг, только и ты его не топчи копытом.

Нет таких мест, где бы врага не было. Он мед соси, я мозоли грызи. Да чтоб я такое простил — ни в жизнь.

Пошли они,— поблескивает чтой-то. Подняли колечко золотое. Махонький перстенечек. И до того к нему привык,— на счастье носил, на шпагатике под рубахой. Да засмеяли — продал.

Подходит ко мне собака, не дошла саженек сколько-то, кверху брюхом перекинулась и на спине к моим ногам подъелозила. Я ее покормил, последний кусок с ней поделил. Такой мне час подошел теплый.

Я в месячную ночь ох как затоскую, просто захочу войну кончить и с семьею жить. В простые же ночи сплю бодрый.

Из-под Голихи отошли мы впятером. Четверо спят, пятый — я, сторожу. Конь рядом, Серый звать. Месяч-

но, да не очень, не день, конечно. Тут топ, едут двое конников, кто — не знаю. Изготовился, жду два дышка. Как мой Серый сорвется, как до тех коней лягать, кусать, ржать — зараза, а не конь. Стреляю спешно, товарищам сна перебил. Двух офицериков сняли. Такой конь боевой. А своих бы не тронул, может.

Почтовых голубей нужно завести, теперь человеком сообщаться нельзя, перебьют всех. Голубей можно будет мне поручить, я их водил.

Нельзя голубятнику военных голубей доверить. Он ни голубя не отошлет, он красным флагом нашим шест разукрасит, голубей гонять. Он человек азартный, как бы не в себе. У него и свист такой, разом врагу наше местоположение откроет.

Так и будешь ты, брат, на чьей-нито крыше нашим знаменем махать, турманов в синем небе перекувыркивать: какой с тебя разведчик!

У меня, как в Киеве стоял, своя хорошая собачка жила, хозяевами брошенная. Я ее Шариком звал. Первый мой друг был этот Шарик. В тот год горькое наше житье было, аресты, казни, слушки да мирные слезы. Кругом же чужие и здорово голодные, никто не привечал. Так я с этим Шариком не хуже, чем с невестой или с маманей, веселюсь, бывало. И в глаза он глядит, и руки тебе лижет. А то с радости, что пришел я, что не сердитый я, так он не знай кто, вроде как дзыгой по комнате шибает, с лаем развеселым. И я смеюсь, молодой, и мне весело.

На этой войне бывает, что соловей даже поет. А на германской, от большой артиллерии да самолетов, жуков, так и тех, почитай, не слыхал я.

Вошли мы с товарищем, слова сказать не успели, как вскочит слепой дед, да по стенке, да шарит, да

шарит, нас все нашарить хочет. Мы от смеху прыскаем, отодвигаемся от этого чужого дедушки. Он же нас за своих внучат считает, сердится — нашаривает... Я ему и поддайся, для смеху. Ка-ак дед меня облапит, как спиной повернет, как в зад мне коленом поддаст! «Пшел,— кричит,— Ванька, пакостник». А я не Ванька вовсе. Ох и смеялись же мы, как я зад чесал, чужой дедушка приласкал.

Есть места — глаз разбежится, сам ты будто растешь даже, до того эти места широки, вольны и красиво устроены, с рекой, с веселыми полями-лесами. Просто дух рвется, просто так бы и полетел.

А мне красивее ничего не встречалось, как моя родная деревня. У нас на задах за огородами как бы рощица, низины, трава сочная, зеленая, и березки отдельные, очень большие, стоят, белой корой светятся. И как будто резные. Глядеть бы — не наглядеться.

Часть седьмая
СВОЕ

XXVI
ОТЦЫ

Наша губерния хлебная считалась, а у нас хлеба никогда не хватало. Просишь, просишь, бывало, у мамки, сунет кусок. «Береги»,— скажет. А у ребят аппетит галочий, разве сбережешь? Ам — и нет... И ходишь голодный.

С пяти, почитай, годков крестьянин в работе. Сперва спеленышей нянчит, потом гусей пасет, потом к соседу поставят, за нищий кусок, колотушки принимать.

Мне деревня когда приснится, ажно заору. Памятка такая во мне оставлена. Сиротская памятка. Побои, да ругань, да чужого куска огрызок. И злей всего — попреки.

Я сиротой остался, из избы в избу ходил, благодетели заботились. Вот не вспомню, чтоб я хоть разок тогда сытым был. Били, матершили, спать в хлеву клали, одежда на ногах рукавами, обуви никакой, весь обмерзлый даже. Пастушить помогать поставили за хлеб, за воду, за побои.

А я и не знал у нас отцов, чтобы не пили. Деревня была пригородная, драчливая, пьяная. Кто в городе около настоящего дела, и люди жили по-настоящему. А наши, меж города да деревни, пьяными ногами грязь месили.

Матершить нам, ребятам, не велено было. А как не заматершить, если отец на нас и имени другого не клал, кроме как по матери.

Что наши отцы? Мы-то вот и детей своих не знаем, рассыпали семя по всей земле, в каждом селе, а что вырастет?

Может, у меня пятеро детей или больше где родится? А мой отец кроме матери и баб других не видал. Вот ему и наскучило, вот и бил.

Отцы наших отцов другие люди были, не такие, как мы. Семью в кулаке держали, сами натерпленные около тогдашних злодеев-господ. Обо всем они знали, ажно травами лечили, не хуже повитух.

Жизнь моего отца вот какая: смолоду в Петербурге на заводе работал. Познакомился со студентами, получал от них образование. Пошел по политике, попался с бумажками. При аресте легкие ему отбили до крови. Сослали в ночные холодные земли. Там он и помер.

После японской войны потому недобунтовали, что думали многие папаши: вот война кончилась коротень-

кая, а больше войны вовек не будет. Да-к вот что вышло.

После японской войны народ еще глуп был, весь перемешан, кто во что думал. От этого революция не до конца.

Японская война разве такая была, как германская? Раз-два и готово, пожалуйте по домам. А германская и год, и два, терпенья не стало. Тут дураком надо быть — народ не поднять. А эти уж не дураки, нет.

После японской революция была как бы господская больше. Народ же еще и в царя кое-где верил, и бога еще страшился. А выучить народ не успели.

Мой отец про японскую войну рассказывал, как их чуть не силком на войну угнали, а оттуда, после мира, домой не пускали. В вагоны посадили да и держали на путях чуть не месяц, домой ходу не давали. Двух офицеров они тогда убили. Это по тем временам, что четырех Деникиных удавить.

У меня отец герой, два Георгия имеет. Он и теперь в силе, здоровущий. А дома сидит. Не то ему царя своего георгиевского жаль, не то боится, не пойму. Звал я его. «Повоюйте без нас еще малость,— говорит,— а там решится дело».

Мой отец бедный был, теперь же оброс чужими вещами. Я ж ему и навоевал, побоев его не помня. А он теперь на вещах сидит, забыл, как бедным был, не воюет.

Привез отец в город сена воз, тут какой-то переворот в городе, отцу назад не уехать. Взяли у него власти и сено, и кобылу, и его взяли, с собой увели. Теперь матери писал, что на Волге воюет, а с кем да за что — не пишет.

Я когда мал бы, с помещичьими детьми играл в деревне у нас. Скучно с ними. Ни ударь, ни ругни, как бы и не вместе.

У нас все бабы безмужные с пленными австрийцами жили. И моя мать, как отца убили, так же с австрийцем одним зажила, в избу аж пустила. А я австрийца с сеновалом поджег. И не знаю, до конца ли,— я тогда сразу в лес.

Терпеть не могу, когда с такого на эту войну ушли. Что тебе гражданская война, арестантские роты, что ли? Нашкодил — да и сюда. Хоть бы уж барина какого-нибудь кончил, а то солдата австрийского.

Бывало, мы в деревне крысу изловим, чем-нито голову ей наступим, шкуру ей от хвоста отдерем — да на голову, как колокол. Вот визжит.

Вот из таких крысятников самые бандиты и выходят. И кадеты вот так — с нас кожи драть стали. На животных обучались, верно.

Я по таракану скучаю. Мы с братом стада тараканьи завели, по щелям тараканов разделили: те мои, те твои. И кормили, чьи жирней, хвастались. А перебегать им не давали.

Видать, хорошо жили, по-людски, чисто по-иностранному. Грязно, сыто, ажно тараканы жиреют.

Отец наш на японской войне раненный, на царя недоволен всегда, за нищету, за раны, за обиды. И нас растил не по-деревенски, даже книжки в доме водил.

Мой отец замечательный человек был, грамотный. Только крестьянства не любил, из-за этого пил запоем.

Потому что грызла его деревенская темнота, а от нее куда ход, разве в могилу.

Отцы у нас нужные, конечно, кормильцы, над сохой терпеливы. Мы же их не любили. Пока мал, ругня да побои. От трудной жизни не только дитяти малому — родной жене зубы, как волк, покажет.

Мне, помню, тятя пряник принес, так я до того как бы удивился, даже радоваться забыл.

Отец на фабричку, деньги в кабак, домой редко ездил. Мать от него бесперечь рожала и всю крестьянскую муку несла.

Отец у меня нехорош был, на руку неудачлив, из матери младенца выколотил, просто не доносила. Детей нас четверо, трое из-за него горбатеньких, из колысок пьяный швырял.

Отец птиц певчих до смерти любил. Его вся деревня в дурачках за это числила, не годился он в крестьянстве. Выйдет работать, заслышит птицу — все бросит, ловит. Как сумасшедший. А так до чего же хороший к ребятам был.

Моего отца за конокрадство убили свои, деревенские. Мал был, а помню: мать прибежала, кричит, воет, волосья рвет, по полу катается, аж пена со рта. Мы из избы — что такое? Вроде хода крестного. Поперед дугу на месте несут, бубенцами перезванивают, за дугой лошадь отца моего волочит. На шее у отца хомут, лица нет — чистое мясо. Кругом отца деревня вьется, бьет чем ни попадет, а он давно мертвый.

Отцы у нас в деревне суровые. Стружены, смучены и говорить-то с семьей не говорят. Придет в избу, молчки попитается и спать.

Мой отец хорошо грамотный, даже письма писал соседям. А тоже с семьей как немой. Ничего ему интересного с семьей не было. Все ему темны, все на шее.

У нас семья старым-старо да малым-мало. Семеро детей, да бабка, да дед. Один отец добытчик, одна мамка хлопотуха. Добыть же надо с великого хозяйства — с двух кур да двое шкур. Тут будешь суровый.

XXVII
МАТЬ

Жена обрыдла, полюбовницы — мразь, сестра — чужой товарищ. А вот мать одна только и есть у меня в женщинах.

«Ладно,— говорю,— о чем таком?» — «Я насчет единственного сына своего»,— говорит. А сама до того сдала, аж не плачет. Платье же гордое. Эта просила по-материнскому, как есть мать. Я бы внял, да некогда пришлось, ихние же и наседали.

Как что на ходу, так мы туда, и стесняем партикулярных людей. Раз вперлись мы до последней тесноты, и придави мы старушку одну до слез просто. Как вскинется тут на нас какая-то, как почнет нас корить да лаять,— чисто тебе маманя мальцев точит. И покорилися.

Готовила барынька на нас и так угодила — звали мы ее с собою стряпкой. Не пошла. «Сына,— говорит,— дожидаюсь». А сын ейный офицер в полной форме. Пускай ждет, с ожидки беды нам нету...

Сын ее белый был, она же ничего себе. А пришлось ее прогнать, чтобы другим соблазну не было. Однако без обиды прогнали.

«Берить,— говорит,— всё, не жалко. Прятала я добро, прятала-таила. Взяли ж,— говорит,— мое самое золото, сынка моего единого, так тканье беречь разве что на саван, не больно много».

Комнату снял, селится, вещей у него — ни вещички. Прописка строгая была, прописку старушка спрашивает, нету у него никакой прописки. Стоит старушка робкая,— вскинул он на нее глазами. «Какая,— говорит,— мне, мамаша, прописка,— смерть мне, а не прописываться». Затрусилась старушка, зажалела, кормила, поила, ховала его до поры. И теперь он ей помощь посылает, словно сын.

Приходит к ней сын на заре. Не нарадуется мать, кормит чем посмачней, вьется вкруг него, а тот, ровно суд какой, спрашивает: «Где Василь?» — «А кто же,— кажет мать,— его знает».— «А как же ты, мать, Василя в белые допустила?» А та ему: «Да разве ж я вас разными с Василем родила? Оба вы от моей крови красненькими родилися. А теперь не я вас перекрашивала».

А к вечеру и другой сокол в гнездо. Стрел брата, кровью весь налился. «Тикай,— говорит,— швидче, обязан я тебя вести до начальства». А тот ему: «Коли совести хватит, веди, ваша теперь сила». Тот бы и не повел кровного, да надошли в хату, увидели. Теперь про мать вспомни.

Матерям кругом сутки слез не хватает по нас тосковать. У них на дню раз сто за нас сердце перевернется: как ранены, как мучены, как убиты.

Матерей мы за то любим, что весь ты закорузлый даже, от крови, от всей этой войны, а она тебя как бы нежным еще дитятей помнит.

Мать меня все, бывало, «красавчик» да «красавчик». А что я кирпат-конопат — это уж мне девки разъяснили.

Матерей слушать — врага не вынести. То ей тебя жалко, чтоб не погиб ты. То ей врага жаль, что грех. То ей платичка жаль, что не в чем в тру́ну [1] лечь. Так не своюешь.

И вот я зашел домой. Мать обрадовалась, как бы навек я к ней. Сомлела даже. А прокинулась — мне прощаться пришлося, она и опять сомлела.

Как эти матери нас любят, удивление. Уж такой бывает сынок, за версту лошади жахаются,— и пьет-то, и вор-то, и матершинник, а мать вокруг него радуется, как солнце от того ей сына светит.

Приду в разум на часок — всё коло моей постели хлопочет. Кончился тиф, стал спрашивать, отчего такая у ней жалость была. «Оттого,— говорит,— что, может, и мой сынок во вражьем дому в тифу лежит, может, и его чужая мать годует».

Идем мы в оборванном виде через чужое место, я обросший и хромой до чего. Как кинется с улицы до меня маманя! И думать-то я про нее забыл, словно не от женщины, а от тепла родился.

Бабешка как будто в тифу при дороге, дитё у ней на грудях. Груди пустые, кровью запеклись. «Возьмить,— говорит,— хлопцы, дитё у меня. Отнесите до мамы, там она и там, идти вам по пути той». Ох и плакала она и рыдала! Взяли дитё у ней, приняли и к маме той пришли. Ну и дивилась старуха — красные армейцы внучка доставили.

Один у ней сынок в красных, другой в белых, а третий у какого-то Ангела есаулит. А сердце в ней, на три куска разорванное, живет.

---

[1] Т р у н а — гроб *(обл.)*.

Мне маменька запретила в бандиты идти. «Сором,— говорит,— нечистыми руками волю добывать». Сама и свела в Красную Армию. Да безвыгодно. Я бы ей из бандитов сколько бы добра понаносил.

Они меня людей стрелять учат, а мать одно твердит: «Не смей, сын, противу бедного народа воевать».

Она хорошая такая женщина, мать, была, ласковая. Бывало, все стерпит, бывало, отец суровый с ней как гром, а она молчит. Побьет — стиха поплачет. Зато нас, детей, в обиду не даст, бывало. Нацелился отец как-то меня вожжами, так она его в шею накостыляла, ей-богу.

У меня отец зверь чистый. А мать жалостливая была. Теперь же был я дома, так отца-то обмяли, робкий стал, а мать — так та сама меня назад послала: «Воюй до конца». Переменилися.

«Может, мне около тебя, маманя, встать-вкопаться?» — «Нет,— говорит,— сынок, не надобно, ты,— говорит,— с корней сорванный, тебя ветер несет, не устоишь. Летай вольнее, авось не мне, так людям легче будет».

Матери нам хороший товарищ бывают. Не скулит, ног не вяжет,— иди, лети, тебе по младости виднее, глаз зорче.

Три у ней сына было, три и убито. Пришла до ней весточка. Собралась она, да не в лавры, богов намаливать, а просто-таки в самую гущу военную. Стала раненых смотреть. И все, бывало, на своих сынов примеряет: этот кудряв — похож, этот черняв — похож, у этого на затылке чубок сходный. Все похожи, все сынки, всем тепла и желанна.

XXVIII
ДЕДЫ

Ему кудри солили солью да сединой,
Ему долю судили со всей землей едину.

Вели его каты,
Гладки да брюхаты,
Топили в болоте
При бедном народе.

Ты, Пугач, боброва борода,
Боброва борода, царева голова,
Царева голова, мужичья судьба,
Мужичья судьба, кнут да ды́ба.

Деды наши умны-умны, да не по-теперешнему. Были они большой силы, по ста годам зубы у них целые, а всего боялись. То господ, то Го́спода. Мы же хлипки-жидки, а нам запреты какие оставлены, почти и не знаю, разве что дисциплина.

Бога́ разные — вот дедова беда. Атаманы да разбойнички одни тогда от богов отказывались, вольно летали. Да и то все они, если до старости доживали, в монахи шли, души спасали.

А так разве до дела доведешь? Вот и сидели под барским задом.

В старину что́ хорошо было — порядок. Отец всему дому голова, никому думать не приходится, отец за всех один мозгами ворочает, только покоряйся. Потому и росли дураки, ни о чем не спорили, крепостные были.

Потому хорошо деды жизнь вспоминали, что молоды тогда были, всё вперенос. А небось в господскую кабалу назад бы не полезли, пусть попробуют их туда — они тоже покажут.

У дедов зад не свой был, крепостной, специально для барского удовольствия. Такой пороный зад разве семье указчик? Мужик сынишку строжит, а тот на отцов пороный зад глаз с насмешкой косит.

Барин управляющего в зубы, управляющий — старшину, старшина — стариков, старики — семейство. Вот те и хваленая старинная жизнь.

Наших дедов какой ни на есть плевок дворянский на любую издевку ставил, на собак выменивал, в газетах объявлял про такое, что «меняю я, мол, девку двадцати лет на собачье борзое гнездо».

Ох и жилось прежде дворянам: хочешь — живет Васька; хочешь — в Сибирь Ваську; хочешь — узду Ваське в рот. А ну-ка, кто за старое стоит?

Наша деревня лесная, так я в детстве своем слышал, будто деды наши золото в печах лили. От того будто все печи полопались. От тех дедов будто и фамилии Лопачевы. У нас в деревне почти все Лопачевы, и я.

И у нас, говорят, в деревне такие химики были — чуть не всю округу посжигали, даже хоромы господские. Думаю, что не в золоте у них дело стояло, а в господах.

И мне бабка сказывала, что у нас в старину золото лили, только не по избам, а по ямам угольным, в лесах.

И теперь еще такие золотопромышленники есть. Меня, как пошел я в наши войска, один старичок очень упрашивал ему побольше градусников понабрать. На ртути, что ли, они золото делают.

На зимнего Николу ярмарка, на ней пряников, гробов, валенок. Всего невпроворот. Старики вот торговались за гроба, вот выбирали. Ему посмеется кто, а он ответит: «До страшного суда лежать придется, это тебе не одни сутки». Им гроба́ крепкие нужны были. У нас наверху аж четыре гроба дожидается: материн, отцов, теткин да дедов. Деду скоро, думаю.

Уж если про такое речь зашла, признаюся: я домового видел. Сидел он в бане на полке, весь мохнатый, сивый, пыхтит как тесто. Глаз не видать, пару-жару — всего мало. Ан это мой родной дедушка.

Бабка сказывала, будто наша фамилия оттого Тьфуновы, что еще Грозный царь выгнал нашу семью из Новгорода, и стали в нашей семье, как про царя речь, сейчас «тьфу» говорить. Оттуда и Тьфуновы. Если бабушке верить, так я от прадедов революционер.

XXIX
БУДУЩЕЕ. СТРОЙКА

Давайте о самом найживом переговорим, что и как после этой войны строить будем.

А я вижу теперь деревню, как она будет: вот дома у всех светлые, хлеб весь через машину — с пахоты и до печи. Никто пупа не надрывает, все с удовольствием работают, все сыты, оттого ни пьянства, ни битья, ни ругани тяжелой. Дети румяные ходят.

А земля как? Одному черный кусок, а другому желтый песок? Надо на год все работы приостановить, землю переделить справедливо. Тогда будет деревня жить.

Может, и так: крестьяне все соединятся, сообща работа, сообща торговля. Что добудут, делить по заслугам.

Они тебе справедливость покажут, самую деревенскую. У них кто жрет, как корова, да кулак здоровый, тот все выгоды заполучит. Бедному шиш, да еще и в дармоеда произведут.

Тогда работать вместе, урожай в одно место ссыпать, денежки в общую кассу. По надобности снабжать. Машин побольше, скот хороший, молока вдоволь, все общее. Приучится крестьянин из-за куска горло не грызть. Человеком станет.

Ой и дурная голова! Чтоб баба чего не свое любила? Никогда. Она коросту свою больше чужого золота любит, а ты кассу общую захотел. Образованный.

Я, отвоевавши, чисто губернатором на своей деревне сяду, устраивать стану деревню по-новому. Привезу с собой хороших учителей, машин из экономии, коней и коров из помещичьих. Вино — помалу чтобы, драку и матерщину совсем запрещу.

Послушался сокол ужа — больно глотка хороша! Так и ты прогубернаторствуешь.

Меня, когда мирное рассказывают, аж с души рвет, так скушно.

А я утоплюсь после победы. Что я мирный делать стану? Ничего не умею, и все мне скушно.

Раздели ты нас на две части и пальчиком считай: этот годен на мирную жизнь, этот — нет. Так на десять полгодного найдешь. Все со скуки околеют без боев и разных военных занятий.

Говорят, слепые читать-писать могут, глухие могут слышать, немые — говорить. Для всех свой способ. Мы

своих новобранцев будем всему этому заранее обучать, чтоб не так страшились калечества, себя бы в жизни не теряли.

Мы, молоденькие, заботиться не умеем: хоть босый-нагий, абы до драки дорваться, врага выводить. Нас хоть половой корми — нам весело. Ну уж насчет будущей жизни, послевоенной, тут уж нет, тут уж всего нам мало, тут нам все тайны открывай.

А на кой деньги? Вон у Арефья денежки, а он дутый с недоеду, гроша от сердца не оторвет, жила лопнет. А у меня чисто, насквозь ничего, а я гуляю, а я веселюсь. Можно деньги уничтожить.

Кончим войну, для калек надо будет жизнь тоже устроить, не на гульбе исказились. По домам всех разберем.

Нет, мы для наших товарищей-инвалидов дворцы, может, устроим, а не по домам, на бабьи попреки.

Пни сожжешь, на горелой земле хлеба тугие. Новое, брат, не бойся, прорастет, увидишь.

Конца-краю не видать. Сегодня бандит, завтра белый, потом адмиралы-генералы какие-то. Как сыпь по телу, ползет и ползет. Порядка же хочется, остановки, тоскуется даже.

Когда победим, стану я в милиции служить. Буду с оружием в руках порядок ставить. Еще долго враг по куткам отлеживаться будет.

Если я еще молодой после этой войны буду, в милицию пойду служить. Совсем военная работа. Теперь каждый карманщик с обрезом ходит.

Как вспомню, сколько еще мест не отвоевано, сколько еще врагов не выбито, думаю — век войну не кончить. А до чего ж хочется устроенную страну нашу посмотреть.

Думаю, так надо устроить — землю наново переделить и перемерить. Отдать ее всю по крестьянам, фабрики раздать по рабочим, книги — по интеллигентам. А потом всем меняться, и добром, и занятиями.

Министр, одно слово... Да дай тебе землю в руки, так ты шерстью обрастешь, срам покрывать забудешь, куска в обмен не дашь. Что уж тут за книги, все голодом перемрут.

Сверху самых лучших революционеров; за ними самых лучших ученых и инженеров; за этими самых лучших крестьян и рабочих. А потом самых лучших женщин всяких родов оружия. Остальных же граждан из нашей новой России куда-нито в Азию выселить без насилья. В другую часть света.

Как ты избу строишь? Строишь сперва в земле, потом на земле, потом вверх, к солнцу. Так и у нас есть: сейчас мы еще в земле, готовимся; потом над землей строить станем и настроим до самого неба.

Золота в России горы. Всем иностранцам царь в аренду за сколько-то в год отдавал. Своих рук не доходило. Мы же ничего, к труду привычные, без арендаторов обойдемся.

А плугов-плугов будет! А серпов-серпов-молотилок будет! Невпроворот! Наши заводы теперь.

Когда на месте станем и врагов прогоним с земли, коней разведем самых хороших. Чтоб гору вез — не вспотел. Как у графа.

Строить хочешь, а разоряешь. Война, что уж тут. Не довоюешь — строить придется совьи гнезда да ястребиные, вражьи.

Наших гнезд жалеть не приходится. Птенцы вылетели, поджечь не жалко, хуже вороньего. Строиться нужно.

Когда враг отступает, я бы сейчас же все отнятое сосчитал, да в амбар, да под замок, да все сберечь на после мира, в раздел.

Здешние господские дачи хороши, даже ванная есть. Отчего же это крестьянин с дедовских времен хлева под семью ставит?

Никакая охрана нам леса не бережет. Самое разлюбезное дело — свалить, сломать, изгадить. А лес к весне на пару не вырастишь.

Лесник — шкура, он те сухого листа даром не даст. А за денежки заповедное вырубай. В леса образованных тоже надо будет ставить.

Себе всякий хозяин. И пригнать к месту, и чтоб не гнило, и не сыпалось, чтоб и светло, и тепло. А страну устроить — не с того места начинать. Тут найглавное — в людях разобраться.

Тот, кто строит, чтоб сам и планы делать умел, без инженера. Чтоб сам и плотник, и инженер.

Голова болит, так крепко теперь думаю о непривычном: как после войны будет, все ли по правилу. От думы этой боль, может, и от раны тоже.

Я, как в лесу пожил, особенно понял: богатое дело — лес. Беречь его надо. Велика ли наша куча была, четырнадцать парней, а на каждого можно по леску сгоревшему начесть. Кончим войну, учиться лесу надо.

То бы крышу покрыл, да нечем; то бы заборчик прислонил, да не к чему; то бы избу срубил, да не из чего. Все нечем, да не к чему, да не из чего, а строить очень хочется.

Бывало, на хорошее взгляну: хорошо, да чужое, хоть пропадом пропадай. Теперь же, если вижу разоренье, думаю: вот бы остановка нам, да поправить бы, да, может, это самое на мою долю придется.

Всего хуже мосты рвать. До того жаль, до того не по-хозяйски! Взорвать — минутка, а почини-ка, ну-тка. И мост не чужой, наш же, свойский.

Мостов мне особенно жалко, мосты не всякое дело строить — их уметь нужно, и всю жизнь они нам легчат. Даже во сне видится, что мост строю.

Мостов, мостов настроено! Через каждую колдобину за границей мост. А у нас речка в ладонь, проезду же нет. Кони хлюпнут, люди чахнут от зряшнего труда. А тут своя бы власть да денег всласть,— инженеров заставим, в каждом углу Петроград.

Мне самое теперь тяжкое — на разор глядеть. Сам стекла бьешь, сам дребезги считаешь. Купило-то притупило, да и где купишь. Свое ведь, жалко.

Смерть их не взяла! Мост-то какой был — высокий, широкий, крытый, с версту длиной, на цепях весь, до скончанья века стоят ему. И в небо дымом. Ей-богу заплакал бы...

Инженеров мы за границу не выпустим,— они мосты строят.

Вот смотрю я: из всех устройств, кого ни спроси, с кем ни заговори, все мосты особенно жалеют. А дома, бывало, слегу́ [1] жалко через топь перекинуть, всё спор, всё силком. А кони да силы гинут.

Я как увижу что порушенное — домину ли большую, фабрику ли, завод ли какой-нибудь,— за все душа болит, все за свое считаю, так бы сел да чинил.

Эти дьяволы наше добро переводят, жгут, жрут, иностранцам продают. Мне для них хлебной корки жаль, а как же я могу моста им сорванного простить?

Взрываешь мост, думка: остановимся — ой-ой как надобен мост будет. Свое добро наинужное из-за белоручек губим.

Мы мосты все, как есть, любим больше всего. То ли отступать не страшно, то ли по-хозяйски.

Страна не своя, она всеобщая, это не хатку уютить.

Я здесь стою, а доля моя, может, на том берегу, может, реки-потоки меж нас. Может, там и счастье, и наука, и семья хорошая, теплое солнышко. А мост — где он? Эх, мосты вы, мосточки! Их рушишь — сердце сушишь.

Жемчуги в России есть и всегда были. Шли на иконы наши жемчуги в старину. Так же для великой красоты — шли жемчуги на девичьи наряды. Теперь не знаю,

---

[1] Слега́ — длинная большая жердь *(обл.)*.

где все подевалось. Скоро Россию отобьем, жемчуги отымем,— покатят-зазвенят тогда наши жемчуги по девичьей белой груди крестьянской.

XXX
МЕЧТЫ

Только и свету во мне, что эта родная война насветила. Кабы да вот как за меня, за темного такого, разумная сила-власть мальцов моих двух обучила. Да не панской науке, а всему на пользу народную нашу.

Да что же это будет за такое, за ясное! Ведь же все теперь наше, до дворцов-палат царских и княжеских! Теперь себя бы только посдержать-постреножить! А то с разбегу, с размаху такое повредишь — век потом не поправить. А детям-внукам жить!

Чтобы ученых набрать, хоть бы из чужих стран. Хорошо, говорят, там выучивают. Да под строгим надзором велеть — на нас чтобы думали. А за то им великие деньги и удобства. Только верны ли будут, может, не к тому приучены.

Самые хорошие дома под детей, под сирот, под на нашей войне найглавное потерявших.

Дальше здоровые пусть строят. А что от прежних богатых и знатных, то все под науку отдать. Наука, она себя потом оправдает, на нее жалеть не приходится.

Я бы мечтал, войну окончив, у власти быть. Я справедливость в себе чую, а без этого качества плохая власть.

Только бы поучиться кой-чему после войны успеть. А так-то во мне сердце теплое и голова светлая.

До чего зазнался, замудровал. А ты вспомни: каков Ленин? Каков в нем характер? К тебе — кремень, а товарищу — папушник мяконький; себе ничего — народу последнее с себя отдаст; для себя ничего не ищет — для людей просто землю исходил, счастье людям искавши.

Раз все наше, а мы дела никому не доверим, мы посадим инженеров такие машины напридумывать, чтоб весь тяжкий труд на себя те машины взяли и слегчили бы рабочее житье.

Мечтается: будто скоро, совсем вскоре,— время, наше время. Никто другому, с кем ему по пути, не завидует. Грубость как дым истаяла. Даже бабы и те друг с другом не клочатся.

Эх бы время нашлось перебрать народ как по зернышку! Вот как семя перебирают, чтоб дурного в борозду не кинуть. Эх, кабы вот такую и власть нам, чтобы знать людям про эту власть все, до кровинки.

Страшновато, братцы, как-то. Вот все наше — земля, угодья, скотина, дворцы, казна денежная. А как не тех припустим к управлению?

Вот кабы как в сказке — на мизинчике колечко. Крутанул колечко вправо — волшебником стал. И землю насквозь видно тебе: где лежат камни-алмазы, где уголь — людская теплота, где золото — людская красота. Крутанул колечко влево — человека насквозь разглядишь. И никаких тогда бед людям, как день весенний все ясно: этот годен, этот гниль.

Что оно тебе такое, груша-дерево? Тряхни — груши сыпанут тысячами, одна другой смачнее. Разве нужных людей так ищут? Первое — человек не груша, а и груши дичками растут. И второе — червяка сгложешь в груше, не доглядевши.

Я мечтаю о чести, я мечтаю, что раз свой, раз одной судьбы, раз из труда человек с тобой рядом,— верь ему. В глаза погляди ему крепко и верь.

Теперь насчет землицы: как ее убрать, красавицу? Ведь твоя будет. Женку берешь, нарядов для ее красоты мечтаешь. А тут такая-то найпервейшая тебе зазноба — земелька!

У земли приставим образованных в работнички. Пусть холят ее, пусть и живут с ней, пусть и родит она, матушка, многое множество.

Я все по мирному делу скучаю. Не по нраву русскому война, нет, не по сердцу. А воюем мы так крепко всё за мирное же дело, за свое житье настоящее.

Собьем врага в море, под морской волной подержим его до смерти, отгребемся веселым веслом на родину,— строить, строить, да новое все. Не латать, не штопать, а всю мечту исполнить! Я-то знаю, чего хочу.

Я из плотников, к строению приучен, о нем, бывало, вся голова хлопочет. Тем дышал, от того семью питал, то и дальше делать буду. Хоть мое и малое умельство, а на всеобщем деле пригодится.

Считать я мастер, так вон Володечка-студент математиком меня кличет. Ничего, раз так — у меня такая мечта: есть его, Володины, слова про математику-науку, вот я ее и оседлаю. Способность к тому имею.

А что ты с этой наукой делать станешь для настоящей пользы бедному человеку? Езжай, брат, с беляками в заграничные государства, там счет вó как нужен, миллионы у них. А мы, с нашими капиталами, и на пальчиках досчитаемся.

Дурак ты, дурак! Не они, а мы в счете нуждаемся. Не они, а мы миллионщики. Да еще какие! Все наше, а государство наше без конца и без края, полно всех лучших богатств, да своих, не грабленых. Хозяева мы себе теперь, такие ли нам счетчики впору! А ты про заграницу.

Насчет учителей я мечтаю. Плохих не укажу, не знаю плохих. Вроде нас же изъезжены они жили, а учили хорошему, нужному нам. Вот их устроить бы в чести и в довольстве. О том часто думаю.

Не знаю, по какому это случаю, а только был он в царском дворце и в царских покоях. После победы какой-то, думается. И там нагляделся, как они много себе дозволяли, при такой нашей народной убогости-нищете прямо. И запало мне в думку: пусть наша власть как найлучше старается народ устроить. Пусть наша власть побалует народ чуток один. Исстрадался народ, светлого не знал. Пусть же узнает чуток. Вот, мечтаю.

Моя маманя у барыни спросила: и не жалко вам, сударыня, на шелках сидеть, по шелкам-коврам ногами шаркать? А та ей смеется: что ж, по-твоему, рогожу на одежду, о твердые досочки ножки тупить? Хоть не на всю жизнь, а годика на два надобно их нагишом поводить, чтоб очухались.

Мне теперь земли мало, меня, может, от гордости победы на Луну тянет!

Весь зачичеревел, а чистоту люблю, как дух вольный. По приказу потом народ к чистоте приучать будем.

Я все насчет лесу, я все насчет зеленого добра, веселого. Стоит деревнюшка — стыд-срам, голота, вонь, навоз, пылища да грязища, смотря по погоде. Ни деревца! А то бы чего лучше — деревья-кусты, яго-

ды-цветы — вволю! Вот на что приказ нужен. Мечтаю, что будет такой приказ.

Ты меня книге обучи, ты мне книгу дай! Смотрю, спрашиваю, в плечо торкаю. А? Кричу: что с тобой? Завяз в книге носом, весь свет потерял? «Не потерял я свет,— отвечает,— а нашел я свет в этой книге». Вот как бывает! Человек же тот свой до кровинки, верный воин первейшей храбрости. Насчет брехни же — никогда! Так что я книге обучиться мечтаю.

Беда война и радость тоже. И не та только радость, что врага глушим, а та еще, что свела нас эта война с наилучшими людьми. Где б я таких повидал без войны? Вроде как мечта моя.

Девичье занятье — мечта. Мужчина же делом до всего доводить должен, а не только в мыслях мечтать. Хорошее надумал — делай. Вот этакую мечту и я уважать стану.

Я рад, что холостой. Моя мечта такую девицу встретить, чтобы уже других и не примечать. Чтобы разом и жена, и полюбовница, и с мамашиной сердечной добротой, и сестрина чтобы в ней шутинка светилась. И как товарищ — совет и подмога! Вот моя мечта.

Моя же мечта — замученную свою женку-бабу в хорошей, новой жизни похолить.

Встретил я цыганочку, черненькую галочку, орлий глазок, соловьиный голосок. У ней тоже была мечта: брось ты, Степа, воевать, иди ко мне ночевать. Это к тому, что не о бабах разного сорта теперь мечтать надо.

Папашина песенка была: «Отцовский дом покинул я, травою зарастет, Фингалка верная моя залает у ворот».

Мальчонком я все, бывало, сижу-мечтаю: что такое там случилося, что ушел парень из дому, все покинул и Фингалку огорчил? А теперь вот знаю: война на них обвалилась.

Голова болит от мечтанья разного, непривычны мы к этому занятию. Связанными ходили по рукам и ногам, по сердечным мечтам связанные, чужие, не свои. Пока привыкнем, ты глупых мечтаний наших не суди.

Я мечтаю с самим Лениным поговорить. Во! Он, люди передавали, при разговоре дурака умным делает.

Станет Ленин со всяким говорить да всякого на ум наводить. А если ума в тебе нет, так на что он наводить-то тебя будет? Только сердце свое утомит. И не пустим мы тебя к Ленину, и не мечтай.

Еще чего мечтается — надобно электричества побольше. Чтобы и в деревне свет, чтобы люди друг дружку ясно видели, стыд вспомнили, чистоту полюбили.

Если государство все наше станет, должны мы белому всему свету примерную столицу показать. Ведь первая рабочая столица будет! Так пусть уж другие города наши пояса подтянут, потерпят до поры. А Москву пышно обрядить надо. Так я по политике мечтаю.

Мечтаю я такие университеты поставить, чтоб старость отгонять учили. А то что это, право? Чай, не прежнее время, чай, есть из-за чего житье свое жалеть. А тут — рраз! — и помер. Не согласен.

Как пять человек, чтобы шестой инженер. Мосты чтоб строил и дороги хорошие. Тогда рабочему люду, когда надо, когда охота придет, перевидаться легко было. Без болот, чащоб, глухомани безвыходной. Вот и вся моя мечта.

Леса — земле краса, а как с ними? Жгут-палят, рубят-режут, кто в лес, тот и по дрова! А людей миллионы, их небось баба по десятку в год рожает, а дерево сто лет растет, не плодится. Мечтаю о порядке в лесах — дело государственное.

У меня мечта — в небо летать. Наделали же мы самолетов самую малость, врагу на смех. Враг богат, у него много. А враг же жирный, ему бы в колясках разъезжать. Мы же легкие, некормные, задов к мягкому не прирастим. Нам-то и летать. После победы начнем самолеты сотнями строить. Увидишь.

В балке глубокой то ли ручей, то ли речка. Берега веселые, и густая зелень. Повыше перелесок с цветами, душистый такой воздух. Вся боль во мне прошла, оздоровел я. Тут вот и мечта моя: кончим войну, попрошусь всю страну нашу осмотреть, такие вот полезные и прекрасные места переметить. Доложу нашей власти, и будем посылать в эти места всех болящих трудовых людей. Докторов дадим, пищу и лекарства. Здоровей народ и берись опять за работу.

XXXI
ДРУЖБА

Мне так никогда весело не жилось, как на этой войне. Не всё же бои да болячки. И до чего ж хорошо, всего лучше — с товарищами дружить. А смех, а разговоры, за свое дело стоянье.

Как отвоююсь, сяду я книгу писать об одном-разодном деле: буду я дружков своих описывать. Всю их жизнь и до самой их военной смерти. Было у меня моих найдорогих дружков четверо: двое Вань, Степан один и последний — Вася Козлов; этого и вы все знали.

У нас товарищи-дружки только в малом возрасте бывали, и то сегодня ты с ним, а завтра над опенком

передеремся: чей опенок? Здесь же нашу дружбу только пуля рвет.

Я думаю про дружбу так: чтоб был человек перед тобой, как сокол, высоко, чтоб ты на него, как на ясный месяц, поглядывал, а не то что чаи-сахары.

Дружбу на чем видать? На голоде да на золоте. А что, я ему последний кусок пополам, а он от меня цепочку прячет.

Всем ты конопат, мне — Иван-царевич; всем ты рыжеват, мне — жар-птица — соколок. Тут ты над собакой тиранничал, ребята погнать тебя за характер собирались. Кто тебя не дал? Я же отговорил. Всё за то, что с одной мы деревеньки, что вместе пескариков лавливали.

Когда его взяли, чуть я не высох с тоски, хуже полюбовницы дружок засушил. Просто спать не в силах, просто вспомню, что, может, где мучат да заперли,— весь в дрожи стыну, а как подумаю — убит, так плачу даже.

Как вспомню наши разговоры, да как ни на часок не расставались, да как под звездами вместе смерти ждали, так так затоскую по нем, хоть иди да сам в лапы вражьи поддавайся, чтоб разлуку прочь.

Шел я к яме ночью, таился. Хорошо, что всех псов голод перевел. Дошел до ямы, яма дровами закидана натолсто. Раскидал сколько-то, тихо спрашиваю: «Васенька, тут ты?» — «Тут,— отвечает,— да только помочь себе не могу, руки-ноги перебиты». Как я такого вызволю? Всё ж отрыл я его, на плечи взвалил, несу, он стонет, я не лучше,— вот-вот свалюсь под ним. Святые угодники на нас лошадку чью-то навели. Я дружка кой-как через лошадку перевалил, скорей дело пошло.

Вышли мы с ним из больницы как цыпленки — ни мяса, ни грошей. Куда податься? «Есть,— говорит,— у меня кума, перебудем,— говорит,— у ней, пока обрастем». Шли-плелися плетью, до того с тифу хлипкие. Заахала над дружком кума, а меня гнать — не прокормимся. Как плюнет ей дружок мой между очи. «Не пустила,— кричит,— друга моего в беде, не видать тебе и меня!»

Связала она мне как бы кофточку такую, без рукавов. Для тепла. Я ей и пишу: вяжи, жена, дружку моему Васе кофточку подобную же, а то меня твоя кофточка и греть не станет.

У меня была сестра-близнятка. Померла она недавно от голоду. Я-то и не знал, да кровь моя помнила. Не мог я есть в тот день, а ни крохи,— и не бабьи ли то приметочки?

До того похожи были — в самое время трудное по одной бумаге проживали. Он по делу с бумагой, я на печи. Мне выходить, он спать заваливался. Вот и тут не расстаться нам.

Вижу: всё он до нее, а меня стережется. Думаю: неужто у друга женщину отлестит? По ней сердце мое скулит, а по дружку моему, по нем, того более. Решил я спросить его в очи самые. Тут и он до меня. «Пошли ты меня,— говорит,— от сих мест в другие».

У белых, думаю, дружбы настоящей не бывает. У них, думаю, только картишки там всякие вместе, куска же отдать жаль. Потому, думается, что привыкли они, что всего много, вот и жаль оторвать с непривычки.

Девятеро взято, один Константин. Не смотрим один на другого. И обидно мне, и жаль-то, и так бы и убил. Эх ты, дружок, думаю, на каком деле попался! Дошел я в ночь до ихней сараюшки. «Константин,— шепчу,—

не жить тебе завтрава дня, чего приказываешь?» — «Мне,— говорит,— приказывать нечего, а только горько мне хуже смерти при таких моих делах дружка встретить».

Связала нас судьба веревочкой. Детьми в козны играли, на одном кону баловались. Никогда один против другого. А тут встретил я дружка у белых, ефрейтором. Глянули друг на дружку и пошли по одной пути. Потерял дружок ефрейторов чин, а то бы вот-вот в генералы.

Стали мертвых от смраду закапывать. Своих порядком, белых грудками. Глянь, лежит меж врагов дружочек его кровный. Так он того дружка и схоронил меж своих, воровским способом. Мертвые не обидчивы, а живому ему куда веселей так-то.

Вот это зеркальце, вот эти ножнички — всё от Паши-дружка, убитого. Он усы вроде щеточки над губой подстригал, в зеркальце глядя. У меня усов нет, волосы такими ножничками не сострижешь, а в зеркальце глядеть некогда. Берегу же на память.

Я двоим наследник — вот какой я разбогатый! Один, Паша, велел мне перед своей смертью отца его разыскать. Вот и бумажка с адресом. А другой еще в прошлом году помер, велел мне его дочечку двухлетнюю разыскать, уютить. Отвоююсь, поеду наследства эти исполнять.

Проходим деревню, спрашиваю: «Ольховка?» Вот это так! Васина родная деревня оказалась! Побёг его мать разыскивать. Недалечко жила в большой бедности, в пустой хатенке. И до того старушечка Васиному дружку зарадовалась, что я ей поклон от Васеньки передал, а про смерть его не посмел сказать. Так и ушел с тем.

XXXII
К СВОИМ

Думал-думал, да времени не было, кинул я думку. Раз приказ, ни за что я не ответчик. Да вышло — всякое дело на вред. Сбёг я к большевикам. Босые-нагие, свои — не чужие.

Настрадано, навоевано, из рук в руки шваркано. Сбёг я перед боем к парням заводским. Эти, думаю, гнездом летают.

Мы-то сховали его, да было бы за что страх терпеть. Найдут — пропал весь дом и с потрохами. Вот мы и спрашиваем: «За что такое мы тебя беречь должны?» Он разъяснил. Точно, такого беречь стоило, не всякий.

Пришел он сумной. «Был,— говорит,— я в месте одном, слышал речи разумные, все ясно стало: уйду до своих». И ушел.

Как с красными стал в часть — тяжко, да не тем местом подымаешь, своя ноша не тянет.

У нас теперь через всякую трудность и ход, и терпение. Верный знак — за дело стоим.

Подошли к воротам — чисто тебе Брест-Литовский, аж смешно. Да как польют нас пулеметами — просто сердце во мне заиграло: ай да пролетарии! Накрылся я темнотою ночной да к ним. Так вот и до конца буду.

Меня и богам не переспорить, я твердо знаю. Скажут на том свете: «Что это ты, сукин сын, такую себе мороку устроил. На то тебе жизнь была дадена? А?» А я им: «Плохо, мол, братцы, учили. Народ переучил. Чего мне кровным моим теплом гаденышей высиживать? Я уж лучше своей кровью людям жизнь слегчу».

Загубил житья своего и чужого немало. Стал сумной и докучный. Все спрашивал: когда взойдет, что посеяли? А то, чтобы виноватыми счесть, не знал кого.

Изобидели нас коммунисты дочиста, зернышка не оставили. Все труды как корова языком. Только поставили меня в часть с офицерами, и, что ночь, я у них одну молитву слышал, на народ кнута до покорения. Сбёг я из добровольцев, поступил в бандиты. Да больно воля надоела, жду не дождуся: на перекрестке товарищей опять встретить.

Я вышел из дому в бандиты с хлопцами нашими. Все мы от одной обиды шли, адресу же нам не было. Сколько-то времени хорошо было в бандитах,— до воли привыкли, до всего притерпелись. Теперь из меня хорошего красноармейца получить возможно. Да и от воли устал я.

Я спешить не торопился из бандитов в мобилизации разные. А потом и выбор сделал, по своему роду и охоте.

Скажу правду — никто не поймет. Совру — никто верить не станет. А я делать буду — тогда все увидят.

Пройдут эти годы военные, на всем ходу остановимся, все поджилочки затрепещут-задрожат от остановки. Чем тогда живы будем? А эти вон знают.

Я на фронте слов всяких набрался до того — бабы шарахались! К чему в избе ни приложишь — не по мерке, на смех. А с гражданской войной пришлись эти слова по местам, вот как «хлеб» да «вода»,— и дурню и разумному одинаково слышатся.

С одним поход делали, другого прислали. Разумный, что вечер, нас собирает, как и что разъясняет. И к чему

всё идет. А по-моему, тот бы и разъяснял, кто поход с нами делал,— такому веры больше.

Козыряются, чепурятся, а огня в бороде не примечают. Ровно и не люди. Ушел я до своих.

Под пушки от одних ушел, под пушки до своего дела прибился.

Меня как посадили в штаб, так я и утек. На месте одном у одних людей разве ж теперь усидишь? Все ищешь, где лучше или бы к правде поближе.

Другой тоже очень хорошо говорил, только глаза в стеклах на солнце — сверк и сверк, ажно слепить стало, ажно слушать трудно. А так ничего, тоже про дело.

Я бы в театры не ходил, всё бы речи слушал. Эта наука скорая, самая походная. От войны не отрывает, а толк разъясняет. И подумать время дает.

Старая его старуха матушка и отец-старик в ссылку пошли. Брата его, близнеца, наиродпейшего, повесили. Потом и его сослали с женой молодой на самый Север, в снега-морозы, на голод. А его там дружки разыскали, на собаках увезли, да через море, да в теплые края. Грейся, силы набирайся. А оттуда к нам.

Этот еще и ту революцию делал, что после японской войны была. Он мастер насчет революций, знает, когда и как.

Он разве не знает, каково войну терпеть? Да было бы за что, а то за: во дворце не вовремя рыгнул, царица обиделась — война. Он после японской тоже народ поднимал. Да не до конца тогда вышло, не весь народ еще дело понимал. Были еще такие, что и царя уважали.

———

Мы тоже не зря воюем, хоть и не армия. Мы красным армиям большая помощь. Кончится война, награды за помощь получим и мы.

Вместо наградной ленты веревка на шею — вот наша награда. Поди-ка потом докажи, что красным помогал. Как вспомню я наши геройства, обидно станет. Ничем мы не виноваты, что в настоящее войско не попали. В наших местах его и не было.

Мы не за награды воюем — из ненависти.

Вот бы дома удивились, как я с евреями дружу! У нас про них такое думают — чуть ли не человечью кровь они пьют. Поглядели бы на здешних евреев — до чего ж нищи, до чего ж безо всего, до чего ж их тиранят!..

Чего про евреев-воинов молчите? Не было их-по-вашему? То-то. А Мотечка? Не вы же бабами подклохтывали, как замучил его враг? Не он в самые геройские разведки ходил, пулеметом орудовал, раны вам перевязывал, книжки вам читал? Не по нем в сердце пусто?

А что все евреи грамотные, ты это за что считаешь? За пустяк? Их тоже в школы не пускали, так они сами выучились. А то всё сказочки-прибасочки.

Он не колдун, он родной как бы, поэтому от него каждое слово в точку. Другой говорит-говорит, рожь с овсом мешает; крестьянину — что в шапку плевать, что такого слушать.

Человек нерусский к нам послан был, венгерец какой-то. По-нашему говорил, а свое дело вот как понимал. Ни за что врага не пропустит. Видно, что у нас, что у них враги-то одинаковые.

Революционеры в монастырь засели. Генерал на них все войска свои двинул. Старушки надеялись: хватит чудотворная икона революционеров молнией. Ан вышло наоборот: генерала нашего разбили, чудотворную в чулан, монастырь теперь им вроде сената или главный штаб как бы.

Сколько рек-лесов до Питера — беда. Дороги попорчены, поезда в гной разбиты, мы же и насильничали. А ведь как нам Питер нужен! Оттуда власть настоящая, там все эти приезжие вожди.

Вожди чтоб с высшим образованием, но чтоб роду простого.

Каждая прежде революция — смех, не настоящая. Шиш в кармане, не революция. Вся исподтишка. Мы же не боимся — с нами же весь почти народ, против нас одни чужие.

Тогда враг был всем снабженный, мы же — мыши тише, исподтишка чужую корочку грызли. Теперь же враг перелякан, мы же осмелелые. Мы концы увяжем теперь, из рук не выпустим.

В 1905-м войско против нас воевало, а теперь оно и есть мы.

Обуженку жена прислала: пока дошли, ктось-то мою обуженку на быстрых ногах увел. И я босый, и он босый, а может, оба обуемся, как людям легче сделаем.

У них головы не с нашею начинкой, для себя стараются. А я так и жизни за чужой судьбой не чаю.

Да, тяжела штука, а не жаль, пусть наша судьбинушка на ихний же счет идет, а людям легче станет.

———

Стал бы я из человека живой кус рвать, было бы для чего. А тут на все идешь. Первое — всем миром, а второе — для людей, чтоб легче стало.

Спроси ты меня, чего хочу, для чего мукой мучуся,— а ни шиша мне не надобно, пусть только людям лучше жить станет.

Все понял: конечно, не хочу в бандитах ходить. Враки, что все за одно дело встали: один с роду-племени чужой кровью румянел, другой сох и сох, а теперь полки разбойничьи пополнять — не согласен.

Мне нравится с красными ходить. Знаешь: не из-за своей шкуры воюешь. Впереди что — знаешь. Наука, образованье, запрещенье деньгам, и чтоб никто чужой силой не работал.

Наши люди вольно ходят, бедуют, воюют, а что-то не разберу. Встречу других людей — сидят, горюют, болячкам счет ведут, чичиревеют. Тоже непонятно. Есть ли люди, напрямик идущие, знающие, или нет таких?

Давай жребий кидать, кому настоящие красные части идти разыскивать невтерпеж.

Надо сперва хорошо разузнать, что это за регулярные красные войска. А то станут вроде нас: говорить — так песни, а дела — так песьи.

У меня и врага-то не было бы, кабы не люди. Стал бы я для себя такую тяготу нести.

Что там думать-гадать, как пройдут года мои молодые. В одно тягло головы мы завязили, одно тягло и вытянем.

Вытянешь голову из тягла, ан шея перетерта. А ты вот сейчас, пока цел, голову вытяни, тягло в дым да к друзьям-товарищам.

Как-то неприятно много думать, не при настоящем деле ходим мы. Вот определюсь в настоящие воинские части, стану смело обо всем раздумывать, не стыдно будет. А как в красные войска добраться, не знаю.

Неужели, не ободравшись догола, пролетарием не сделаешься? Неужели до последней бедности нужно дожить, чтоб понять, как и что?

Размотай-ка катушечку: был гол — был человек; стал богач — стал зверь лютый. Разве не так?

Выходит, что с детьми и внуками в нищете быть, а то не пролетарии? Я так не согласен.

Не пужайся, не шарахайся — не мерин. Всё наше будет, все будем сильны и богаты — и с детьми, и с внуками.

Я все часы сдал, когда из бандитов перешел. Я полюбил теперь в порядке власть ставить, жителей новой жизни учить.

Слушал я слова разные, не понимал. А с этой войной все понял. Слово-то чужое, да нашу боль кличет.

«Какой ты,— кричит,— коммунист, если ты снам веришь! И не смей ты,— кричит,— сны рассказывать!» А я ему на это: «Ты, товарищ, не очень командуй и не кричи. Мы все как бы равные теперь, в том только,— говорю,— неравные, что ты обучен, как и что, а я, может, еще из бандитов недавно. А снам я не верю, не баба; а что сны товарищам рассказываю, так так и

буду, не хуже я людей. Я коммунист какой? Только что за общее дело кровь лью; вот кончим войну, обучишь меня всему,— тогда и требуй».

Не все я пока понимаю, только вижу: все мы, как один, одного хотим. Вот верю, что надо, вот и мучуся-жду.

Первого спрашивает: коммунист? Так, говорит. Второго спрашивает об том же, и тот согласен, и третий такой же. Тут моя очередь, а я никакой коммунист; да чего-то, на тех поглядев, и я коммунистом себя сказал. И всё, как все, перенес.

А то еще какие-то дяди дурные за уголком тихесенько уговаривают нас большого гвалта не делать, образованье обещают. Над нами крыша в огне, а они нам самоварчики на стол.

Я вот тоже воевать все хотел, а потом ушел. Чего ушел, спрашиваешь? А того ушел, что прислали от бесцарского правительства к нам в ставку офицера, советовать, что ли. И вот глянул я на него, и вот оказался он тот самый, что Сашу, брата моего, розгами приказал выдрать и всем в зубы давал, заподряд. Ну, думаю, если уж в ставку такого дали, так по простым местам и того хуже. И ушел.

В том особая жаль, что воины из регулярных частей из-за таких вот присланных в бандиты подаются. Знатье бы, кто таких посылает и за чем там в Питере наши люди смотрят.

Я в партию не попал по особым обстоятельствам. Вот-вот я партийный был, часок один и остался. Как влюбился я в неподходящую. Влюбился я, завертелся. Сегодня она тут, и я тут; завтра она там, и я там. А где эти самые тут да там, и не гляжу. Партийный свое твердое место должен знать, меня ж за ейной юбкой будто вихрем кидало.

Такой из тебя партийный, как из меня корова тельная. Кому ты нужен, если в тебе такой характер, что ты из-за девки мысли меняешь? Вот на таких-то и Ирод свою вредную ловушку строил.

Вот уж истинно, что дикая дивизия. Все кони — жеребцы, все люди — звери. И что же ты, братец, скажешь, придумали ведь, как с ними обойтись. Будто бы у Ленина ученичок молоденький. Так взял он, ученичок этот, на дикой их родине ребят ихних, одной с ними крови и веры. Взял он ребят, научил их всеобщей правде и повел к родне, в эту самую дикую дивизию, к отцам-дядьям. Ребята сейчас всё объяснили, куда и на что гонят эту их дикую дивизию, и кого им бить приказывают. Ну, дикая-дикая, а не дураки ж они. Тоже трудовую горесть знали. Сейчас вся дикость с них спала, как туман росой. «Не согласны,— заявили,— на такие дела». И ушли по домам.

Есть же такие удачливые — сразу к месту попали, к самым большевикам, и порядку обучились, и как честь сберегать. Мы же вот не приложим к разуму — сразу к атаману-односельцу в банду встали. Как пошли с ним, так и шли, просто говоря, погромничали над безоружными. А ушел я стыда такого ради, надежду такую имея подходящую — честную воинскую часть встретить. Не пришлось, места наши не такие. И попал я из ухи да в ушицу! Сижу в зеленых, кормимся одним чистым грабежом. Уж я и веру потерял, есть ли где полки эти самые — красные, регулярные и хорошего поведения.

Нас звали, научить обещали всему, как с другим народом волю добивать. Так нет, видишь, нам своей, особой воли захотелось. Вот теперь и корми вшей на чужую выгоду.

Людей скопы и скопы, и все говорят про нас, про бедноту, про крестьянство и солдатство. Доходчивей же всех большевики, смелые они. У иных язык не повернется на многие слова, а эти скажут про такое, что весь

шкварчишь даже, как сало на огне, до того от их речей в понятие входишь.

Я у этих таращанцев[1] ходил до раны своей. Отчаянные, но справедливые и на командирский приказ не обидчивые. А отчего такое? А оттого такое, что командир у них хорош и по уму, и по учености, и по удали. Они вкруг него, как пчелы вкруг матки,— тронь!

Думаю, в поисках своих перешагнул я ненароком лишку верст пятьдесят. Разве ж я сюда шел? Разве ж я вас искал? Шел я, искал я командира одного, особенного. Из рабочих будто и с большим образованием. Сила у него над своими людьми от особого уважения.

Родом он из фабричного села, фамилии не помню. Только помню, что за его крепкой и широкой рукой всей бедноте защита. А у вас?

Сам молодой, а слушаются его хлопцы, как отца. И что выдумали? Будто чахнет он от болезни. Так они все ему молока льют. А он ни в чем от людей различия не принимает, что в одежде, что в провианте. Борода у него, у молоденького, так нет-нет, смотришь, и парни кой-какие себе бороды отращивают. Смех.

Мне Семен Михайлович[2] усы отращивать велел, к Столпнику Симеону. Говорит: мне усатый воин ко дню ангела самый найлучший подарок.

Шахтеры хороши, эти не бандиты. Воюют как зверь, к рукам же ихним ничего не липнет.

---

[1] Таращанцы — бойцы украинского советского Таращанского полка (от названия поселка — теперь города — Тараща в Киевской области).

[2] Буденный.

Любил я своего молоденького командира красного ну как невесту просто. А оттого не с ним, что рана меня свалила. Он же как ветер вольный, где уж мне его теперь догнать? Вот и путаюсь тут с вами, ненастоящими.

У вас там одни кадеты, а нас тут сверх тех кадетов больше ста банд волками кружит. Вот тут и сообрази. Пусть у вас орел, так уж мы пусть хоть соколы. На общую пользу вороны не воюют.

Мой отец и волгарь и волжанин. Это означает, что родом с Волги-реки и на Волге ж работал. Плоты купцу гонял. Так когда брали меня на ту войну, не велел мне отец на той войне много геройствовать. «Эх,— говорит,— не успел я тебя уму-разуму обучить, чтобы твердо ты знал, за что и жизни лишиться не жаль». Ну, теперь-то и сам я вижу, только вроде еще как бы сквозь туман.

Уходит этот красивый и молодой слесарь луганский из наших мест в дальние, на Волгу. И поднимаются за ним все народы с наших мест: жены, дети, бабушки, старики — все за ним. И хоть тяжко это на войско легло, а и хорошо это. Как бы верит весь народ тому молодому слесарю.

Так, скажешь, и пошел он на дурницу? Не той мерой меряешь, брат. Все было сговорено до самой точки: откуда народ поднять, куда народ тот вести, кому на подмогу, где сама встреча ожидается. И как в пути врага крушить. И до нас засылали бесперечь подходящих людей, и мы в ответ от себя засылали. Этот, брат, слесарь все обговорил, на тысячу верст отметил. Кроме вот, что семейства за нами увязались. А и в том польза — не бросать же кровных на белую кадетскую совесть.

Это был поход, скажу я тебе! Вот Дон лежит с берегами вровень. Вот мост на этом самом местечке быть

должен. Но нет моста, нет и перевоза, хоть вплавь с волами и ребятишками. Так голову потерял, думаешь? И как? А так, что все тут пришлися к делу, даже и бабы с ребятами, и старые старики. Как уж, откуда уж, а лесу раздобыли, по дровишку просто натаскали, а мост поставили и Дон перешагнули. А там и на Волгу. Обнялись с товарищами, с которыми и людьми пересылались, и стали они вместе на Волге крепкой крепостью.

Что ж видим? Бумаги невпроворот пишут, дел же не делают. А и делают — так на вражью выгоду, кольца-портсигары, паспорточки-доверенности для кадетских прихвостней, вроде пропусков. Оружье из-под полы врагам продают. Такое уж, видно, место, такой уж, видно, порядок был. Всё в щепы разнесли на свежий дух. Вот так только и победы бывают — за зорким глазом, за сторожким сердцем, за крепкой рукой.

Рабочий как из избы ушел: «Хозяйничайте,— говорит,— без меня, я ни к чему не привыкаю». И ушел на горькую жизнь. Разве ж крестьянин так может? Да он, крестьянин, с кем говорил? Да про что он, крестьянин, спрашивал? Да от кого он, крестьянин, про дело слышал? Все придомовое, избяное, не всеобщее.

Встретил я дядька из Таращи. Борода седая косой брита, ножницы не берут, и сам уж подстарковатый. Говорит, потому в таком он возрасте воюет, что Боженко у них очень хорош, командир ихний. И тоже уж в летах. Все он, Боженко, сердце при своих людях держит, на жизнь, на смерть. Идут за ним, с любовью такой даже.

Фамилий я всех не знаю, но знаю, что все они люди большой пользы для нас. Скажет такой — каждый ему теплом отзовется. Уж скажет такой, так по тому слову и поступает. Настоящие люди.

XXXIII
РАБОЧИЕ

Они в цеху, что колос при цепу, зерно сыплют.

Эти боевые, самые военные, бесперечь воевали: в цеху с мастерами; за воротами с полицией; дома с семьей голодной; эти наученные.

Шахтер все в темне, все в подземном кутке, никому не видать. И революцию делал, никому не показывал.

Фабричные с вечера в кустах залегли, конвой перебили, товарищей отбили, в шахте передержали. Теперь все вместе воюют.

За него весь завод встал. Побои и голод ему не страшны, сызмальства привычен. Все перенесешь с удовольствием, если знаешь: на каждый твой вздох да тысяча «ох», тут и смерть не настоящая.

Не люблю заводских. Все они мудруют, все ему несознательные. А мы не хуже его сознательные, врага знаем, воевать не отказываемся. Только у нас порядки не заводские, послабей.

Ты ему про найглавное — про боль, про жрать нечего, а он, вместо чтоб в соху с тобой впрягтись, бунтовать учит.

А правы фабричные были. Как спину ни гни, дуги из нее не выделать. Горб, и никакой выгоды. Бунт-то полезней оказался.

Фабричных у нас не видать. Они свои отряды пополняют, они больше по правилам воюют, им грабить не приказано.

Здесь фабричных не видать, они больше на настоящих фронтах воюют. А кто около своего заводу дивизии формируют, свой завод пуще глаз берегут.

Им земля на после смерти нужна, им станок — товарищ, их травка не веселит.

Я рабочих не люблю: одна помеха нашему брату, вольнице. У него, как у воробья, все чужое, беречь не привыкли, не в свои дела лезут. Ломятся, свои порядки заводят, воле ходу не дают.

С отцов на этой фабрике из них кровь точили, а они эту фабрику лучше пашни любят, пуще глаза берегут. Чудаки!

Дед пройдисвит, отец ракло [1], сын на фабрике жестко жизни обучен. Он нужного часа не проспит, ему гудок соловей.

Мы мальцами одно слышим от дедов да бабок — то страх, то срам. А у них родители, почитай, пятилеток на караул ставили, революцию от жандарма стеречи.

У меня сестра за шахтером была, чистая мученица. Дрожит за мужа: чтоб в земле не погиб; родить ей негде; жить в землянке; жрать не хватает; начальники матершинят; по ночам революция; кругом полиция звенит.

Я только денек на фабрике побыл — обгрохотался до полной дурости, весь свинцом налился, руки-ноги невпопад.

---

[1] Ракло́ — босяк (*обл.*).

Меня на рождество мать к отцу в Иваново возила. Я там с ребятишками,— по морозу под фабрику заберемся, шпульками играть. Через дырья влезем — играем, над нами в потолке тоже дыра на дыре светится. А тот потолок отцам нашим пол, так они работают в эдаки-то морозы. Их одна хозяйская забота и грела, видать.

Меня отец почему в печники отдал? Печь у нас в избе прохожий печник перекладывал, так отцу больно дорого показалось — не по работе. Он и решил, что будет сынку легкий хлеб. И стал ходить я весь в глине, скребком глушенный, почти не кормленный.

Связали нас одной веревкой и за местечко на расстрел. Вести нас мимо завода, а у нас не одни бандиты — и заводские ребята есть. Боятся нас днем вести — отобьют рабочие. Мы же ждем, мы же на заводских в надежде. Хоть и ночью повели, хоть копыта тряпьем замотали, а отбили-таки нас товарищи. Эти — как никто.

Вели нас ночью казаки и копыта коням обмотали, чтоб фабричных не разбудить. Ан те спать-то на нашем пути легли. Отбили нас.

Храбры казаки, храбры, а поробчей рабочего. Тот безоружный почти, а при случае большого шуму наделать может.

Не любят станишники в заводской слободке стоять. Даст казак кому в зубы — весь завод на казака навалится.

Конечно, сам про себя знаешь, что не избалуешься. А про некоторых думаешь так: дорвется до барского положения, непременно на наши шеи огрузнет.

———

Я свою кузнецовскую работу, ажно снится, люблю. Я при хорошей новой жизни только что в ванну буду после кузни каждодневно лазить да есть сыто. А в работе себя не стесню.

Я свое кузнецовское дело страх люблю. Тяжелое, а другое занятие не так нравится. Никто кузнецовского ремесла на другое не сменяет. Думаю, в громе и красивом огне сила.

Дух до чего тяжелый, вздохнуть просто до груди не дает, как угар, аж гудит. А рабочие ходят как бы в ельнике, только что белые с желтизной.

У него жена к мастеру в экономки ушла. А у них мастер — враг, первый хозяйский пес, с рабочего последние порточки рвет. Двойная ему боль.

Как подходит к поручику пожилой рабочий. Поручик за конвойного, конвойный за нагайку, нагайка по рабочему, рабочий в землю. А знал ли кто, с чем таким рабочий подошел? Может, за прикуркой.

У них сходка тайная — полиции известно. У них бумажки под семью замками — полиции известно. У них приезжий в мышином углу речи говорит — и это известно. Забрано, погублено, что такое? Раз дверь отец невпопад распахнул — да сынишке в лоб. Слово за слово — сынишке восемь лет, людей за писальные перышки полиции продавал. А чем он винен, а кто ответит! Ответили уж...

У него сам-пfive, мал мала меньше, а он, сукин сын, за что забастовку делает? Работать, видишь ли, ему лишний час неохота, восемь часов ему, и никаких...

Уж до того ты дурак, говорить с тобой не к чему. До десяти не сочтешь, а о забастовках судишь. Заба-

стовку понять нужно, забастовка дело особенное, разве в семье тут сила? Мы-то разве теперь о семье много заботимся? Та ж война.

Фабричные — те особые люди. Всё молчат, всё друг с дружкой; что душа, что шкура — всё насквозь дубленое, с нашим братом, кроме как про палянички [1], ни о чем не разговаривают.

Разве наша бедность с фабричной в сравнение? У нас нет-нет да отколупнешь кусок. Летом ягода, гриб, рыба бывает. У них же — хоть гайку соси, до того ничего нет, одни машины масло пьют.

Наша баба жила худо, фабричная того хуже. У ней муж в калечестве или на каторге, хозяйства никакого, а ни бабьей радости — курицы одной. Вместо всей скотинки ребят кволых полон дом.

Сам я владимирский. С деда вся семья фабричная. Дед на старой Гарелинской фабрике в Иваново-Вознесенском работал. Я потомственный фабричный был бы, да неспособен. Меня к дяде крестьянствовать отдали, а я через все страны да сюда.

Давай старую фабричную запою, от деда выучился. Теперь песни другие, потому что жизнь другая, умней жизнь стала, с жизнью и песня поумнела, трезвая ходит.

У меня брат фабричный. Сперва деньги семье посылал. Потом испортился, на каторгу за политику пошел. Если жив, воюет где-нито.

Попробуй ты забастуй, если у тебя всего много, у соседа же корки не видать. Забастуй вот за соседову

---

[1] Паляни́ця — пшеничный хлеб (*укр.*).

неудачу. Да ни в жизнь! У нас, в крестьянстве, и правила такого нет. А рабочий, он по-другому. Теперь вот по-другому-то и нужно.

Да чего нам про богов разных в уши надули, ажно рвет, как попа вижу.

В наших местах рабочие не воюют. Верно, фабрики свои от врагов берегут, здесь же фабрик нет.

Ажно смех. Рабочие у нас все забратые вещи поотнимали. «Не хорошо, мол, товарищи, это народное достояние». Тю! А я не народ? Да еще и сам добывал.

У тебя как рабочий, так чисто тебе бессребреник, а как крестьянин, так чисто тебе вор. Мы иначе выучены думать. У нас, бывало, как фабричные в деревню, так все дворы на запор, воровства боялись.

Я фабрики не люблю. Охота своим горбом чужую мошну набивать!

Из меня рабочего не вышло. Меня было в типографию, а я памяти ни к чему не имел. Послали к родне крестьянствовать. Попастушил я — и сюда.

Мастер одного в зубы — они все за ворота. На последний голод шли за товарища.

Я от пушек не глохну, а на фабрике в сутки глухой стану.

Из-за тебя фабрик пушками не сменим, нет. Нам не твоя глухость важна, глупость твоя важней.

Сперва на березах нам воззвание налепили, к себе звали, порядкам подчиняться, население не обижать. Потом отряд из нас хотели собрать. А мы не шли. Тогда нас рабочие из тех мест выжили, как бы облаву на лес сделали. Не любят нас рабочие.

От рабочих депутаты нас к себе звали. Многие пошли, и я тоже. Только недолго я у них побыл, разгуляться не дают. Пить пьют, а как гулять там, баб лапать или шуму-грому, не терпят такого. Я ушел.

Я подамся на север, к заводским. А то рабоче-крестьянская, а где они, рабочие?

Мы тут как-то на фабрике неработающей кой-чего железа на починку взяли. Так отняли рабочие. Как осы. До чего они свою муру эту заводскую любят — удивительно. Хоть бы жизнь у них там хорошая была, а то ведь гибель одна.

Нас рабочие спрятали. «Хоть вы,— говорят,— почти что бандиты, а здорово белых бьете». Понравились мы рабочим.

Я семь месяцев в бандитах воевал, а рабочих почти не видал. Им леса да овины не жилье, у них своего ни шиша, все общее, за все порука. А бандит: свое — чужое, а все — мое.

Хорошо тебе говорить «вперед да вперед»! Тебе впереди с товарищами господские заводы на выработку запускать, а нам полей-пашен перепорченных на фабрике не выработать.

Молоденький фабричный стоит, не смотрит. «Кто тебе бумажку дал?» Молчит. Били, били, всего перебили, в яму бросили гнить.

Что же ты думаешь: как рабочий, так у него живот и хлеба не просит? Что ж ты думаешь: как рабочий, так только словами и жив? Рабочему где же взять,— под фабричной трубой грибы-ягоды не зреют. На крышах же поездных с мешками насажались, на голод, всему на пагубу. Как моль в шубе. Кто их насажал, скажи, рабочие?

Хуже не было, чем в нашей части. Ни снаряда, ни амуниции, ни одежды, ни пищи, ни стыда, ни совести. И что ж отвечают, чему ж учат? Отвечают и учат, что потому всего такая отчаянная нехватка, что рабочие работают спрохвала и недолгое совсем время. Цены же заломили за работу неслыханные, жрут и пьют там, и жиреют, а армия в беде! Почесали мы затылки,— не идти же своих фабричных воевать. Послали делегацию, и я с ней поехал в Питер на заводы, попугать лодырей. А там же, господи! Живые скелеты, и дети тоже. Обман черный такой.

Битый, мученый, всему обученный — вот он, фабричный. У него страх в пеленках оставлен, ему только бы свою власть постановить.

Рабочий грамотный, шахтер же дикий, но уж зато каленый. Он теперь на полном ходу; в его местах не то что кадетам или бандитам, а и нашему брату, зеленому, не уютится.

Мы было в леса, а заводские нас переняли. «Идите,— говорят,— к нам, мы вас поставим за дело воевать».

Думаю, из лесов к углю податься, фабричных поискать. Толку как-то больше.

Я к рабочим не тянусь, мне у них учиться времени нет. Мне бы войну свою окончить победно, до земли дорваться, всю крестьянскую науку пройти.

Кому земля свет застит, тот в могиле, тому, кроме дома, никто не родня. А заводской землю с себя еще мальчонкой стряхнул, ему видней.

Очень мне хочется человеком зажить. Я грамотный, книги заведу, музыку. В квартире работать не стану, чтоб грязь не наносить.

Работа, брат, не грязь; работа, брат, страну кормит.

А работа в квартире пылит-сорит-мочит. Не работа грязнит, а мы в доме тоже не свиньи же будем, а жители.

От работы не откажусь, я другому не выучен. А жизнь мне новую подавай.

Сердечко рабочее
До воли охочее.

XXXIV
ЛЕНИН

Он из бедной семьи, отец деревенский был учитель. Всю семью царь разогнал по каторгам-ссылкам, брата его, близнятку, повесил за политику. Его самого просто тебе в диких тайгах томили сколько-то лет. Теперь он в Питере, оттуда все его слушают — за правду, за то, что свой он.

Небольшого росточку, лысоватый, нос самый наш, слова совсем простые. Глаза же у него огонь и всё видят. И насмешничает над врагами, и насмешничает...

Говорят, кто его, Ленина, разочек послушает — просто не может в бандитах. Просто настоящую жизнь понимает и не может такого несчастья людям. Просто новый станет.

У Ленина, говорят, товарищи хорошие есть, да молодые еще. Кто ж постарше, так те больше по книгам толкутся. Ленин же и книгу знает, а обучался больше по людям. Вот оттого и польза его великая.

У Ленина есть помощники хорошие во всем, как и он. Ленин — им, они — парням, парни — парнишкам,— оттого и порядок у нас будет. А то разве ж одному Ленину управиться, хоть бы какой он умный был? Без народа-то как же?

Разве ж одного Ленина на всю нашу народную долю хватит? Помощники у него есть, дружки хорошие, ученики. Кто воюет за нас с врагами, а кто придумывает, как бы так повернуть дело, чтоб после нашей победы опять нам врага на шею не посадить.

Москва, Москва! А вот такое дело было, что не стало провианта в Москве, голод последний. Ленин и тот не чаще одного куска хлеба в сутки себе позволял. Из Москвы каплют и каплют на Дон люди к генералам. Кто по шпорам скучает, кто на белый хлеб потянулся, кто свои прежние удовольствия вспомнил. Москва. Стоит она, Москва, голодная, ажно белокамень у ней слезы точит. И чуть — что такое? Через всех врагов, через все реки-горы — хлеб! Прибыл хлеб в Москву! Да где ж тот хлеб уродился, да где ж тот хлеб всколосился, где зерно дал? Да что же это за люди сквозь всего врага поезда те вели? Да кто же человек тот, что такое дело, да в такое время, в таких-то местах смастерил?

Ну оголодала наша Москва. Ну даже всплакнул по ней Ленин, людей жалеючи. А враг ближе и ближе, перерезал враг все стежки-дорожки-пути. Как вдруг на застылом вокзале звонки-свистки-голоса! Как вдруг из самых дальних, завражьих мест хлеб подкатил. Пошел хлеб по людям, пошла сила по жилам. Вытер и Ленин слезы платочком и сам поел кой-чего, вернулся к нему аппетит. Чай, не ты: как насел на краюху — за ушьми пищит.

———

Я теперь по закуткам нашим слоняюсь между боев. Фамилии записываю, в Питер собираюсь, проверю у самого Ленина, его ли это люди. Хотя, конечно, когда про землю говорят, чтобы всю нам, или про кончить войну,— тут ясное дело, от Ленина это. А сверх того что — проверить надо. Я потомственный крестьянин, наш брат все на ощупь берет, ни глазам, ни ушам не верит. Зерно-то, бывает, с виду — золото! А взвесил на ладони — пустотел! Проверить нужно.

Ишь ты, они небось самого Ленина слушали и вот прибегли нас учить. Я учиться не прочь, а почем я знаю, как они от того Ленина набрались? Один учится верно, другой дурак дураком. Нет, ты мне учителей с документами давай, вроде как бы от Ленина похвальный лист был.

Я хорошо настоящую его фамилию не знаю, как его отцовское прозвище, но слыхал от стариков солдатских, что ему в Питере жилье и пищу запретили давать, а главные разные на каторгу его. А скрывался он у чухонца в стогу. Не нравилось им, главным этим, что он войну с немцами не хвалит, народ жалея. «Уж,— говорит,— если война, так хоть на пользу, противу богатых». А в главных-то кто? Те ж богатые, вот и не нравится он им.

Созвал он наилучших своих товарищей, повестку показывает и говорит: «На суд меня вызывают. Решайте, идти мне на тот суд или не идти. Как вы решите, так и сделаю». А товарищи будто ему старую пословицу в ответ: «Не годится соловью у кота судиться». И спрятали его до поры.

А я с ним земляк, оба мы из Симбирска. Хочется мне, большое желанье есть похвалиться, что знакомцы мы с ним, однако по правде — так нет. Отец же того Володечку много раз видал, еще когда учился он. Походка, говорит, у него быстрая такая и спорая. Идет крепко так. Бывало, говорит, далеко вперед от тебя уйдет, а шагу не прибавит.

Была быль, да забылась, вот и вышла сказка. Разве ж не сказка, что жил человек-учитель и было у него двое сыновей. Учились эти сыновья лучше всяких ученых, медали да листы похвальные. Не нарадуется на сынов учитель. И вот, ночкой одной снится ему такой сон: будто вещая птица Диво спрашивает его с высокого дуба человечьим голосом: «Чего бы ты, отец, для своих сынов хотел?» — «Славы»,— отвечает учитель. «Так быть же по твоему хотенью. Помни и жди: будет слава старшему мученическая, будет слава младшему всемирная да людское счастье». Так и вышло. Старшего сына, брат он нашему-то, за революцию повесили, память о нем высокая живет. Младший вот жив нам на спасенье. И жив, и славен. Как бы сказка? А ведь быль-матушка!

Как ему в родную землю попасть? Не пускают его ни короли, ни вельможи, ни военные разные власти. Чуют власти, что на вред он им, народу же на помощь. Бьется этот человек, как птичка в стекло,— не пробьет никак. А лететь ему вольно хочется на свою далекую родину. Он туда, он сюда — нет проезда! И видит он — русский солдат идет теми чужими землями, и идет в нашу сторону. «Куда ты?» — спрашивает. «Отпускной я, иду проведать родину и родню»,— отвечает солдат. «Ох, прошу тебя, возьми ты меня с собой и невидимо, и незнаемо! Если возьмешь, всей нашей земли жизнь облегчится!» Посмотрел на него солдат со вниманием: стоит перед ним невелик ростом человек и насквозь разумом светится, от добра, от ума лобастый, простой весь. Солдат же народ дошлый, при случае и наколдовать умеет. Дунул-плюнул солдат и подвез нужнейшего нам человека, прямо в Питер к Николаевскому вокзалу. А там уж его дружки встретили. Вот самая наиновая сказка.

Он в дремучем лесу выложил себе шалашик и стал жить. Ходу ему никуда не оставили, а дума в нем и решения разные. Тут же зима лютая, замело пути-дороги, как быть? И что же, братцы, за сказка за такая? Ведь звери ему по той сказке служили! Медведь в шалаш вроде печки лег, тепла от него полно. Волк от врагов сторожил — сторожкий зверь. Лиса будто ему

пищу добывала — она добытчица. А самым ранним утром, под седенький туман, к шалашику лосиха подойдет, встанет и не шелохнется, пока он ее теплого и полезного молока не насосется. Так вот и выжил он — со всеми ласковый, кроме наших врагов.

XXXV
МОСКВА

Эх, Москва моя, златоглавенькая! Кто ты, а? Царевна-королевна? Так нет! В нарядах, а простому человеку открытая. Купчиха ты, что ли? Куда там! Крупитчата, да не чваниста. Ученая ты волшебница или как? Так и тут не выходит: мудра-умна Москва да сердечная. И не царевна ты, королевна, и не купчиха ты, и не волшебница. Ты, Москва, девица-красавица — вот ты кто! Взглянешь на тебя — полюбишь; полюбишь — беречь станешь; отойдешь от тебя — сердце высушишь! Кто с Москвой, тот у Москвы в полюбовниках.

Москва! Жил я в ней с рождения и до этой немецкой войны. Учился в городском училище. Потом сапожничал, пил, охальничал. И только было я с нужными людьми встретился, толк понимать стал, как война. Взяли. Кой-как отвоевался и вот к вам. Но Москву — ох! — помню. Вот кончим здесь разных врагов, все московские в Москву вернутся, под ее сорок сороков. Да всех ее тысячу дураков переучим наново. А потом разукрасим свою Москву как игрушечку, всем Парижам на зависть!

Москва! Имя-то у нее какое — не глухое, звонкое, как благовест. А как ты ее поймешь? Чай, не деревня Малиновка, на восемь дворов да двое коров.

Вот говорят старики: Москва — сердце, Питер — голова. Мы же так думаем: то самое, за что воюешь, и не в городах вовсе, а во всех повсюдах. В том главное, какие в тебе самом сердце да голова. Если правильные, Москву с Питером отвоюешь. А нет в тебе

чести настоящей — так тебе ни сердце московское, ни распитерская голова ни в чем не помощь. Москву-то с Питером тоже ведь люди строили, не бог их делал.

Москва не пугливая, закаленная. Она и по улицам, бывало, воевала голыми рабочими руками. Только так дело стояло: у царя арсенал, у Москвы ткацкие станочки. Оттого и удачи не было. Теперь переместилось,— арсенал свой, гуляй, Москва, твое время.

Москва! И слово-то как бы близкая родня, как бы бабушка ласкова дитятей тебя колыскает, поползнем тебя остерегает, подросточку тебе сладкий пряник сует, взрослого тебя настоящей чести учит. На то и Москва.

Москва, скажу тебе, это не всякий городок! Рождена Москва в богатырские времена, всю нашу страну она своими людьми-богатырями осторожила и сохранила. От татар отбила, панов выгнала, французов заморозила и сожгла. И от чумы, есть такой рассказ, Москва Русь спасала. Это все в прежние, далекие годы. Так неужто Москва своему народу теперь помощи не даст? Царь-то хоть и в Питере был, а вот увидишь, что это Москва его сместила Это потом все узнается.

Я московский, сорок сороков, кобыла без подков, Хитровка, Петровка, пустая бадья. Московский я! Чем держусь, ни прежде не ведал, ни теперь не узнал. Думаю, только Москвой и держусь. Москва крепка, Москва сила, Москва сердцу мила.

Вот мечусь я, а метала не вижу. А что в Москву меня метнет — этого не минуть. Москва клей, на нее что ни лей, все прилепится. Московского человека на Москву первый попутный ветер нанесет, на это вся моя тоска-надежда.

У Москвы закоулочки-переулочки, тупички-старички, церковушки-старушки, на макушке ушки, соборы

да воры, жулья — как в ельне муравья! И спиртным шибает, ажно до самых Новодевичьих. А вот удивляюсь я при сем при этом, что не из Москвы воля, а из Питера. Такая наша Москва прокуратница.

А что Москва? Может, людей-то в ней тыщи, а человека с огнем не сыщешь. Москва, она тоже канарейка. Если б ей один головастый человек зерна не подсыпал, не было бы твоей Москвы, с голоду бы померла. Что тело без души, что город без настоящего человека. А ты — Москва!

Москва — голова, Москва — умница, Москва — привередница. Ей что царь, что пристав — все едино, ее не обманешь. Она нас, своих детей, дает и на дело посылает.

В Москве людей что на дубе желудей. И, как дубки, те люди крепкие, негниючие. Ты не смотри, что я тебе по пуп, зато ум во мне не глуп, московский.

До чего ж эти московские себя уважать велят! То ли смелы, то ли умны, то ли удачливы. То ли Москва по-особому своим деткам мать.

Часть восьмая

XXXVI
ВЫДАЛСЯ ТИХИЙ ВЕЧЕРОК

Вот выдался тихий вечерок, можно и про что хорошее послушать. Знаешь у нас окна какие? Не господские, солнце в них не помещается, разве что полсолнца. Но висит хата над рекой высоко, все в нее ловится, как на приманку. Тут тебе солнце, тут тебе речка блещет, тут тебе лес за речкой, тут тебе челночек промахнет Михеичев. И слух в окне кормится — вот тебе и дудочка-свиристелочка, и птицы поют, ветер посвистывает, река плещется, и лягушки тоже свое. Хата была такая ладная, родная хата была.

Мы эту Танюшку в лесу подобрали, да еще и не одну. Ей и теперь-то только восьмой годок, а на все насмотрелась. Выгнало ее сиротское бездомовье в лес, прикорнула она под елочку, а дело к ночи. И вот слышит она детский плач. Тут она свою храбрость и показала! Пришло, говорит, ей в голову бабье мнение, что это русалка на жалость заманивает. И вот же не побоялась девчурка, все же кинулась на голос и подобрала вот этого самого, видишь? Петюнька он, думаем, что годка ему три будет вскоре. Видишь, какой важный. Он у нас вроде наш комиссар: комиссар трубки, а Петюнька пальца из рота не выпускает. Мы при них и от слов кой-каких отвыкать стали. Учители наши, беспортошные.

Я хоть на ногах, он же почти без памяти, на моих руках. От обоих кровью несет, самый волкам аппетит. Батюшки! Волки! Гуськом идут несколько и встали невдалеке. «Ох,— шепчет,— брось ты меня и беги ты, сколько силы в тебе, ради бога святого, я ж все равно не жилец на свете». Не бывать такому! Положил я его на снег, винтовочку на его высокую грудь опер, выпалил, подбил. Отбрызнули волки на сколько-то сажен, на хвосты сели, ждут. Я еще раз пальнул, волки еще на сколько-то саженок, а опять на хвостах сидят, дожидаются. Тут счастье — переполох какой-то в лесу, волки, как туман, истаяли.

Смерти не боюсь, змей же боюсь хуже смерти. Не то что рукой тронуть — от одного взгляду у меня по всему телу крапивница, с детства так. И вот раз командира ощупью мне искать пришлось средь своих и вражьих убитых. Нашел-таки беспамятного от потери крови, а все ж живого и теплого. Стал я его сердце рукой слушать, а у него под рубахой змея! Что же я? Задохся или крапивка по мне? Да забыл я про все это, ужа вытащил здоровенного, да за хвост, да закинул его повыше облака. Командира увел, донес до места, и с тех пор мне что змей, что кот — все едино. Как страх найдешь, не знаешь и не знаешь, как страх потеряешь.

Был у меня друг, земляк, корешок, и была у друга собака. И пришли какие-то, сказали: «Дезертир», увели на откос, повесили. Дома жена, спеленыш и мать очень старая. Душу при родных отдать не дали, не пустили проводить. Собака же увязалась, выстрелили в нее, сапоги с него сняли и ушли. Тогда пришла жена, принесла дитя, привела старую мать. Дамку-собаку кликали не отозвалась. Соседи говорят: «Жаль, Дамки нет, любил ее хозяин». Пришли к повешенному, снят он врагами с веревочки, для удобства грабежа, и лежит он на сырой земле, а Дамка прижалась к нему, голову на его плечо положивши. И оба застылые.

Видал я, что жив он, хоть и перемучен, видал, как его в ямищу швырнули и камнями вход заложили, глиной щели замазали. Подыхай. Попросился я у них в сторожа к этому месту. Сказал, что округа наша красненькая, еще придут, ночью уведут. Я же будто из богатых мужиков, обиженный красными, не нравятся они мне. Наружность же моя к словам подходящая, и сытый не знай с чего, и так вообще. А им наплевать, абы самовары ставил, ручки их берег. Глупые они от набалованности. Ночью я для тишины ноготками камни выковырял, спиртику ему в рот влил, на руках вынес. Я без ноготков, он без зубок, до единого выбили. Ушли и вот пришли. Ногти мои отросли, зубы же ему вставим, когда войну кончим. Пока и без них обойдется — есть-то почти нечего.

Я кволый, в особую драку не лез, куда уж! Только разок такой вышел. Михайла, друга моего, искали — на муку, на казнь. Вот сидим в хате маминой без огня, в хату шасть двое ихних, архангелов. «Где такой-сякой?» А Михайло храпит на печи. Сижу за столом, руки-ноги пудами, язык зазря сохнет, а в голове так и ходит. А Михайло храпит, как небесная сила! «Ты кто такой и где такое Михайло, по прозванию Морока?» И хрясь меня в ухо, для начала. Глянул я на Михайлов валенок, что с печи повис, а Михайло храпит! «Что ж,— говорю,— берите меня, я Михайло Морока». Знать, и зайцы кусаются, как за друга вступаются.

Так вот и держали его под печью на нелегальном положении. С лопаты кормили, ну и все такое. И вдруг в хату эти! Меня дома не было. Жену бить, допрашивать,— не сказала, не выдала. Тот в подпечье услыхал женин плач, вылезать было стал, загремел там. «Что такое?» — спрашивают. «Поросенка к празднику кормим»,— жена говорит. Потащили Авдотью, всю измордовали. Тут я вернулся, он рассказал. «Из-за меня»,— плачет. «Не из-за тебя,— говорю,— за дело твое»,— говорю. Вот же, такое настоящее дело,— ведь еженощно меня жена за товарища пилила, что держу в доме,— а как пришел нужный час, не выдала, перетерпела.

Когда шли они через наше место, весточку в мою хату обо мне занесли. Облила их мать моя слезами, как родных обласкала и спать уложила. Ночью колотят в дверь, обыск. Мать на печь, все барахло на дружков навалила, сама сверху легла, кряхтит-стонет, как бы от тяжкой болезни. Отец отворяет, сам он суровый, сивый такой. Кто его, бывало, знает, чего такое думает. «Говори, старик, куда коммунистов спрятал. Говори зараз! Зараз скажешь — зараз и вольный будешь, ничего тебе не сделаем, товарищей заберем, а ты к бабе на печь. Ну?» А отец им: «Не нукайте, не мерин, чтобы вам верил, никого у меня нету, кроме бабы на печке, да под печкой баран с овечкой». Чудной старик! Повесили его. Вот она, наука наша.

Я не дурак вообще-то, а не мог я видеть, как повели их за семь верст. Там по всяким законам казнить их будут. Вот ведут, рядом унтер идет, полноватый такой, усатый. Под рукой у него бумаги казенные, без бумаг нельзя у них было на тот свет отсылать. Между стражи идут трое фабричных, лет по за сорок людям, чай, отцы-деды, кормильцы! Изморенны, иссинячены, идут молчат, по-мужскому судьбу принимают. Однако по сторонкам зыркают все ж, ждут чего-то, умирать-то все же не хочется. Мы стоим смотрим, я да брат. И совсем же мы чужие. И разом, ну как по команде, кинулись мы на конвойных, а их, кроме унтера, трое! У них оружие. У меня да у брата сила в руках была все же, этого не отнимешь. Я кувырк унтеру под ноги, он через меня,

я ему коленком на глотку, бумаги отнял. Гляжу: брат с фабричными конвой глушат. Вот мое начало. Озорные мы, что ли, оказались, или уж так время подошло правду отличить.

Прибился к нам в часть учителев сын, десятилетний мальчик. И слов наслушался, и отцовой тюрьмы не забыл. Словом, ушел из дому без корки единой, по дороге в перелеске к нам пристал. А у нас только что тачаночка отбита и полна вражьими снарядами. Мальчика к тачанке часовым приставили: что успели, разъяснили ему, как себя часовой соблюдать должен, сами же кто в бой, кто в разведку. Тут и лесникова хата, лесник ста лет хозяин, насквозь мохом пророс, да десятилеток на часах, снаряды вот как нужны. Ночь летняя поспешная, вот и свет, вот и враг, нас же нету. Мальчик выстрелил, они его прикладом, били, били и жгли даже — он как язык проглотил. Молча умер. Мы пришли, да поздно. Дед древний, видя эту смерть, в такой стыд вошел, заплакал. Плачет и говорит: «К чему,— говорит,— жить так долго, если вот десятилетний, а хорошо как помер!»

Ты не хвали, не подымай его выше головы за боевую удаль. Удалых меж нас леса-волоса. А вот с ним было такое в глухую, тяжелую осень. Шли они, таяся, все после тифа и шли между врагов. Он же всех слабей был и отстал. Отстал, в какую-то пещерочку-норку забрался — все равно идти не в силах. «Помру»,— думает. Лег он на сырую землю, руки протянул, батюшки! Банка с консервами! Еще банка, хлеба каравай, сыра головка! Разное. Кой-как хлебушка умял, малый кусок, продукты на слабые свои плечи взвалил и заспешил. И так всю ночь спешил, и догнал-таки где-то. И ведь ничем не попользовался, кроме как хлеба немножком. Этими продуктами да его непосильной удалью, что все донес он, и спасены все. И самое найглавное, чему почти и веры дать невозможно,— была меж продуктов спирту бутылка! Вот ты и рассуди, кто он какой и в чем его удаль.

Говорит: «Мы не доктора, все равно умрут дорогой, а я еще в деле пригожусь». И ушел, сукин сын!

А меня как цепью совесть держит. Те же оба в беспамятстве, оба ранены, один другого хуже. И за горой, слыхать, враги, вот-вот! Так такая дурость бабья! Сложил обоих на шинельку и поволок, сколько силы осталося. И если бы не ручеек, да тот бы сукин сын не ушел, доволок бы обоих живыми. А тут этот ручеек, захлебнулся один, зашелся, и кровь из рта, и помер. А другой от холодной водицы даже в силу вошел. Тут с горы враги стреляют, тут нас Аришенька встречает с бинтами-бантами. Меня тоже за ручейком подранили, от скуки. А догонять не стали, видят — полумертвые. А мы вот оба, и Аришенька с нами.

Брат под врагом, никак не сбросит — тяжел и крепок враг. Они лучше нашего жили. Нам грабить не к лицу было, белые же не стеснялись себя, всё, бывало, прижрут, припьют, припортят. Сильные были, дьяволы. Копошится брат, на поясе граната. Дорога жизнь молодая, да вражья смерть дороже! Не выдержал — хватил гранатой почем зря, и оба, по всем правилам, перед Господа предстали. Вот теперь и решайте на досуге, как с ними Господь рассудил, кому в рай, кому в пекло.

Вогнала меня в хату эту беда и рана. Хозяева тихо встретили, оба мертвые от тифа, и мальчик на лавке горел-догорал. И всё тут. Так я у них с недельку погостил без всякой еды, без всякой обиды, один квас плесневелый с тараканами. И возьми врага нелегкая,— из орудия по той хатке моей учиться стрелять стали. Что тут делать? Взял я хлопчика на плечи, выполз с ним кой-как. Тут по хате нашей перестали стрелять чужие, стали стрелять свои. Как музыка — такой от своей пушки звук хороший!

А я-то думал, на их поведение надеялся, товарищей на волю выпустить, как жаворонков на благовещенье. Ну такие распорядительные враги оказались! Ну не пьют, не спят, ну сторожат, да и только. Выбрал я все ж минуточку, за колодезь прилег в густые сумерки, до сарая заветного рукой подать. Тут солдат с ведром! Я в колодезь, неглубокий он был, на дно присел по шею,

бадью ему зачерпнул половчей, чтоб скорей ушел. Ушел этот, второй пришел, затем еще, служу им, служу, тут уж темно совсем. Я четвертого оглушил, в колодезь спустил, бадью прицепил там накрепко — и к сараю. Весь теку, как утопленник. Как я замок сбил, как пташек выпустил, не помню. Вот тот рыжий, вихрастый,— тот мой первый жаворонок оказался, его спроси.

Убили они моего любимого командира, где-то бросили. День тужу, а служу, два тужу, а служу, на третий день прошусь: «Отпустите меня Ивана Дмитрича честно земле предать».— «Где ж найдешь,— говорят,— округа вражья»,— говорят. Стращали, уговаривали. «Затоскую,— отвечаю,— какой из меня тогда большевик». Отпустили. Ну, ищейкой туда-сюда метался и нашел-таки его на сметнике, в большом позоре, голого, крысами изъеденного. Одни его кудри золотые знак мне подали. Унес я его, при лесном озере закопал и березыньку в головах у него посадил. Думаю, на свежем его, горячем его сердце большой ей рост, березыньке, будет.

У этих атаманов просто было: заметят что — смерть, не заметят — так хоть самого атамана в тачанку впрягай. Зашел я в тюрьму ихнюю, просто сказать — в нужник старый. Есть братан! Смотрим друг на дружку, даже смешно, как я на него кричать стал. Он слово за слово, крепче да крепче, так меня отматершил, всурьез, забылись мы. А кругом бандюги гогочут. «Веди,— кричат,— его за оскорбление личности и делай с ним что хочешь!» Чуть я в ножки им не поклонился! Повел и увел бы, да смех на него, на черта рыжего, напал, корчится весь от смеху. «Цыть!» — шепчу, а его хуже разбирает. Мы тогда бежать, они тогда стрелять, спасибо, из-за самогона метко не выстрелишь. Тут, на счастье, поезд какой-то пошкандыбал. Прицепились мы, а он, дьявол, все хохочет! С месяц я с ним, спасенным моим, после того не разговаривал!

Не мог он допустить, чтоб мамашу его старую, иструженную, всю за детками выплаканную, расстреливать стали. Спрятал ее за себя, она же выбивается.

«Пусти, сынок, пусть меня наперед». Держит он ее руками за спиной своей, к стене прижимает, мечтается ему, чтоб скорей его застрелили, не видать бы чтобы несчастья такого. Они же раз считают, два считают и говорят: «Уходи, мальчик, за третьим счетом и тебя застрелим, а так живи без мамаши сколько влезет, тебе ведь десяток годков, чай, не больше?» А было ему и вправду десять лет. Но он с места не сошел. А тут и закурилась пылью земля, тут войско в деревню вступило, взяли его, потом-то уж и к нам он пристал. Мамаша его жива и теперь.

Он сидел на горище всю ночь, к утру зашебаршили под стрехой воробьи, солнце встало. А он весь затек даже, как с вечера сел, так и просидел не шевеляся. Мужичий потолок таракан протолок, услышат. Нагнулся он тихонько, лист разворотил, в щелку видит: старуха древняя у печки хлопочет, однако чуткая старушка, на его поскреб в потолоку уставилась было. Ну, верно, на мышь согрешила,— подумала и опять в печь сунулась. А в избе беднота: стол, лавка да икона. Тут видит он: вынула старуха из печи мешок, взвалила на плечи, в дверь, и слышит он: лезет она с тем мешком на горище. Лежит он, сердцем замирает. А старуха мешок на горище подкинула, засовом горище задвинула да и ушла из избы. Воробышки скок-скок к мешку. Тут и он осмелел, до того мешка подтянулся, думает — пища. А развязал — вещи офицерские, даже и шпоры на сапогах, и всё в крови. Вроде как удостоверенье: После этого признался он старухе, кто да что, сберегла его тогда она.

Оступился, в большую яму попал. Осмотрелся — мешок, а в мешке офицерские вещи. Места же вокруг белые, значит, свой человек тому мешку хозяин. Сел и ждет. К ночи шасть в яму человек средних лет, засветил фонарик, увидал Степу, ахнул, фонарик из рук упустил, тьма. Степан и говорит ровным и не грубым голосом: «Мешок я осмотрел, подходящий, и ждал тебя, чтобы вывел ты меня из этих мест». Тот охриплым голосом спрашивает, не из Башиловки ли. «Оттуда».— «Пошли».— «А мешок?» — «Этот не для тебя, я тебе другой дам». Засветили фонарики, пищу нашарили и вместе на Башиловку подались. И паспортов не надо при эдаких случаях.

И так несем тяготу невмоготу, а тут нарывы по всему телу. Иссушили меня нарывы в край. Думал я, думал и решил беды товарищам не делать, бросить просился, оставить меня на пути,— не вышло. Сказали товарищи, что разуму я лишился — такое у товарищей просить, позорное. Вот и надумался я отстать ночью. Так чуть все не погубил. Места вражьи, тут бы вскачь через эти места, кабы кони, а они из-за меня, смердящего такого, плетьми плелись. А как хватились утром, что остался я, кругом розысками пошли и нашли. Грозятся: «Выпорем тебя за такую несознательность». А мне просто кортится облегчить им путь. Хоть помереть. Споткнулся, от слабости упал, подняли, на шинели понесли, а я глаз не открываю от стыда, что гиря я им в походе. Смеются. «Это он,— говорят,— мертвым прикидывается». Что ты с такими верными людьми сделаешь? Выходили меня и зовут с тех пор «покойничком». Ничего, я не обижаюсь.

Когда ноги он обморозил, мы его на тележке возить стали. Я сам и смастерил тележку такую, чтоб зимой и на полозья ставить. Вот он и говорит: «Если,— говорит,— вы мне ручной работы какой-нибудь не дадите, вот вам крест святой, удавлюсь при первом удобном случае, не устережете». С тех пор стирает на нас, обшивает, сапожки тачает, поварит, всему выучился. Стал нужный и веселый. Смеется. «Была,— говорит,— у меня одна пара рук, а теперь вон сколько!» И кивнет на нас.

Тиф по деревням видали мы, в отряде же у нас тифом не болели, пока сыты мы были. Тут оголодали, и первый свалился начальник. До города восемнадцать верст, и город весь белый. До красных мест несчитанные версты. Так его за собой возили и в боях с собой же держали, не шибко раненные около него и охраняли. На нем снег кипел, жар такой, памяти никакой в нем не было, страшная это болезнь. Бред же всю душу его нам выложил,— насквозь хороший оказался товарищ. И вот все румяный был от жару, и сила была в нем, и бушевал вроде. Вдруг просыпаемся, а он желтый и слабей цыпленка, в глазах же у него разум. Кончилась болезнь.

Повсюду бахчи, арбузы такие — не удержишься, а жара насквозь просушивает. Кругом же холера. Я и заболел, конечно. Потом товарищи говорили, что легкая у меня холера была. Попробовали бы сами, какова она легкая, эта холера, если я, здоровенный такой, вопил не хуже роженицы! Легкая холера! Скажут тоже.

У него полушубок, у меня шинелька. У него валенки, у меня барские полсапожки на шнурочках. А морозище индевелый, на нас двоих одинаковый. Сперва мы по очереди теплое одевали — так еще хуже. Только согреешься — опять во льду сердце стынет. Тут куренек, тут огонек. И решили: в теплой одежде одному идти, всё для другого раздобыть. И я остался, почти голый. Кругом лес, сугробы как гробы, по сугробам волки с ветром песни поют. Пищи нет. Выхода голому нет. И ругаю себя, что в валенках дружка отпустил, позырится [1] на валенки дотошный человек, из-за валенок жизни лишит товарища. Так вот бывают же чудеса и не на бабьи небеса! Вернулся Петя.

Я как-то так же вот, в валенках, шел-шел, гляжу — небольшой мальчик, сидит под сосной тихо. Кто да что? Остался один, родных атаман какой-то убил, его, в чем был он, из избы прогнали. Пошел с плачем в лес, ноги ознобил, не чувствует он ни боли, ни горя больше. Как полено, и душой и телом окостенел. Ребячья обувь не на мою нежную ножку, конечно, однако же сменку мы с Степой наладили неплохо. На нем отцовы опорки оказалися, эдакие лакированные. Красота! Отдал я валенки, не беспокойся. Да и делу тому скоро год. Степка-то учится теперь.

Их перед атамана поставили, тот и говорит: «Одного пришла мне охота из этого вот револьвера застрелить, другого же воля моя начальническая — отпустить на полную свободу. А так как я такой капризный рожден, то главное мое удовольствие в том будет, чтобы сами вы меж собой рассудили, кому на тот свет, кому на этот».

---

[1] З ы́ р и т ь — жадно глядеть; п о з ы́ р и т с я — позарится, прельстится чем-нибудь (*обл.*).

Иван же погорячей был да и силы непомерной. Как вырвется, как треснет атамана по темени кулаком: «Вот тебе и выбор ясный!»

Я с тем пришел, чтобы про его кончину его родне рассказать. Привечает меня его родня и особенно мать. Я же сказался — прохожий солдат. Спрашивает меня его мать: не встречал ли я ее сынка? «Он,— говорит,— мизинчик мой, выкормыш последний». Вот тут как скажешь? «Не встречал»,— говорю. Пусть греется материнское сердце в надежде, не к чему матери последние, может, дни такой правдой темнить.

Егор поздоровей был и очень спать был мастер — пушками не разбудить. А Тиша, его дружок сердечный, был весь легкий такой, даже как бы светился из-за глаз голубых и веселого его голоса. И тоже не хилый, а так, на все отзывчивый, и спал от этого легко. И слышит Тиша: вошли какие-то, тихо хозяев спрашивают, не у них ли на ночевке Зыбин Егор? «А кто его знает,— отвечают,— спят двое на горище, сами и смотрите, который Егор». Тиша — тише мыши к Егору за пазуху, бумаги его вытащил, свои ему сунул, Егор и не шевельнулся. И Тиша затих, будто спит. Пришли, Егора будили, будили — не разбудили, бумаги вынули, посмотрели — не тот. Тут и Тихон как бы сам проснулся, и оказался он Зыбиным Егором, и увели его. Когда Егор проснулся, да увидал Тихоновы бумаги, да услыхал, что Тихона увели,— разом людей сбил, кинулись, а и Тихона и разбойников этих уж и след простыл. Может, еще и найдется Тихон, только где да когда. А Егору до тех пор на сердце уголь.

Если ты немца не знаешь, так наперед тебе скажу: немец гуся не вынесет, сердцем на гуся займется, слюной изойдет до смерти, пока гуся этого не слопает. И при этом случае: в одних подштанниках немец на гуся набежал, сует хлопчику деньги, а глаз у немца с гуся не сходит. Но хлопчик объяснил, что гонит гуся начальнику немецкому в подарок. Тут и еще немцы выбегли, смотрят на гуся, смотрят друг на дружку, помешать же в этом случае не смеют. У них закон есть, обратный

нашему: у нас не показывай на товарища, хоть бы чего тот ни наделал; у них обратный закон — друг дружку по начальству доносить. Говорят: «Иди, мальчик». Привели хлопчика к коменданту, объяснили. Комендант голову задрал, брюхо выкатил. «Хороший мальчик, сколько плата?» — «Позвольте в лес сходить, мамке хвороста принести». Позволил комендант, убег мальчик в лес, повар гуся ловит. Баба мимо шла, гуся по голосу узнала. «Мой гусь!» — кричит. «Твой сынок нам подарил!» — «Да мне бог сынка не дал, только гуся дал!» — вопит баба. Кинулись немцы в лес — конечно, и следу не нашли. Сидит хлопчик в чащобе, в отцовском куреньке, оружие браткам чистит. Думаю, такому хлопцу в большом трактире служить, и то бы справился.

Он тыкву вырастил с бочку, а что с ней на войне делать? Ни меду, ни крупы, ни печи, ни горшка. Вроде осиного листа эта тыква сталась, козлу на закуску. Ей бы на выставку в Москву, кабы не война. Придумал все ж, вынес, чем надо начинил, подкатил поближе к немецкой хате, отбег недалеко, в огурцы залег, любуется. Как на счастье его, легковая машина с немецким начальником катит. Тыква же, как золото, на солце горит и велика недопустимо — удивительно. Тут начальник перчаточкой в плечо, плечо машину застопорило. Вышло начальство к тыкве, говорит: «Не хуже, чем у нас, в Германии. Берите ее осторожненько и в машину». Ну, осторожно-то и не вышло. Ни начальника, ни плечиков, ни тыквы — все дымом да громом ушло. И сам агроном до сей поры болеет, оконтузило его, любопытного. Дурнэ сало,— так близко залег, глухой ходит.

Все гляжу я на эту свинью, все гадаю: лопоуха и рыло короткое, будет на вкус как пасха свяченая. Ну, нравится мне свинья эта, как невеста. Да и не доели мы своей порции месяца за четыре, чистые скелеты ходим. И гуляет эта невеста моя ровно барыня замужняя — и вольно, и без присмотру. Однако хозяева ей немцы, мы же все под кустиками, в лесах зеленеем. Тут праздник наш, как бы табельный денек, нашего атамана именины, Володя он был. И решил я утешить дружков, лег у самого свиного закутка в густую крапиву, в сумерки тихонько подкопался, дощечки отвел,— она ничего, сопит. У меня

с собой берестянка с медом. Я берестянку свинье, свинья в берестянку рылом. Я берестянку на себя, свинья за берестянкой. Я в лес, за мной берестянка, за берестянкой свинья, моя невеста! В лесу навалился я на нее, замотал ей морду с берестянкой вместе, в мешок, и за плечи, и поволок! Ох и были у Володи нашего именины хороши!

И были мы все как бы один, все дружки и братики. А насквозь если, так так: Сема вороват, Константин на девок тороват; Вася стряпуха, да продуктов ни духу; Степан швец, Иван на дудке игрец. И один из всех, Леша, настоящий товарищ, хороший: он своего дружка на себе сколько верст проволок, сам раненный тяжело. Все бы такие были — врагов бы лучше били.

Какая-то вроде лазейка, люк такой в подвал. Была не была, все равно скрыться нужно, и выбирать не из чего. Прыгнул я — и ушел с головой в старую капусту, в бочку целую. По макушку! Склизь, вонь, кой-как выкарабкался, насквозь в рассоле. На мне же две раны да сто ранок, не считая там царапин всяких. Загорелося тело нестерпимо и болью, и зудом. Кинулся я на солому, стал кататься-вытираться и на холодное тело человечье натолкнулся. Какой-то тоской, сумованьем таким сердце мое зашлося. Пригляделся, а это — господи! — наш Сопрунов! Мы же его в бегах числили, думали, из-за тяжкой нашей жизни ушел куда-нито. Собрал я Сопрунова, в порядок смертный привел, руки ему сложил на груди, волосы ему расчесал. И стали мы с ним рядом часу нужного ждать.

Меня старушка в печку мыться послала, чугун воды горячей заготовила, старика своего рубаху чистую отдала и обмылочек даже, вроде брильянта дорогого. Влез я в печку, она заслонку заслонила. Ну, в раю я! И наг, в тепле, и мылом моюсь. Как выстрел, как заклохотала моя старушка, как и в хате грубый такой голос: «Давай что в печи, печь топится, значит, страва есть, живо!» — «Да то ж я чугун с водой кипячу, для баньки своей»,— старушка отвечает. Не верит. «Открывай и показывай!» — кричит. А старушка ему: «Да вы сами, ваше благородие, посмотрите, коли не верите». Он заслонку

прочь, морду в печь, шею загинает, присматривается. Тут я рраз его ногой в зубы, тут старушечка рраз его поленом по темени. Воин, а не бабушка! Я ее теперь все время в памяти держу. Победим, думаю, вскоре, тогда ее к себе жить возьму, мои-то бабушки обе давно померли, вот она мне за двух и будет родня.

Вдруг с перекрестка собака, боком, не по-собачьи как-то, а пена из пасти бежит просто, клоками падает, голова же у собаки этой у самой земли болтается и хвост провис мочалкой. Бешеная! А посреди улицы ребятишки играли. Выскочили за ними родные, кто куда потащил, кто в ворота, кто в дверь, кто на дерево. И одна белоголовенькая трехлеточка-девочка осталась, да еще на самом собачьем пути. От страху окаменела, что ли,— ну ни с места! Кричат ей со всех сторон: «Настька! Настька!» А Настька как приросла! А собака ближе-ближе, скоком-скоком, глаза мутные и кровью налились. Видит ли она, слышит ли она, а ближе к Настьке да ближе. И вдруг мальчик из чьей-то избы прыг, под самой собачьей пастью хвать девочку на руки — и назад в избу прыг! Дверь за собой захлопнул, и всё как следует! А где же взросшие-то? Где же, скажем, мать-отец? Что же это, скажем, из людей страх делает — одних волками, других как бы христами-спасителями?

Вся деревня высыпала глядеть, как его вешать будут. Я же на Грунином огороде в кабачках сладкой ночки дожидаюсь, залег, никому не виден. Но слышу — бегут люди, и я к плетню. Глянул — Егор! Весь в крови, на шее веревка, за веревку и ведут его, как овцу на убой. Стыд мне в голову ударил, я-то ведь к бабе под подол ловчуся! И стала у меня от стыда этого одна-разъединая думка. Я ж знаю за собой, что придумчив и не робею. Глянул я на его ноги — обе целы, остальное тело сильно попорчено, ноги же идут крепким шагом. На его этих ногах вся моя надежда дорогая! Перемахнул я через плетень, встал во весь свой росточек немалый да как гикнул диким голосом! Вся деревня на меня обернулась. Те стрелять, я бежать, вправо, влево кидаюсь, как заяц. Ни одна пуля меня не берет. И в лес! Они было за мной, да неудобно, что ли, им в лесу показалось, побежали назад в деревню, Егора довешивать. Они Егора не зна-

ли, я Егора знал. И пошел я тихим, покойным шагом в наш родной куренек. Вошел отдыхая, а Егор уж там сидит, и дружки ему трубочку раскуривают.

Горько девушкам пришлося. Мужики все в лес ушли, одни малолетние остались. А враг лезет к ним, а врагу всей силы не покажешь, врага наотмашь не отшибешь, как, бывало, нашего брата, одной что крови. Тут я ее на опушке встретил, тут она сама мне поплакалась. «Обещался враг,— говорит,— опять вечером прийти, гостинцев принести»,— и плачет. Я ей приказал за кустом свою одежду снять, кинул ей курточку да шинельку, кой-как в девку передягся, главное — мониста да ленты разные она сама на мне хорошо так навесила. Я же хоть и здоровенный, но личико у меня нежное, а ржать вам нечего по этому случаю. Оделся я и шмыгнул к ней в хатку, она же осталась у лесу. А уж темно. Тут и враг в хату. Я же под окошками монистами звеню. Он и спрашивает: «Что-то вы в темноте обретаетесь, на вашу красоту полного света не даете?» И полез ко мне. «Мне,— говорит,— в темноте-то еще сподручнее, обнимить меня покрепче, Марусенька». Вот я его и обнял крепко-накрепко.

«Один уговор— говорят хозяева,— как кто в хату,— сразу чтоб на горище». Вскоре шаги, я на горище и споткнулся обо что-то. Гроб сосновый, новый. Слышу: лезут, я в гроб и крышкой накрылся. Слышу: кто-то тоже об гроб споткнулся, чертыхнулся так тихонечко, и слышу, что это наш Иван Алексеевич! «Иван Алексеевич!» — шепчу. Он с переполоху спрашивает: «Кто? Что?» Я ему шепчу, а он гроб нащупал! Я ему еще разок: «Иван Алексеевич». А он, от загробного голоса, на гроб мой бух! Да всеми своими пудами крышку и придавил. Подышал я, подышал с минутку и задохся. Спасибо, хозяева скоро вспомнили, обоих нас отлили.

Надо ж, счастье мое разнесчастное, что прибрел я к родной хате, когда подожгли ее враги. У нас парадных дверей не водится, в какие войдешь, в те и уйдешь! У дверей же враг. Я поползнем за хату, стенку в клуне растолкал. Дым, жжет, тьма, огонь! «Мамо! — кричу.—

Это я, Гриць! Мамо,— кричу,— не видать мне вас, киньтесь,— кричу,— на мой голос на сыновний!» И припала мне мать моя на грудь, одна мне на свете самая желанная. Вынес я ее из нашей хаты через клеть, и рухнула за нами хата наша. Мы же спаслись. Я ее, мать мою, годую теперь, слепенькую, у докторши одной, тут же, невдалеке.

Я сам свою семью и отправлял, думал — счастье найдется. Жене своей, как прощались, говорил: «Разыщемся, не горошинки, вместе будем троих своих детей, Васю, Настю и Марусеньку, в люди выращивать, как войну кончим». Сам их в теплушку устраивал, уютил их. Тут враг, тут взорвали поезд. Нашел я потом один посталочек кожаный, будто Марусенькин, завязочка синяя. А может, и не Марусенькин, много там деток было.

А у нас по своим мертвым души болят. Ночью под большой опасностью вылезем и ворочаем трупы, ищем. Страшные они, есть, что совсем уж смертью исказались. Только у нас свои сердечные приметы были, на ощупь знали. У Степы мизинчик кривой, у Пети на коленке шишка, у Васи на лбу бородавочка. И всё на счету, каждая точка на примете. Найдем, унесем, схороним, и ему спокойно, и нам легко.

Сидит у телеграфного столба, дерюжкой с головой накрытый. Окликнули — молчит. А под дерюжкой как бы птица бьется. Что такое? Тихонечко прикладом подтолкнули — упал человек, дерюжка свалилась. Сербианин мертвый, лицо темное, как мощи, сухой, уж остылый. И, шею его хилую обхвативши, приникла к нему обезьянка, ростом с крысу, не больше. Приникла и на нас старым таким глазом смотрит, как бы в испуге, как бы плачет-тоскует. Стали ее брать — бьется, кусается! Это что за беда, да боязно ее, такую, к человеку приверженную, зашибить или примять. Ну, кой-как сделались все же, унесли с собой. И любили мы ее, и нежили, и ума в ней была палата. Но тосковала, кашлять стала зло и померла. Чуть не со слезами зарыли мы ее — до того она нам сердце грела.

Смотри и удивляйся! Не баба, а на груди что? Дитя грудное! И соска у дитяти во рту с черным, здоровым хлебцем, нежеваным! И дитя не пищит, во! Подобрали на дороге. Может, еще и сам выращу, если случай будет, остановка какая-нибудь. А то отдам знакомым людям, до поры.

Иду лесом, слышу ребячьи голоса. Гляжу: мальчик и девочка, вместе им годков восемь будет, за бугром приникли, роются в снегу чего-то. Я к ним, они носами в сугроб, затылки руками накрыли, молчат. Я хоть и не учитель и не мамка, а детей не обижаю. Только моя какая ласка? Огладил их все же кой-как, спрашиваю. «Отец,— говорят,— наш в этом сугробе убитый лежит. Повесили,— говорят,— его немцы, а он потом от ветру сорвался, потом на него этот сугроб намело. Нам же похоронить его хочется». Раскопал я им отцовский сугроб — ничегошеньки! Стоят ребята как зашибленные, глазам не верят. «Это,— я им говорю,— вот как вышло: верно, отец ваш не умер, а притворился. Полежал, полежал, встал и пошел. Идем-ка и вы, я вас из лесу выведу». Обрадовались, пошли со мной, за обе руки держатся, чисто как мои, бывало. Может, и правду им сказал, на счастье. Вышли мы из лесу, они свою деревнюшку увидали и туда. Кричат: «Прощай, дяденька!»

У нас как бы передышка в лесу случилась, как бы отдых. А рядом деревенька, обгорелая, опустелая. И на том конце в ней враг засел, а на этом, вблизи нашей опушки, половинка избы недожженной сиротеет. Так вот, веришь ли, до того я по мирной работе соскучился, до того руки мои по невоенному труду истосковались, что стал под опасностью большой ежевечерно ходить в ту избу, достраивать и в полный вид приводить. Крышу покрыл чем смог; стены где подрубил, где подставил; печку новую выложил; полы настлал, потолок накрыл. Чистое новоселье. А не пришлось мне там хозяев прежних дождаться. Вдруг да живы? Вот бы мне на ихнюю крестьянскую радость полюбоваться.

Идет девчоночка, у ней в руках туес с ягодой. Я отнял, все ягоды поел. Она стоит рядком, кулаком слезки

утирает, а молчит. Отдал я туеску ей и говорю: «Был я, дочка, голодный до последнего, нагнуться за ягодой трудно мне, слаб да и раненый я. Так уж не сердись ты на меня и не обижайся, может, и твой отец или брат там так же вот с войной этой голодом живы». И тогда сказала она мне тихим голосочком: «Отец да брат у меня оба воюют, а хочешь, дяденька, я тебе еще туес ягод насбираю?»

У них на допросе самая привычка была — до того домучить, чтобы брата родного, и с адресом даже, им в руки передать. Но только наш народ крепкий, а этот еще и партийный был. Хоть шкуру с него дери — не выдаст. Так вот, мучат они его, терзают, меня, связанного, на очереди держат. И вдруг, на муки его глядучи, встал у меня в душе всякий разум дыбом, ну, что называется, вожжа под хвост попала. Как завоплю я, не хуже бабы под чудотворной иконой: «Довольно, сволочи, дьяволы!» — и там еще слова. Кричу: «Я сам партийный, каленый, попробуйте, возьмитесь, может добьетесь чего, а то, гниды, на одного насели!» А какой я тогда партийный был? Я, и где эта самая партия помещалась, не очень знал.

Я и теперь-то не очень грамотный, был же я с младенчества на ученье лютый. Пряники не надо, книжку давай. Но не пускал меня отец учиться, бил даже за книжки. А я и не заметил, как читать выучился. Мать же моя великая наша заступница была, царство ей небесное, вечный покой. И вот слышу я как-то, говорит она ночью отцу: «Чего ты Сергею (это мне) свет застишь, учиться не пускаешь?» А отец ей: «Пусть,— говорит,— любое ремесло выбирает, какое только ему по душе, всякому ремеслу я первый потатчик, наше это кровное дело. А читать по наукам — это от своей крови отойти и на шею неграмотному сесть, вот так по теперешним всем делам выходит, и не перечь мне».

Я в сестрины дела не совался, я парень холостой, она первая на деревне красотка. И вот она поймай меня как-то за рукав, черным своим глазом на меня косится и говорит: «Братуха,— говорит,— а ведь меня Иван

Петрович сватать хочет, уж и приданое спрашивал». Иван же этот Петрович первый наш богач был, кулак такой удачливый, магазин на слободке у него был. «А мне что,— говорю,— я твоим очам не любитель, а брат, только и всего».— «А не обидно ли тебе, брат,— спрашивает она,— что у меня приданого кот да кошурка и мышь в печурке?» — «Нет,— отвечаю,— не я их тебе добывал, не мне их и стыдиться».— «А не хочешь ли ты, брат, этого самого Ивана Петровича кулаком между глаз нынче потчевать, когда он с наших посиделок пойдет? Очень он мою красу и гордость обидел». Это я захотел.

Лежит он наг, только на нем и осталось, что на груди икона да через лоб венчик. Одежду же всю его забрал кто-то. Ахнули мы, потом смотрим — в головах у него записка положена. «Идем мы,— написано,— живые, по острому морозу совсем почти голые. Мертвому же одежда ни к чему. Простите, христа ради. Мы же ему еще в головах и денежку положили, как положено,— на гроб да на саван». Денежка, точно, лежала.

Эй вы, реки,
Эй вы, горы,
Эй вы, чистые моря,
Мы прогнали добровольцев
В чужедальние края.

Безоружны,
Безобужны,
Безодежны,
Голодны,
Прогоняли вражье войско
Со земель своих родных.

Эй вы, реки,
Эй вы, горы,
Эй вы, чистые моря,
Как о нас
На всех языках
Запоют, заговорят.

Из автобиографии Софьи Захаровны Федорченко

Я родилась в Петербурге в 1888 г.[1], в семье инженера-технолога [2]. Первые годы жизни провела в глухой Владимирской деревне, в бедной крестьянской семье. Семи лет была взята отцом и начала учиться. С отцом я много путешествовала по России. Окончив гимназию и университет (не полностью), серьезно работала по фольклору. В 1914 г. ушла на фронт сестрой милосердия и пробыла там почти до Февральской революции. Написала свою первую книгу «Народ на войне». После Февральской революции сдала книгу и вернулась на фронт работать по помощи населению, пострадавшему от войны. Книга моя была хорошо принята, и с тех пор я стала профессиональным писателем. Я много печаталась, особенно после Октябрьской революции. С увлечением также я занималась и общественной работой; между прочим, была организатором и первым председателем Сектора детской литературы С⟨оюза⟩ п⟨исателей⟩. В 1928 г., после тяжелого переживания, я серьезно заболела и, даже вернувшись к работе, «на людях» почти не показывалась. Сперва, по инерции, меня печатали, потом перестали и вспоминать. А некоторые товарищи по профессии, прежде незаслуженно называвшие меня «классиком», так же незаслуженно стали называть «бракоделом», ссылаясь на те же «классические» работы. Тогда я усердно писала 3-й том «Народа на войне» — «Гражданскую войну». В начале 30-х годов, по настоянию А. М. Горького, я стала вплотную работать над этим

---

[1] С. З. Федорченко, по свидетельству ее мужа, Н. П. Ракицкого, родилась 19 сентября 1880 года. Она указывала обычно как год своего рождения 1888-й, вероятно не желая признаться, что она старше своего мужа, родившегося в 1888 году. В ЦГАЛИ (ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 120) находится паспорт С. З. Федорченко, выданный 18 июня 1918 года начальником Старокиевского района милиции города Киева. В графе «Время рождения или возраст» проставлено «33 лет», но вторая тройка явно исправлена из восьмерки. Это подтверждает, что год рождения писательницы — 1880-й.

[2] Инженер-технолог Захарий Анатольевич Гониондзкий, в семье которого воспитывалась С. З. Федорченко, был ее отчимом. Мать ее, артистка, певица, жила большею частью во Франции.

трудом моей литературной жизни. Тов. Горький высоко ценил эту книгу, называл ее «эпохальной» и предполагал выпустить ее полностью к 20-летию империалистической войны. Это не удалось, но работу я продолжала. Кроме того, после неудачи с этой книгой я начала работать над материалами для давно задуманного мной романа «Конец столетия», что делала с 34 г. до 40 г., когда я написала 1-й том. Его в 42 г. напечатала «Красная новь». Как и все мы в те годы, я чувствовала большой душевный подъем и тягу к работе ⟨...⟩. Во время войны я из Москвы не уезжала, ССП мне эвакуироваться не предложил. Да я бы все равно никуда не уехала, так как ни на секунду не верила в сдачу Москвы. Очень скоро нашу квартиру разбило, и мы 3 $^1/_2$ месяца жили в бомбоубежище. Там я писала поэму «Илья Муромец и миллион богатырей». Я писала ее на великом увлечении, и это совершенно перестраивало мою душевную жизнь, ничто не казалось трудным. Вернувшись в квартиру, я стала работать для ПУРа, где меня охотно печатали, частями напечатали в «Спутнике агитатора Красной Армии» моего «Илью Муромца», я написала тогда же сценарий, 2 пьесы, много солдатских сказок, продолжала поэму ⟨...⟩. Написала в 1950 году 2 рассказа, сказки для детей, работала над «Гражданской войной», над 2-м томом романа ⟨...⟩

С. Федорченко

20 мая 1952 г.

Отдел творческих кадров Союза писателей СССР.

Письма С. З. Федорченко

I

В президиум правления ССП

Уважаемые товарищи!

Много раз я собиралась написать вам письмо, вроде вот этого, что пишу сейчас. Да все думалось,— буду молчать и работать, как можно лучше. Может быть, тт. писатели все же помнят о моем существовании, поймут вопиющую несправедливость обращения со мной, поймут ту пользу, которую я все же принесла нашей

литературе и, может быть, могу еще принести. Может быть, вспомнят тт. писатели и о том, что с двадцать восьмого года, когда незаслуженно, оскорбительно, бессмысленно на меня обрушился Демьян Бедный [1], я не только ничем, никем и никогда не была поощрена и поддержана, но постепенно перестала быть и печатаемой. Причем труд всей моей жизни, моя капитальная работа, как все вы, может быть, помните, имевшая настоящее общественное значение, все три тома моего «Народ на войне», уже набранные в ГИЗе, так и не могли увидеть свет, несмотря даже на настояния покойного Алексея Максимовича.

Я ни о чем не просила. Но поддержка, поощрение товарищеское — это было мне нужно как воздух, как дыханье жизни. И я ни разу этого не получила.

Что же я делала все это время? Бедовала и работала. Всего, что я за это время написала, мне и не вспомнить и не подобрать. Довольно будет и того, что я расскажу о главном, сделанном мной только в течение нашей Отечественной войны. Я не уезжала из Москвы, обо мне не вспомнили, меня не звали, да я и не хотела и не имела возможности уехать. К тому же я ни на минуту не верила в то, что мы Москву отдадим. Квартиру нашу разбили, я жила в бомбоубежище и работала не покладая рук. Почти с первых дней войны, я начала писать свою поэму-сказку «Илья Муромец и миллион богатырей» о московском периоде войны нашей. Военная комиссия ССП послала сказку мою в ЦК. Там она лежала больше года. За это время ее частями печатал «Спутник агитатора Красной Армии». В те же дни мне позвонил из военной Комиссии ССП незнакомый мне майор, с которым меня соединила т. Полищук, и обрадовал, и удивил меня, рассказав, что он читал моего «Илью» по «Спутнику агитатора» перед боем и что после боя впечатление от моей вещи было отмечено в приказе по части.

В 44-м году вернулась из эвакуации В. В. Смирнова, критик и писательница. Она познакомилась с моей сказкой и сказала, что поэма прекрасна, что ее наверное ждет Сталинская премия, и предложила лично передать мою вещь в «Знамя». Там держали ее 9 месяцев, изредка сообщая мне, что вещь хороша, но что они никак не могут решить, что из нее печатать. Потом выяснилось,

[1] В статье «Мистификаторы и фальсификаторы — не литераторы».— «Известия», 1928, № 43, 19 февраля.

что кого-то из редакторов напугал сказочный образ т. Сталина.

25 июля 44 года, поздно вечером, мне позвонил из ЦК т. Еголин, сказал, что «Илья Муромец» получил в ЦК высочайшую оценку, что я могу выбрать любое издательство и любой журнал и вещь будет немедленно напечатана. Можете себе представить, как я, много лет не получавшая даже простого признания того, что я жива и работаю, как я взволновалась.

К тому же т. Еголин тогда сообщил мне, что ЦК посылал моего «Илью Муромца» на рецензию профессору И. Н. Розанову [1] и что от Розанова получен в ЦК на многих страницах восторженный отзыв. Кажется, все хорошо? На следующее уже утро мне позвонил т. Чагин (ГИХЛ в то время) и в любезнейших словах поторопил меня с рукописью. Я села за нее сама, печатала ночь и день в течение трех суток и сдала. Но от неожиданных, хотя и радостных волнений, от переутомления глаз и от недостаточного в то время питания со мной в ночь 20 июня произошел острый припадок глаукомы, от которого я потеряла один глаз и стала дрожать над другим.

Что же дальше? Дальше начались нестерпимые уклонения Чагина. Ему мешали то юбилеи, то перемены читающих редакторов, то множество хлопот и пр. и пр. Считая, что авторитет ЦК в издательстве велик, я не жаловалась т. Еголину, ожидая, что все должно пойти как нужно. Этого не было, и я наконец позвонила. Т. Еголин обещал воздействовать. И ничего!

Наконец, уже в 45 году мне опять-таки из ЦК позвонил тов. Агеев и спросил меня, не будет ли мне все равно, если меня напечатает не ГИХЛ, а «Сов. писатель», я сказала «пожалуйста» и просила его самого говорить с издательством, чтобы не ослепнуть окончательно. Т. Агеев согласился, и я поехала на операцию, сдав свои рукописи И. Н. Розанову, который, любя ее, обещал ей поддержку. И ничего! Вещь до сих пор не напечатана, говорят, кто-то назвал ее стилизацией...

Я твердо знаю, что совсем не те мотивы, которые, может быть, выставлялись против моей вещи и против решения ЦК об ней, не дали ей появиться на свет. Ведь надо же было суметь так опорочить или автора или его

---

[1] Розанов Иван Никанорович — литературовед, в 1940—1950-х годах возглавлял секцию фольклора СП СССР.

произведение, что ни двукратное напоминание ЦК, ни отзыв авторитетнейших специалистов не могли сделать для моего «Ильи» ничего, кроме оплаты. И за то спасибо!

Дальше. В 42 году прошел в «Красной нови» мой роман «Детство Семигорова», прошел чудом, думается — видимо, еще не все эвакуированные землячества появились на журнальном поприще. Работала я над материалом для этого романа свыше 7 лет! Должен он был на пространстве трех своих томов показать борьбу народа нашего в те времена за свои человеческие права, показать и героев декабризма, и раннее наше просвещенство, и зарождение разночинцев и интеллигенции нашей. Роман понравился. Казалось бы, надо его выпустить отдельной книжкой, дать писателю, зарабатывающему только литературой, возможность как-то жить и работать над следующими частями.

Что же происходит? Мне звонит из ССП заместитель секретаря ССП т. Скосырев, говорит о романе восторженно и сообщает, что роман будет обсуждаться на соискание Сталинской премии. И тут же я слышу от того же т. Скосырева, что хорошо бы, если бы о романе моем появилась статья. Несколько удивленно я сказала Скосыреву, что хотя я и смогла написать роман, но статью об этом романе я написать не смогу. [Статью о моем романе, очень ему понравившемся, предложил мне написать т. Кирпотин [1], но т. Кирпотин в то время не нравился т. Ковальчик [2], и она отвергла это предложение.]

Так и пошло. Отдельной книжкой роман нигде не был напечатан. И был даже случай, когда присутствовавший на моем чтении этого романа писатель говорил: «Вот, наконец-то, замечательно, давайте скорей роман в «Сов. писатель», я там рецензирую, имею значение». Я послала рукопись и через много времени получила ее обратно, причем не были стерты некоторые замечания моего дружественного рекомендателя! Это были замечания злопыхательные, беспочвенные, в неподходящих местах сделанные и явно рассчитанные на то, чтобы вещь была отвергнута без особого рассмотрения. Тогда, в первый раз в моей долгой писательской жизни, я столк-

[1] Кирпотин Валерий Яковлевич — литературовед.
[2] Ковальчик Евгения Ивановна — литературный критик, в то время заместитель редактора «Литературной газеты».

нулась лично с лицемерием товарища по профессии. Ну да что говорить! Уважаемая мною В. В. Смирнова, при встречах горячо меня хвалившая, на мой вопрос о том, почему она не напишет обо мне, что могло бы помочь мне вырваться из забвения, отвечала, что это ей никем не предлагалось и, значит, напечатано не будет...

Товарищи! Попробуйте забыть о пресловутой обойме, землячествах, протежированье. Роман мой — настоящий роман, язык в нем особый, идея в нем твердая, материал большой, и я должна его увидеть напечатанным.

За войну, кроме разных мелочей, фронтовых присказок, пословиц, загадок и др., я написала двадцать сказок о наших прежних и теперешних, советских солдатах. И ведь никто из вас, тт., наверное, не думает, что я могу написать о солдатах и войне дамскую, неверную, плохую по языку и фальшивую по сущности вещь. И все же мне вернули мои сказки из «Октября», голо вернули, не церемонясь, не сопроводив ни единым словом. И только в ответ на телефонный звонок сказали, что «это написано о старых солдатах».

Дальше. За это время, тоже после тщательной работы, я написала для детей веселую книгу о зверях, которую должен был издать Зоопарк и которую известный знаток детской книги, т. Шер, определяла как необычайную. Редактировала ее т. Смирнова, тоже известная и тоже высоко мою книгу оценившая. Книга не появилась, и в ЦК комсомола (от которого в то время напечатание этой книги зависело) т. Медведева, повертев в руках рукопись (кстати, с приложением замечательных иллюстраций Ватагина), изрекла: «Я против этого автора имею предубеждение». Интересно бы точно установить — за что? Ведь я еще могу исправиться!

Дальше. У меня есть в свое время собранные, а теперь, т. к. они очень характерны для народа, приведенные мною в надлежащий вид, сказки Закарпатской Украины. Две из них я послала в «Огонек», и говорят, там одну сказку набрали и быстро разобрали, видимо разыскав для журнала нечто недюжинное. Дальше. В 47 году исполнилось 10 лет ледового папанинского дрейфа. Для детей мной была написана книжка о псе Веселом, которая всем очень нравилась. Писатель Фрайерман лично передал ее в издательство, никакого ответа.

А ведь все это только часть моей работы за годы

войны. Когда я только подумаю о той массе сердечного, горячего и радостного труда, который я ухитрялась проделывать за эти долгие годы без малейшего поощрения, без малейшей товарищеской поддержки, в таких тяжелых, даже материально тяжелых условиях, а теперь еще и полуслепая,— я горжусь и своим призванием, и своей неожиданной крепостью. И я стыжусь за ваше холодное равнодушие к моей писательской работе. Горький, Блок и многие, многие другие большие и настоящие люди любили мою книгу, говорили и думали о том, что сделала книга эта для родной страны и литературы. Каждый из них хотел автору этой книги только хорошего! А в ССП менялись правления, секретари, президиумы, но жестокое отношение, равнодушие не менялось. Тот же т. Тихонов, знавший, вероятно, цену моей работы, поинтересовался ли он хоть раз судьбой ее автора? Не в этом дело! Быт налаживается на общих основаниях, и не в нем дело с писателем, которому нужна только справедливость, только возможность работать и жить на свой труд.

Получается, я тружусь без устали, в тоске и обиде стараюсь не потерять ни качества, ни идеи, и ко мне относятся как к назойливому и графоману, видимо. Както не очень давно я прочла в «Лит. газете» о том, что т. Замойскому (дай ему бог всего хорошего) устраивался, или устраивается, или должен устраиваться юбилей, чуть ли не в связи с 30-летием его «Лаптей» [1]. А вот совсем недавно т. Леонтьева написала статью о моем «Народе на войне» и понесла эту статью в «Лит. газету». Т. Ковальчик, робкая как лань, не отрицала того, что статья хорошая, но добавила: «Ведь книге уже 30 лет, давно...» Увы! Автор книги жив, автору около 60 лет, автор слепнет и считает себя вправе еще при жизни получить хоть какое-нибудь подтверждение того, что если труд его был настоящим, если он делал для своей страны все по мере своих сил и способностей, то какое-то признание, какое-то внимание к себе он вправе ожидать. Попробуйте, товарищи, «ознакомиться и восстановить» меня, так сказать. Вы все люди избалованные, а письмо мое далеко не по шерстке, но я его все-таки посылаю.

Вот так оканчивалось это письмо два месяца тому

---

[1] Замойский Петр Иванович (1896—1958) — автор произведений из крестьянской жизни. Наиболее значительное его произведение — роман «Лапти» (1929—1936).

назад. И когда за эти два месяца, среди постигших меня в это время тягот, я наталкивалась на это письмо, каждый раз мною овладевали колебания... Да стоит ли посылать, кто меня среди вас поймет, кто поддержит, как бы чего не вышло...

Но вот на днях появилось постановление ЦК о ленинградских журналах [1], и мне стало ясно, как многое в моей судьбе связано с бывшей практикой ССП. И я посылаю теперь это письмо.

По самой сущности моей писательской работы у меня не может быть вещей аполитичных, т. к. рожденная моя тема — наш народ, его судьбы, его борьба. Даже мой роман из времен 18-го столетия говорит о том же, о народе нашем и его борьбе, о Суворове, его сподвижниках и солдате русском. Мой «Илья Муромец и миллион богатырей» говорит о нашей Отечественной войне, о богатстве и героизме нашего народа и о его вожде.

Все, что я писала за много лет своей жизни, не было никогда ни низким по качеству, ни лишенным идей, ни аполитичным, ни несовременным, ни неискренним. Но приятелей, покровителей, протежирующих и обласканных мною писательских властителей я никогда не имела и не хотела иметь.

Все мы, товарищи, люди достаточно взрослые, чтобы самим знать, что плохо, что хорошо, что честно, что недостойно. Надо только не быть друг другу волками, как в случае со мной, а товарищами и гражданами. Надо не только говорить про заботу о человеке, но и действительно заботиться о нем, и не только о лично нужном, лично приятельствующем. Надо уж и по профессиональной линии больше считаться с писателем как с таковым, чем с писателем как соседом по даче или спутником по эвакуации.

Кстати, письмо мое пролежало два месяца неотправленным еще и потому, что муж мой эти два месяца болел крупозным воспалением легких и тифом. И — о забота о человеке! Никто из тт. писателей и не вспомнил о том, что мне надо бы оказать какую-нибудь помощь, ведь я была одна и полуслепа при этом. Я обошлась, конечно, но стыдно так относиться к товарищу по профессии, ничем этой профессии не замаравшему.

---

[1] Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года. В 1988 году решением Политбюро ЦК КПСС отменено как ошибочное.

Итак, моя большая работа во время войны, моя наступающая слепота заставляют меня, наконец, запротестовать. Мне надо дать право работать и жить, меня надо печатать. Кто смеет называть меня не писателем, а стилизатором, пусть заговорит громко. Все будет лучше незаслуженной, возмутительной судьбы человека небездарного, блюдущего свое человеческое достоинство и достоинство советского писателя, и этого вечного ощущения работы как бы впустую, как бы под подушкой, как бы даже под угрозой.

Конечно, я все-таки работаю. Конечно, талант, если он у меня есть, я от подобного к себе отношения не потеряю, для таланта значительно вредней условия заостренно противоположные. Но сколько унизительных, ненужных мучений, сколько даже просто нужды, когда я могла бы жить по-человечески, т. к. я работоспособна, несмотря ни на что.

Скажите, почему меня не печатают? Скажите, кто и что мешает мне жить и работать? И прошу вас помнить, что обычно затыкающий рты окрик о том, что «это, дескать, по личному вопросу», окрик этот на меня не подействует. Я ведь обращаюсь к вам впервые, и речь в моем письме идет о самом существовании человека и писателя, а это, конечно, не личное, а принципиальное дело.

Кроме президиума ССП, я направлю это письмо тт. Александрову [1] и Маленкову.

С товарищеским приветом

С. Федорченко

30 августа 1946 г.

ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 72.

2

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
тов. Ворошилову К. Е.

Я, писательница Федорченко Софья Захаровна, старый член ССП, мне 70 лет, полуслепая и не могу ходить. Но, несмотря на это, я все еще с радостью работаю. В 1956 и 1957 годах в издательстве «Советский писа-

[1] Александров Георгий Федорович — академик, был заведующим Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б).

тель» вышли два моих романа, третья книга должна выйти в 1959 году [1]. Наконец, я вздохнула свободней и сделала попытку вернуть жизнь основной моей работе, трем томам «Народа на войне» (об империалистической войне, керенщине и самом раннем, еще стихийном зачатке гражданской войны на Украине).

В свое время два первых тома издавались в разных советских издательствах неоднократно, третий же том не был напечатан, и до сих пор он в рукописи. Тов. Горький А. М. высоко ценил эту книгу, единственным живым свидетелем теперь является только тов. Н. Н. Накоряков, бывший директор Гослитиздата. Письмо тов. Накорякова ко мне, написанное им, когда он узнал, что я собираюсь предпринять хлопоты об очень им любимой моей книге, я прилагаю к этому своему письму.

Глубокоуважаемый Климентий Ефремович, вот эти-то мои хлопоты о «Народе на войне» и заставили меня обратиться к Вам. В сентябре 1957 года я передала все три тома «Народа на войне» в Гослитиздат, причем мне там обещали всяческое внимание к моей работе. Вскоре же мне принесли из Гослитиздата рецензию на мои книги, написанную т. Скуратовым. Рецензия была не только положительной, но даже и очень лестной. Рецензию эту я тоже прилагаю к своему письму. Вторую рецензию должен был дать заведующий отделом советской художественной литературы в Гослитиздате тов. Трегубов, как я поняла из моего телефонного разговора с ним. Тогда же он сказал мне, что высоко сам ценит эту работу и что должно пройти еще по меньшей мере две-три недели, чтобы он успел как следует, наново ознакомиться с ней, что подобного рода книги выходят из обычного ряда и что поэтому он должен все хорошо обсудить. Конечно, никаких моих возражений на такие разумные предложения тов. Трегубову я не делала и стала ожидать. И ожидала не две-три недели, а девять месяцев, когда мне в издании было отказано и рекомендовано передать книгу в какое-нибудь другое издательство: «Ну хотя бы в «Советскую Россию».

За эти девять месяцев я не однажды запрашивала издательство и всегда получала самые оптимистические заверения. Поверьте мне, глубокоуважаемый Климентий Ефремович, что я не считаю происшедшее со мной

[1] «Павел Семигоров. Трилогия».

в Гослитиздате чем-то из ряда вон выходящим. Что я такое, в конце концов? Я не Лев Толстой. Но, не чувствуя за собой права на какое-то особое отношение, я все же твердо ощущаю право обычного советского гражданина не быть откинутым с пренебрежением, тем более что труд, предложенный мною в издательство, не мог вызвать возражения. Ведь книга моя «Народ на войне» была в свое время высоко оценена самыми видными, самыми уважаемыми деятелями литературы, считавшими ее первоклассной по языку и содержанию.

И вот теперь, в старости, я становлюсь свидетелем того, как книга моя истлевает в буквальном смысле этого слова. Спасти ее может единственно напечатанье, а мне не только не удается этого добиться, но и вразумительного ответа от издательства я ни разу не получила!

Если, почему бы то ни было, напечатанье моей книги обычным способом невозможно, то не мне же, всю свою жизнь писавшей только о народе нашем, стремиться протолкнуть в печать что-либо, для народа нашего вредящее. Но издать книгу, чтобы спасти ее от физической гибели, хотя бы небольшим тиражом, хотя бы для закрытых библиотек, хотя бы из уважения к ее языку, так многими высоко ценимому, необходимо.

Вот то, о помощи в чем я Вас прошу, глубокоуважаемый Климентий Ефремович, книга истлевает, и мне бесконечно больно видеть это.

Простите меня за отнятое у Вас этим письмом время, такое перегруженное значительно более важными делами, но иного выхода у меня нет. Кроме того, в свое время я слыхала о том, что и Вы лично интересовались моей книгой «Народ на войне».

Со времени отказа мне в издании прошло пять месяцев, но я была больна, и только теперь для меня оказалось возможным написать это письмо.

Вся моя надежда на Вас, глубокоуважаемый Климентий Ефремович.

⟨1958 г.⟩

ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 58.

3

К. А. Федину

Многоуважаемый Константин Александрович!

Обращается к Вам старая писательница Федорченко Софья Захаровна. У меня была злой судьбы книга — «Народ на войне». Может быть, и Вам эта книга была известна. Я не имела никаких возможностей устроить эту книгу — все три части — в печать. Первый и второй тома книги — империалистическая война и керенщина — были не раз печатаемы, но теперь являются библиографической редкостью. Они не могут быть тяжко обременительными для издательства. Третий том — гражданская война — никогда не печатался. (Когда-то 2—3 главы его появились в «Новом мире» [1]). Теперь наступила беда, рукопись третьего тома начала истлевать, попросту превращаться в пыль. Желая спасти работу всей моей жизни от физической гибели, я послала ее в Гослитиздат в начале 1957 года. Там на первых порах от рукописи не отказались, отдали рецензировать, получили очень лестную рецензию [2]. Вторую рецензию тов. Трегубов, по его словам, собирался дать сам. Время шло. Я лично несколько раз говорила по телефону с тов. Трегубовым, и он выражал уважение к моей работе и просил подождать еще 2—3 недели, т. к. я должна понимать, что книга моя не рядовая и что о ней нужно серьезно подумать. И издательство думало не 2—3 недели, а 9 месяцев. После чего мне вернули мою работу без каких-либо объяснений. Я была в то время очень больна, и меня увезли в Тарусу. Когда я вернулась в Москву и узнала об всем, я решила бороться за книгу. Ведь это было для меня настоящим несчастьем. Но я далеко не борец в мои 70 с лишним лет, и, послушавшись совета, я написала тов. Ворошилову, т. к. знала, что тов. Ворошилов хорошо относился к первому тому «Народа на войне». Я в письме объяснила состояние рукописи и ее теперешнюю судьбу и просила помочь мне 〈*здесь пропуск*〉.

...Учреждение, в которое я бы ни за что не обратилась, зная, как Секретариат чиновен и как Секретариат относится лично ко мне. 20 декабря 1958 г. Секретариат постановил просить опять Гослитиздат принять рукопись к изданию. И опять началась волокита, достой-

---

[1] «Новый мир», 1927, № 3, 4 и 6.

[2] Рецензия М. М. Скуратова, датированная 9 декабря 1956 года.

ная времен дореформенных, а никак не советских. Наконец, муж мой, по совету тов. Орьева [1], пошел к тов. Маркову Г. М. [2]. Тов. Марков обещал помочь в этом деле.

Теперь это дело обстоит так: встретиться с т. Марковым, по утверждению его секретарши, почти невозможно при его занятости. А секретарша «сама ничего не решает, но будет напоминать». А рукопись лежит и лежит, а годы и болезнь действуют гораздо интенсивнее, чем обещания, и я теряю всякую надежду спасти свою работу.

Я знаю Вас, Константин Александрович, как настоящего писателя и порядочного человека. Поэтому я и прошу Вас помочь мне. И опять не знаю, по адресу ли направляю свою просьбу. Вся вина за это всецело моя, совета мне никто не давал.

Скоро Съезд [3], на нем будет сделано много великолепных предложений, будет сказано множество прекрасных слов. Но не изменится жесткое равнодушие, которое сопровождает иногда даже качественную работу писателя, не попадающего на глаза по причинам самым разнообразным.

Желаю Вам здоровья и всего хорошего.

т. В-1-51-30.

Я Ваша соседка, в этом же доме, кварт. 58.

⟨Начало 1959 г.⟩

ЦГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 67, машинописная копия.

---

[1] Орьев Александр Иванович — консультант по правовым вопросам Союза писателей СССР.

[2] Г. М. Марков с 1956 года был секретарем правления Союза писателей СССР.

[3] Третий съезд писателей СССР состоялся в мае 1959 года.

Содержание

СОФЬЯ ЗАХАРОВНА ФЕДОРЧЕНКО

Народ на войне

Редактор *М. Р. Гаврюшин*. Художественный редактор *Е. Ф. Капустин*.
Технический редактор *Е. Б. Спрукт*. Корректор *Н. Т. Анисимова*

ИБ № 6887

Сдано в набор 22.09.89. Подписано к печати 28.03.90. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00 Уч.-изд. л. 16,75. Тираж 100 000 экз. Заказ № 328. Цена 1 р. 40 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул Воровского, 11.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

